

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

# Александр Серафимович Серафимович

## **Том 7. Рассказы, очерки. Статьи. Письма** (Собрание сочинений в семи томах #7)

В заключительный том собрания сочинений включены рассказы и очерки, статьи и выступления, а также письма.

В файле отсутствуют разделы «Письма» и «Лекции».  
<http://ruslit.traumlibrary.net>

# Содержание

Рассказы и очерки . . . . .	0007
Глаза блестят *	0007
В горах и лесах *	0015
Две смерти . . . . .	0023
Адимей *	0034
Год *	0050
Корреспондент «Правды» *	0066
Товарищка Дора *	0073
Будущее – наше *	0095
Девушка гор *	0099
Маевка *	0106
По донским степям *	0113
Преображение *	0152
Рассказ о первом рассказе *	0158
Колхозные поля *	0165
Черкес *	0276
Две встречи *	0281
Тракторист поневоле *	0287
Бригадир *	0293
По родимой стране *	0303
Клятва *	0315
Ребенок *	0319
Веселый день *	0328
Творчество *	0336
Юная армия *	0345

На хуторе *	0360
Это – не чудо *	0371
В гостях у Ленина *	0407
С высоты восьмидесяти пяти лет *	0415
Статьи и выступления	0418
Кружковое занятие рабкоров *	0418
Предисловие к «Мятежу» Дм. Фурманова *	0423
Умер художник революции *	0425
Федор Гладков и его «Цемент» *	0429
Вечера рабочей критики *	0437
Читатель и писатель *	0444
Откуда повелись советские писатели *	0458
Предисловие к «Донским рассказам» М. Шолохова *	0463
Михаил Шолохов и его «Тихий Дон» *	0464
Из дневника писателя *	0470
Тисса горит *	0477
Из истории «Железного потока» *	0483
[Предисловие к книге В. Шмерлинга «Югосевер»] *	0548
Живой завод *	0550
Записки писателя *	0558
Радиоперекличка писателей *	0566
Написано так, что запоминается *	0574
Писатель-патриот *	0582
О Златовратском *	0584
Письма	0590

Лекции . . . . .	0591
Литература и литераторы . . . . .	0591
Чехов перед публикой и сам . . . . .	0591
Комментарии . . . . .	0592

**Александр Серафимович  
Серафимович  
Собрание сочинений в семи  
томах  
Том 7. Рассказы, очерки.  
Статьи. Письма**

# Рассказы и очерки

## Глаза блестят\*

**М**окрая с изморозью темь шумит и качает невидимые деревья. Мутно белеют талые пятна снега. Одинокие, заброшенные огоньки редко мерцают вдоль смутно угадываемого шоссе, – деревня; ни собак, ни живых звуков, только тьма шумит.

В одном месте низко сползлись огни, и в ночной изморози – смех, гармошка, девичьи взвизги:

– Отчепись, сатана!.. У-у, идол косолапый! А то как двину... оголтелый черт!.. Удди!!.

А в сердитости – девичья радость, ожидание, готовность на ласку. А ребята гогочут.

– Да кады нас пущать начнут?..

И в двери грохают здоровенные кулаки.

А из-за дверей молодые комсомольские голоса:

– Товарищи, осади!.. Не хватайся за культуру... Товарищи, не безобразь!..

И опять изморозно-волнующийся мрак,

невидимо качающиеся деревья, и гармошка, и смех, и девичьи ожидания.

А наискосок, через невидимое шоссе, другие огни, – чайная. Там суматоха, брань, вытаскивают, поправляют, стучат молотки. Внутри – светопреставление: скамьи изломаны, столы опрокинуты, всюду белеет щепка расколотых ножек. Чайник носится, приводит в порядок и в три этажа поминает:

– Да что это!.. Хуже Мамаю.. Али люди?! Животная!..

Организаторы свадьбы в чайной раздавали билеты на вход. Толпа рвалась и все разнесла.

– Да ведь свадьба-то не простая – комсомольская, с самого сотворения мира первая комсомольская свадьба в деревне. Из других деревень поприехали. Не удивительно, что разнесли чайную.

Наконец впустили. Человек триста набилось. Пот градом. Потолок над самой головой – комсомольский клуб. Бабы сидят затаив дыхание и чувствуют себя как на угольях: вот вылезет хвостатый, и начнется светопреставление. Уйти бы, откреститься, да как уйдешь?



Так вот и тянет, так вот и тянет посмотреть – бес-то... в ём сила!

На крохотной скрипучей эстраде за красным столом заседают. Тут и ячейка комсомола – их всех-то семь человек, и секретарь ячейки РКП, и предисполкома района, и приехавший шеф, – словом все, и им больно жжет маковки лампа-молния, головы поднять нельзя, стукнешься в нее. Так все и сидят, как бирюки, с нагнутыми головами.

Да где же молодые? Молодые-то где?

Вот они, сбоку. Шестьсот глаз лопаются, впились в них.

Крепкая, по-деревенски крепко-сбитая, – тесно в кофточке; по-деревенски румяная, мозолистые пальцы, а ноздри раздуваются, и глаза блестят; казалось, потуши свет – от этих глаз в темноте протянулись бы две светлые полосы, – блестят.

Да и как не блестеть? Ведь это же она, она устроила эту бучу, – шестьсот глаз лопаются, впились в нее.

Дома – бедность; мать и она бьются, чтобы поднять детей, – куча; отца нет. Эх, бедность ты деревенская!

Она – комсомолка, уже полгода комсомолка. Мать все боялась, все просила: «Да куда тебе!..» Блестят глаза, бунтует румянец щек: комсомолия – единственное место, где голову девичью приклонить, и как-то по-новому все, и матерного не слышать, и самогона не жрут, – полгода комсомолка.

Из другой деревни парень втрескался: все потерял, все валится, – не жить без нее. Смирный парень.

Ну, она что ж, – ладно. Только одно: комсомольская свадьба, и никаких! Тут что хочешь делай.

Отец у него – середняк крепкий, хорошо живут, всего вдоволь. Другая бы и руками и ногами ухватилась, а эта ни за что, – блестят глаза, вот что хошь!

Стал просить отца, а тот:

– Да ты што: ополоумел?!.

Сохнет парень.

– Батя, слышь, расходов никаких, – комсомолия.

Крякнул старик.

– Ну, ин быть по-твоему, – любил старик сына, – тебе жить, не мне жить. Бога-то, бога

забыли, забыли ноне бога...

А все-таки дома благословили молодых иконами. Стали молодые на колени, а старые – ну махать над ними изрисованными досками. Спрятала молодая глаза под пушистыми ресницами, потушила блеск, а пушистые ресницы подрагивают, – вот, вот из-за уголков брызнет заразительный блеск. Благословили.

...Шестьсот глаз впились, слезятся от напряжения. Блестят глаза. Если потушить лампу-молнию, из-под пушистых ресниц длинно засветятся в темноте два тонкие луча, – блещут глаза.

Говорит шеф, все слушают, складно говорит. Слушают, а сзади у стены потихоньку семечки лускают, девчата придушенно хихикают, парни их смешат, теснота, плечо в плечо, в поту все.

Подымается комсомолец, председатель, лицо тоже все в бисере, в поту, красное. Стукнул с маху кулаком по эстраднему столу, закачался, затрещал стол, – эх, пропал стол! Нет, выдержал, – сами комсомольцы делали для себя, для своего клуба, на совесть. Треснул да

закричал молодым голосом:

– Не безобразь, товарищи!.. Что такое?! Не хулигань торжества!..

И, обведя глазами, посмотрел на всех в тумане духоты строго, неуступчиво. Потом сел и сказал веско:

– Продолжай, товарищ.

Шеф продолжал:

– Вспомните, как прежде женщина жила. Разве она могла выбрать себе мужа? Отдавали, за кого хотели отец с матерью. А после свадьбы ярмо надевал муж, да свекор, да свекровь, и тяжкая жизнь начина...

А голос с передней скамьи перебил: поднялся бородатый мужичок в тулупе:

– Мой сын, моя и сноха, я – хозяин, чево хочу, то и делаю.

И пошел сердитый тулуп к двери. Все при молкли, только стояла духота. А шеф сказал:

– Вот вам, видели, как прошлое не хочет уходить, не хочет дать место новой, хорошей жизни...

Потом поздравляла ячейка РКП, потом комсомольцы, председатель волостного исполкома, кооперация, – и подарки: на платье,

на костюм, плут.

Блестят глаза у молодой, рвутся румянцем щеки, ноздри раздулись, тесно в кофточке.

– Я, товарищи... спасибо вам... ну, за все спасибо! Я, товарищи, только в мае в комсомол поступила... Я, товарищи, вам скажу: меня, товарищи, воспитал комсомол. Он, товарищи, открыл мне глаза на новую жизнь. И... спасибо ему. И вам спасибо. И всем товарищам спасибо...

Ох, и грохнуло же в духоте! Ревел клуб, стены раздавало; девчата и про парней забыли; руки до упаду трепались, ладони вспухли.

А потом музыка: гитара, две балалайки. Потом гармония. Потом в пляс. Ух, и плясали же! Сначала в сапогах, а потом один сапог в одну сторону полетел, другой – в другую, да как начал босыми ногами выделывать! Как притопнет, будто блины горячие по полу: шлеп! шлеп! шлеп!.. Ах, удивительно!.. Заревел опять клуб, затряслись стены, потолок, вот сколько живу на свете, не видал такого.

Видал-ал! Да ведь там, бывало, сначала нажрут, как свиньи, а потом и выделывают. А тут ни-ни! Ни понюх табаку, все в своем есте-

стве. И босиком который откалывал, до трех часов уняться не мог.

А на другой день бабы лускают семечки, как тараканы пачками собираются по деревне.

– И-и, бабоньки, ну и свадьба! Во свадьба: ни невестина, ни женихова семейства полушки не истратили, ей-бо! Ни синь пороху на свадьбу не потратились. Все в доме осталось. Плохо ли?

– У-у, родные мои, да ишо самим надарили.

– Эдак хошь каждый день свадьбу играй.

– Опять же свадьба приятная: вся деревня, почитай, сидела.

– А, бывалыча, позовут родни человек пять-шесть, в избе и так повернуться негде, да кормить надо, а тут и народу много, и все на своем иждивении. Всем свадьбам свадьба.

– А, бывалыча, нажрутся водки али самого-ну, осатанеют, у-у, матушка ты моя родимая, зачем ты меня на свет почала!

А одна сказала печально:

– Да уж куды лучше свадьба – ни пьянства, ни бою, дешево и весело всем, чисто, а только б... присоединить к этому... почему батюшку обидели? Пущай бы благословил.

Бабы молчали, луская, – и шелуха, сверкая, ложилась по грязи. Одна сказала:

– Дык што ж поп... Опять же ему платить, а тут задарма.

...Блестят у девок глаза.

## **В горах и лесах\***

**Н**ебольшой группой приехали в Крым. Надо было отдохнуть, но как? Единственно: оторваться от курортных мест, от этого надоедливости шума, гама, людского мельканья, приторной курортной жизни и использовать то чудесно-неповторимое, чем владеет Крым, – горы и леса.

И чтобы дешево и сердито, чтобы выдержали финансы, – пешком.

Наняли у татарина вьючную лошадь без проводника. Приторочили вьюками платье, мешки с провизией, овес Дружку и двинулись береговой кордонной тропой. Направо – безгранично пустынный голубой простор; налево – дачи, виноградники, горы.

Только вот беда: кучерявятся макушки гор белыми изменчиво волнующимися кудрями, – не быть бы дождю.

– А-а, здравствуйте!

Высокая, молодая, с ласточкиными крыльшками бровей партийка, а глаза милые, грустные. Женотдел послал на собрание девушек – работниц на табачных плантациях.

Собралось человек тридцать; все девчата из Мелитопольского уезда и северного Крыма, – украинки. Каждый год сотнями, тысячами тянутся девушки на заработки на южный берег, – на табак, на виноградники, в сады.

Кулак – везде кулак, и крымский плантатор ничем не хуже и не лучше российского живоглота.

Работают от зари до зари. Кормят скверно. Отдыха нет. Валяются где попало, как собаки.

Высокая, с грустными глазами партийка говорит девушкам:

– Ведь это же не жизнь. Это хуже каторги!

– Що ж робыты, завсегда так було, никуды не денешься.

Тогда партийка терпеливо начинает:

– Так было при царе, при буржуазии. Теперь совсем другие законы.

В школе все становится светлее и светлее: разгораются, освещая вниманием, удивлени-



ем, девичьи глаза. Неужели все это так?

А когда партийка уходила, девушки окружили толпой, провожали, гладили:

– Приходи до нас ще, квиточка наша, цветочек!

Узнали: есть кодекс законов о труде, есть инспекция труда, есть суд.

Кончилось святое, тихое житие плантаторское: то и дело выезжают инспектора труда. «Эх – горе!»

Но почему же все это с таким запозданием? Не хватает сил, нет работников. Да и плантаторы – не дураки: умеют вовремя спрятать работниц, – пойди разыщи, тут же лес, ущелье. И ужасающее незнание населением своих прав, законов.

Партийка все выше и выше взбирается от нас в гору, и уж не видно чудных бровей и грустных глаз. Последний раз мелькнул платочек, – и потерялась в громадных виноградниках, работает курсанткой в лаборатории Массандровских погребов.

Наш Дружок по узкой, осыпающейся тропинке покорно покачивает пузатыми вьюками. И сколько ни гляди, не охватишь глазом

синевы. Только чуть белеет по голубому краю узенько-далекий, далекий косовичок.

Идем гуськом по крутизне. И Дружок то и дело садится на задние ноги. Вырвавшиеся камешки живой грудой долго прыгают до самого до берега. Если Дружок съедет на нас, нам крышка.

Когда спустились и голубая вода у самых ног стала мыть цветную гальку – отлегло, и все вытерли пот.

Мы идем, мы идем у воды маленькой гурьбой, и над нами медленно отходят назад виноградники, плантации табаку, и дачи, и виллы, и дворцы.

Мы идем берегом мимо дворцов, вилл, дач и видим надписи: то дом отдыха горняков, то печатников, то железнодорожников, – всюду осел труд, всюду рабочие, усталые вначале и поправившиеся, посвежевшие лица под конец.

В громадном парке по склону «Медведь-горы» синееет сквозь деревья синева морская, а ближе белеют сквозь деревья палатки военные. Что это? Часть стоит? Отчего же не видеть красноармейцев?

Да нет же, – детвора, пионеры, рабочие дети. Какие же они оживленные, резвые, и какие счастливые, даже несколько растерянные личики! Да ведь подумать только: из Орехова, Иваново-Вознесенска, из Сормова. А тут эта пропадаящая из глаз голубизна, а тут горы, леса, пропасти. Ведь поколениям ничего не снилось подобного! И как же резв, как заразителен, как звонок детский смех в чудесных аллеях, где разгуливали когда-то объевшиеся, пресытившиеся.

Так мы идем, подымаясь на крутизны, спускаясь в глубокие ущелья, – и это ощущение новой, прекрасно-новой жизни, разлившейся по всему Крыму, идет вместе с нами, наполняет нас ни на минуту не замирающей музыкой радости.

И недаром бело клубились по темени гор облака. Вот и дождик. Наползли сумерки. Погасла синева. Нахмурилось море. Серое, накачивает оно серые волны. Рассыпается по гальке, шипя у самых ног Дружка. Он неодобрительно косит одним ухом на глухо бегущее на нас море, другим – на черные горы, – уже глотает их насунувшаяся ночь.

Трудно идти. То и дело тонешь в раздающихся, скользко-влажных гольшах, с трудом вытаскиваешь ноги. То и дело останавливается Дружок, и кто-нибудь вышибает заклинившийся в подкову голыш. И опять идем, и сеется дождь, и начинает глотать усталость, и густая чернота заслоняет шумящее море.

Будто огоньки впереди. Или в глазах рябит.

Вдруг, крики:

– Стой! Стой!.. Куда вас несет?!

Дружок остановился как вкопанный, покорно вытянул в темноте шею, упираясь одним вьюком в стену, другой повис над пропастью.

Стена, оказывается, низенькая, из камня. Горы отошли. Тут площадка, – должно быть, дача. Деревья дымно мигают в пламени костра. Ходят люди с фонарями.

– Куда же нам?

– Да там впереди тропинку дождями смыло. Все до одного с лошастью сверзитесь. Тут почитай саженой семьдесят. Костей не соберешь!

– Как же нам быть? Лошадь не повернется.

– Снимите вьюки. Тут в стене пролом, – лошадь пролезет.

Он светит из-за стены фонарем. Его затылок, рука красно освещаются сзади отсветом костра. Мы пролезаем под ногами неподвижно стоящего и ожидающего своей участи Дружка, осторожно, чтобы не перевесились в сторону пропасти, снимаем вьюки, и Дружок тяжело вздыхает. Переваливаем вьюки через стену. Дружок осторожно пятится и сразу, точно его подстегнули, прыгает в пролом. Уф ты!

Наконец-то мы чувствуем под ногами твердую землю. Нас окружают рабочие с фонарями.

– Что вы тут делаете?

– Прокладываем электрическую линию.

– Чего ж никто не ограждает обвалов?

– А кому нужно?

– Да ведь убиться могут.

– И убиваются. Не откажешься.

– Далеко до Алушты?

– Версты три. Переходите через дачу, а там по «шаше».

И опять мы идем среди тьмы сеющегося

дождя; качает в темноте вьюками Дружок; хлюпают под усталыми ногами лужи. Долго.

Вдруг странно поломалась эта темь, это молчание невидимых гор, отошедших в сторону моря, поглощенных громадой ночи; поломались мерным барабанным боем. Кто-то в ночи шел колонной и в такт барабану; мерно качались фонарики, которые были в невидимых руках. Кто-то шел, и качались в такт фонарики, и бил барабан.

Да кто же? Ну, конечно, пионеры. Их не видно, но идут маленькие. В ночи барабанный бой; вверх и вниз качаются во тьме фонарики и... «всегда готов».

Как трудно, какая неприступная стена старого быта, старого уклада, старых верований отделяет от новой жизни. И вот с этих, с маленьких, с молодежи начинается расшатывание, размывание неприступной стены. Они, эти, что идут в темноте с фонариками, вносят в не доступные никому, замкнутые семьи новые понятия, новые расценки социальных явлений, и ни отцы, ни матери, ни старики, ни муллы не могут противостоят молодому напору: быт неодолимо прорывается, раскалы-

вается снизу.

Мы входим в Алушту. Странно после громады неподвижной темноты, после пустынности ночных гор, после смолкшего на покой моря и огромного напряжения на узенькой, мокрой тропинке, на которой молча поджидал нас в темноте обрыв, странно было видеть веселую оживленную толпу гуляющих на залитой электричеством улице и набережной.

Тучи перестали сеять дождь и низко лежали, озаряемые снизу электрическим сиянием.

## Две смерти

**В** Московский Совет, в штаб, пришла сероглазая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.

Девушка сказала:

– Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой – я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже – никогда не

держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

– Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас, расстреляем здесь!

– Знаю.

– Да вы взвесили все?

Она поправила платочек на голове.

– Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я – офицерская дочь.

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.

За окнами на площади опять посыпались выстрелы – налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

– А черт ее знает... Справки навел, да что справки, – говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, – конечно, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попадется – пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она



пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.

– Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

– Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы – дочь офицера. Пожалуйста!

Ее провели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему перед ним юнкеру:

– Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Прoberитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.

Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди, – только что снял с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:

– Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чертова.

– Где она сейчас?

– Да вот с утра нету. Арестовали поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва... А вам зачем она?

– Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояле; другой, склонив колени, смеясь, подал букет.

– Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий – сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.

– Шпион! – бросил юнкер, проходя и не

взглянув. – Поймали.

Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые, темно-запущенные глаза.

– Спасибо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

– Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

– Я им документы покажу, я – мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает что с ней. Душа изболелась...

– Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.

– Нет, нет, нет... – испуганно протянула руки, – я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел.

– Н-да... Ну, что ж!.. Идите.

«Розовая рубашка, над глазом темная дырка... голова откинута...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы, – ни черточки, ни намека, ни звука.

Она пошла наискось от училища через Ар-

батскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего – она одна на всем свете.

Не было страха. Только внутри все напрягалось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною, и все подтягивает колышек, – и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой – ти-ти-ти-и... Ай, лопнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку – стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что

ж такое, – сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

– Так ведь это ж начало конца... Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач...

Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки – столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо... Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и... задрожала. Все шевелилось кругом – смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыхание. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот,

подъездов, углов – знает – затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду; идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой – красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено несло в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же иступленно светились сквозные окна.

К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот – шепот, который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами,

публичными домами – исчез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятности – молчание, и в молчании – затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании – ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось.

И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

– Куды?! Кто такая?

Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую руку и разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожара сноп искр, судорожно осветив... На ко-

рванной ладони лежал юнкерский пропуск...  
кверху ногами...

«Уфф, т-ты... неграмотный!»

– На.

Она зажала проклятую бумажку.

– Куда идешь? – вдогонку ей.

– В штаб... в Совет.

– Переулком ступай, а то цокнут.

...В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.

– Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись...

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита: они понесли урон.

Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.



Он подскочил к девушке:

– Вот... эта... потаскуха... продала...

Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

– Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли... У меня... я не умею оружием, вот я вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опущенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.

## Адимей\*

Века шло одно и то же: курились вершины дымными облаками, блестели на солнце вечные снега и, утопая в чудовищной траве, бродил у снегов скот и лошади. Далеко внизу в ущельях безумно грохотали реки. В дымных, топившихся по-черному, кошах жили на горах люди все лето семьями. В конце лета снега заваливали горы сплошь, – и семьи, и стада, и лошади спускались вниз в ущелья, где в пене и грохоте гнали валуны бешеные реки.

Дымились аулы, и медленно текла в них скудная, темная, но родная жизнь. Белоголовые дремучие горы загораживали все, что делалось на свете. Да и вся жизнь, весь «свет» был здесь в этих извечных громадах, в этих дремучих лесах, в смертельных пропастях, в день и ночь грохочущих потоках.

Только немногие вырывались из заколдованного царства скал, ущелий, лесов и снегов: вырывались те, кого помещики выписывали в Россию охранять имения. И они жестоко проли крестьян плетьюми, рубили кинжалами,

стреляли из винтовок, со страстью, с презрением, потому что это был ненавистный «урус». Страж не разбирался – и драл отрепанных и босых крестьян, как врагов.

Да еще бандиты умели вырываться из заколдованного мира гор. Смело налетали в равнинах на станицы, хутора и села, а иногда нагло врывались даже в города, рубили и грабили.

Только выписываемые помещиками из ущелий стражники да бандиты знали и видели высокие здания городов, удивительные повозки, бегавшие по улицам без лошадей; видели чудесный свет, заливавший по ночам улицы. Весь же темный народ видел только солнце над зубчатыми скалами, да лунные тени, да во тьме угадываемые громады гор, – и думал: здесь счастье и жизнь, здесь родиться и умереть.

Так думал и Адимей и спокойно пас огромные стада своего дяди Муссы. У Адимея ничего не было, кроме лошади, седла, уздечки, винтовки и револьвера, – даже сакли не было своей; он пас стада своего дяди и ненавидел «уруса». В горах он охотился на оленей, туров,

кабанов, медведей; он – превосходный стрелок, – охотился и ненавидел «уруса».

Потом пришло такое, что ничего не разберешь. Пришел «урус» и отнял у дяди овец, оставил только три. Отнял коров, оставил только одну – по едокам. Ничего не отняли у Адимея, потому что он был бедняк. А еще дали ему из дядиных три овцы и телку, потому что он был бедняк.

Опустил глаза Адимей, потому что ненавидел он «уруса». Потом вскочил на лошадь, ускакал в неприступные горы и стал бело-зеленым бандитом вместе с другими.

Смелые были, ловкие. Постоянно налетали на хутора, на села. Пощады красноармейцам не давали; всех убивали, кто попадался в руки.

Только тяжкая жизнь была, особенно зимой мучительная жизнь была: по брюхо лезли в снегу задыхающиеся лошади в пустынных горах, и молчаливая голодная смерть в белом саване угрюмо стояла кругом.

А когда растаял снег, по низу, по ущельям, по долинам рек потекли красноармейские части. Сколько их было – не счесть. Заняли аул

за аулом, заняли все дороги, тропки, заняли все ущелья, все выходы.

И пришла смерть. Схватили Адимея и товарищей, затянули туго назад локти и погна-ли.

Покачиваются красноармейцы на лошадях с винтовками наготове. Торопливо шагает Адимей со скрученными назад руками вместе с товарищами. Гремит под обрывом, бешено заворачиваясь пеной, Кубань; отходят горы, затягиваясь печальной синевой, и уже степь расстилается кругом.

«Нет, не видать мне родных гор, не слы-хоть шума потоков, орлиного клетота. Про-щай, родной аул!..»

Покачиваются красноармейцы на лошадях с винтовками наготове. Шумит река в степ-ных берегах, и привольно раскинулся вдоль нее почитай на десяток верст хлебородный город.

Привели, спустили в подвал; захлопнулась наверху дверь. Стали ждать. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к сырой стене. Кто ле-жал без движения на каменном полу. Тускло просвечивало сквозь толстую решетку вверху

мутное окно.

Тут было много сброда разного и белогвардейские офицеры. Молчали и ждали конца.

И пришла ночь.

Оконце почернело, и в подвале перестали видеть друг друга.

Громыхнул железом затвор, разинулась наверху дверь. По лестнице, по сидевшим, стоявшим, лежавшим людям воровски скользнула, ломаясь, полоса света. Показались осторожно спускающиеся по ступенькам рваные сапоги красноармейца и винтовка. А там опять сапоги и винтовка. И еще. И еще. И лампочка спустилась жестяная, – длинный траурный хвост бежит над полуразбитым закопченным стеклом.

Лампочку на гвоздик. И стало видно: все головы повернуты к красноармейцам. Все повернуты, смотрят блестящими глазами на вошедших.

– Ну, становись, что ли, – сказал один и стал по бумаге выкликать.

Красноармейцы всматривались в лица и отводили к лестнице.

Адмей, как и все, смотрел на них блестя-

щами глазами. С ними спустилось для него все прошлое, весь ужас прежней жизни при царе. С ними встал ужас, который принесли с собой большевики: у тех, кто имел стада, кто был богат, кому помогал аллах, – отняли все. Затоптали святую правду, ибо каждый бедняк хотел сделаться таким же богачом.

И Адимей, как хищная птица, издал пронзительный крик, прыгнул пантерой, вырвал лампочку, затоптал.

Хлынул густой мрак, и не было ни стен, ни людей, – одна клубящаяся тьма. И вся она наполнилась безумным воем, ругательствами, стонами, хрипами.

Красноармейцев рвали, душили, топтали, выдергивали из рук оружие; рвали, топтали, душили и друг друга, потому что клубилась безумная тьма и ничего нельзя было разобрать.

И пронесся хищный крик Адимея:

– Не трогайся!

Все замерли, и стало слышно в налившейся молчанием темноте, как хрипели, стонали, харкали невидимо кровью и пеной израненные, измученные, обезоруженные красноар-

мейцы. И поползли, щупая холодный пол, поползли к лестнице и по лестнице, не понимая, о чем крикнул голос, не зная языка.

И как только первый коснулся уцепившегося наверху Адимея, глухо раздался стук падения тела и глухо запрыгало по ступеням: Адимей, схватив за волосы с кошачьей ловкостью, обезглавил в темноте, и плюхнуло тело и запрыгала по ступеням голова. А за ним со стоном вполз второй, третий, пятый – и все так же плюхало тело и глухо стучалась по ступеням невидимая голова.

Потом смолкло. Под босыми ногами каменный пол теплел, и остро пахло кровью.

Сверху отворилась дверь, скользнул свет, и голос:

– Ребята, вылазь! Чево такое у вас?

В ответ выстрел. Кто-то наверху застонал. Дверь захлопнулась, придавив мрак. И опять безысходное молчание, безысходная тьма.

Снова слегка разинулась светлая щель, и бабий голос:

– Это я, родненькие, не стреляйте. У меня тут муж. Спустишь, погляжу, жив аль нет. Не стреляйте...



По лестнице стала спускаться баба. Спустилась и осветила: обезглавленные трупы, немигающие головы, лужи крови, в которой отражался свет лампочки, и затихшая толпа.

Казак хрипло выкрикнул:

– Убейте ее... Ее послали высмотреть. Убейте!

Но все молча стояли, не давая винтовок.

– У нас в горах закон: кто женщину убьет, тому смерть.

Ушла. Тогда сверху:

– Эй, вы, все вылазьте поодиночке наверх!..

Постояло молчание, покрытое тьмою. Тогда опять:

– Ежели не полезете зараз, бросим бомбу.

Крик, стоны, рычание, рев взорвали подвал. Десятки рук вцепились в толстую, заделанную в кирпичи решетку, а в этих и друг в друга вцепились остальные. Со звериным ревом рванула обезумевшая, слившаяся одна масса. Заскрипела решетка, посыпались сверху кирпичи.

С кряхтением, медленно, с нечеловеческой силой отогнулось книзу тяжелое железо решетки. Срывая друг друга, срывая мясо на ру-

ках, кинулись пролезать в окно.

Первым выскочил высокий гигант, весь белый – в одном белье. За ним Адимей схватился за решетку, гибко перегнулся. Сзади, в вое, в столах, в ужасе, чугунной тяжестью повисли, вцепившись в его ногу, – никак не выдернет.

«Ай, прощай, аул родной!»

Снаружи нестерпимо затрещал во мраке октябрьской ночи пулемет. Белое пятно бегущего вдруг снизилось и осталось неподвижным на черноте земли.

С нечеловеческой силой, бешено ударив кого-то в лицо ногой, рванулся Адимей, вырвался из окна. В подвале – потрясающий грохот, и все смолкло. Адимей – к белому пятну, – и в ту же секунду пронизало шею, руку, плечо. И закричал он, глотая кровь:

– Вставай! Бежим, – да упал.

А пулемет: раз, раз, раз...

Адимей поднялся, опять упал, по-звериному встал на четвереньки, пополз, потащил раненого по земле, за угол...

Та-та-та!..

В подвале сзади молчали.

– Вставай, князь, бежим!..

Тот поднялся, огромный, белый; шатаясь, побежал. Адимей бежал рядом, чувствуя, как густо и влажно теплеет рука, поддерживающая князя. Обрываясь, то на спине, то на животе, то боком, сползли с обрыва, и там, где сползали, земля в темноте дымилась горячим следом приторно и сладко.

А над обрывом, сзади, засверкали язычки винтовок.

Перед глазами мутно-белесой гремящей полосой неслась река, ревела валунами, рыла берега. Не то пена, не то льдины бледно возникали и гасли уносящимися пятнами. Неслась холодная река, неслась со снегов и вечных льдов стынувшая река, во тьме.

Белый князь рухнул в клокочущий поток.

Адимей ринулся за ним. Обожгло смертельным холодом первозданных снегов, на секунду отняв сознание. Но недаром Адимей – сын снеговых гор: перехваченное сердце опять стало, хоть замирая, хоть останавливаясь, работать. Его бешено уносило, а он бешено бился за жизнь, за горы, за леса. Внезапно, раньше чем ожидал, вынесло и ударило о

смерзшуюся гальку, оглушив.

Поднялся, стекленея. Дул холодный октябрьский ветер. И попятился: среди тьмы немо белело не то привидение, не то высокая смерть. Белая, а во всю грудь – чернота.

И смерть сказала, расставляя слова:

– Беги... брось меня... спасайся... мне конец...

Сурово сказал, а по груди все шире расплзалось черное.

Побежал Адимей, взобрался на береговой обрыв, белая полоса протянулась у воды, – лег князь навеки.

В горах, в затерявшемся коше, уложили бандиты Адимея, зарезали молодого барашка, обернули в кроваво-дымящуюся кожу Адимея и стали лечить. Через три месяца затянуло раны. Сел Адимей на лошадь; вскочили товарищи на лошадей, и, как бешеные, стали разбойничать. Не одна красноармейская голова, простреленная меткой пулей, навеки поникла. Неуловим был Адимей со своей шайкой.

В самых глухих горах скитался Адимей. Все дальше и дальше, в самые глухие места про-

никали красноармейские отряды. И встретились: на непроходимой тропке среди скал встретились. Выстрелы, крики, ругательства – и Адимей, со скрученными руками, идет опять в город, в подвал.

Теперь конец. Уже пропала та страшная, как свернутая пружина, напряженность, с которой он боролся за жизнь.

Давно бы убили его красноармейцы, – знали, какого зверя ведут, да не позволил начальник: велено живым приводить.

«Пришли, и для истязаний, – думал он, – ввели не в подвал, а в комнату». Ну, что же, он ко всему готов.

В комнате сидели двое в замасленных кожанках, и щеки худые ввалились. Видал таких Адимей в городах на заводах. Серые глаза как сталь. В бумагах возятся.

– Товарищ, во... привели... Поймали, – сказал красноармеец, не выпуская винтовки.

Вскинул серые глаза один, опустил в бумаги, буркнул:

– Развяжи. Красноармейцы разинули рты.

– Товарищ, это – самый опасный. Сколько нашего брата перебил – ужась!

– Из подвала убеги, – добавил другой.

– Прямо зверь в горах был...

А в кожанке опять:

– Развяжите, товарищи.

Красноармейцы выпучили глаза. Развязали.

– Садись, Адимей, – сказала кожаная куртка, – на-ка!

И протянул папиросу.

«И звать как, знает... – подумал Адимей. – Сволочь!..»

Угрюмо сел и закурил.

– Так что, товарищи, окно раскрытое. Одним махом, только его и видать будет. Лови потом опять, – ничего не понимая, говорили красноармейцы.

Опять махнула рукой кожаная куртка, и, неуклюже стуча сапогами, красноармейцы вышли.

«Мучить будут... – думал Адимей, – сначала папироску дадут, чтобы выпросить».

И жадно затягивался, и слушал, как кричали воробьи за окном.

– Ну, вот что, брат, – сказал в серой куртке, отодвигая бумаги, – наломали дров, и будет, –

и глянул на него серыми глазами.

И Адимей, вместо того чтобы махнуть в окно, сидел, жадно курил и глядел в серые глаза.

– Сколько тебе лет?

– Тридцать два.

– Стало быть, двадцать семь лет работал батраком на своего дядю. Двадцать семь лет недоедал, недосыпал, все пас стада своего дяди Муссы. Толстый дядя?

– Балшой живот,

– То-то...

И рассказала серая куртка ему всю его жизнь, всю жизнь Адимея-батрака...

– Женат?

– Где бедному жениться...

– А у дяди красивая молодая жена, – большой живот и красивая молодая жена.

Жадно курил Адимей. И держал одной рукой сердце, – будто кто тихонько и ласково погладил по наболевшему сердцу.

А куртка:

– Чудаки вы... Да у нас вон вся Россия полна такими Адимеями-батраками. И века работали на дядей-помещиков. И у дядей были

большие животы и красивые жены, а у русских Адимеев – только бедность да нескончаемый труд.

Всю жизнь, всю жизнь Адимея-батрака рассказал Адимею-батраку.

А потом... а потом у Адимея голова пошла кругом.

Тот, в серой куртке, придвинул ему бумагу и сказал:

– Вот тебе бумага. Никто тебя не тронет. Живи. А эту ты подпиши, что больше не будешь бандитствовать. А это – деньги. Надо же тебе сбить хозяйство.

Шатаясь, вышел Адимей, и никто его не тронул. И шел он вдоль реки, и никто его не тронул. И пришел в горы, и никто его не тронул.

И стал жить Адимей, – и подвал, и расстрелы, и убийства красноармейцев – все это мелькающим прошлым побежало назад, как вода в реке.

И никто его не тронул.

Сидит Адимей в черкеске в сельсовете, с



трудом пишет, – он член президиума. Против, на лавке, – тот, который два года назад велел развязать ему руки. И кашляет, и лицо – желтое.

И говорит ему Адимей:

– Ничего, Николай, поправишься. У нас воздух чистый, здоровье любит. Пойдем, провою. Полежи, отдохни.

Они пошли. Адимей шел, поддерживая. И толкнул в бок локтем:

– А?! Город-то наш!..

Среди скал, ущелий, дремучих лесов, возле грохочущей реки желтели свежие срубы новых строений: больница, народный дом, школа – как из земли выростали.

И Адимей и питерский рабочий шли мимо, поглядывая и держась друг за друга...

## Год\*

Когда комсомольская братия собиралась, дым шел коромыслом. Особенно, когда девчата были. И особенно среди них Манька Лунова.

Толстая, кругленькая, краснощекая, и из глаз всегда сыпались насмешливые искорки, точно в постоянно бегущем ручейке непрерывно дрожало хитрое солнце. Того дернет за ухо, – того оттаскает за вихор, или шапку швырнет в окно, – и такой галдеж подымет, такая драка, хоть беги вон. Хозяйка, заведующие спальнями, коменданты общежитий терпеть ее не могли и гнали.

– Манька, и в кого ты таким дурным дьяволом уродилась? – говорит ей плечистый, черный, как арап, комсомолец, с неправильным, приятным, запоминающимся лицом, железно держа ее руки, чтоб не вцепилась. – Али мать твоя, как носила тебя, бешихи объелась? Ну, ты смотри, а то, ей-богу, по уху дам.

А она ласкается, глаза без усталости роняют смешливые искорки.

– А еще комсомолец – бога поминаешь...

Ну, пусти, больно ведь. Навалился, как лошадь, рад силушке. Ты вот чего лучше скажи, – говорила она, заглядывая ему в глаза, близко садясь, – вот Маркс... как лучше, по Марксу или... А ну скажи – что такое государство? Эх, ты! Ни тмны, ни хмны... Нет, правда, скажи: неужто Маркса непременно по Марксу надо? А?..

– Гм! Как это?

– Нет, видишь ты... Постой. Ну вот, я принялась за Маркса по самому Марксу. Ну, до того трудно... Понимаешь ты, по самой книге, по «Капиталу». И, знаешь, отчего трудно? Оттого, что уж очень просто, легко. На целых страницах он рассказывает, что один кафтан равняется двум штанам. Ну так что ж! Это я и без него знаю. А ведь не зря же он это писал. В этом какая-то заковыка. Это не простая простота.

– А чего же ты хочешь? – говорил он, даже сквозь кожанку чувствуя теплоту ее плеча.

– Ну, чего я хочу? – проговорила она раздумчиво, и лицо ее стало чужое, как будто луг, по которому бродили веселые солнечные пятна, вдруг стал однотонным и ровным, и

косцы мирно и сосредоточенно рядами взма- хивали косами, и ровно лежало над ними од- нотонное небо. – Я хочу, понимаешь ты, ну, одним словом, изучить Маркса не по Марксу, а по изложению, как другие его излагают. А то, право, голова лопается, – и придвинулась еще ближе к нему, почти прижалась.

– Ну, как это сказать... это не тае. Опять же самого Маркса прочтешь – одно, а в изложе- нии... Маркс, он, брат, самую суть... главное, у него научишься думать, как факты обхажи- вать, а по изложению – это своими словами рассказывают. Факты Марксовы он тебе рас- скажет, а как Маркс достукался до фактов – ни хрена.

Она положила руки ему на плечи и, слегка навалившись грудью, смотрела в глаза.

– Нет, брат, врешь, самого Маркса про- чтешь – одно, а его словами рассказывают – другое. Опять же...

Мгновенно сорвалась, запустила ему в куд- лы обе руки и с такой силой навалилась, что он сполз со стула и, чтоб не разбить лицо, уперся обеими руками в пол.

– П...пусти... с-сволочь!.. У-убью!

Она хохотала как безумная и прижала его лбом к полу.

– Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вот тебе!.. Не поминай бога, ты – комсомолец.

Ввалившаяся комсомольская орда ржала неистово.

– Так его! Так его!.. Го... го... го!..

– Черт с младенцем связался.

– Одначе младенец оседлал-таки черта...

Хо-хо-хо...

– Пусти... с-стерва... ей-богу, у-убью!..

Она выпустила его и бросилась по комнате, прячась за товарищей. Он вскочил с перекошенным от бешенства лицом, кинулся за ней, как разъяренный бык, ничего не видя. С грохотом летели стулья, табуретки. Она ловко увертывалась, а ему всячески мешали, хватали за рукава, подставляли ножку и ржали на всю комнату. Он раскидывал всех, как медведь, вот-вот схватит ее...

– Манька! Манька! Беги, черт, убьет он тебя...

Она кинулась к двери, да он перехватил. Тогда она – в окно, и только ее видали. Он ринулся, высадил полрамы и исчез, топот по

улице убежал. Ребята кинулись к окнам.

Она добежала до угла, запыхавшаяся и покрасневшая. Громадный, обсыпанный мукой крючник стоял, засунув большие пальцы за веревочный свой кушак, спокойно смотрел на них.

– Дяденька, муж пьяный напился, бить хочет, – и прижалась к нему, вся белая от муки.

Крючник шевельнулся, точно сдерживая просившуюся во всех мускулах чудовищную силу.

– Чего бабу изводишь? Залил зеньки. Чебурыхну раз, до смерти забудешь, как халыганить. Гляди!

И стоял, как монумент. А тот уже остыл. Подбежал, подхватил под локоть Маньку, – и понеслись назад. Манька на бегу обернула на секунду покрасневшее, смеющееся, припудренное мукой лицо:

– Дяденька, я пока девка – не баба.

Крючник стоял, как монумент, глядел. Потом длинно сплюнул, отвернулся и стал глядеть на улицу.

Прибежали. Их встретили аплодисментами,

– Ну, окно-то кто будет расхлебывать?

Порешили в складчину. Потом расселись по табуреткам и лавкам и принялись за учебу.

Где бы и как бы не собрались, только и слышалось:

– Манька, где ты?

– Манька, начинай!

– Манька, запевай!

Голос у нее был веселый и радостный, далеко слышный и в разговоре и в песне.

Без нее ни дело, ни веселье не спорились. Любили ее.

И она часу не могла прожить без этой шумной, неумемной комсомольской ватаги.

Не у одного комсомольца ныло сердце.

– Манька, будет тебе мещаниться. Ломаешься, как коза на веревке. Не видишь, что ль, сохну по тебе. Ну?!

Та ласково берет его за голову:

– Цыплок мой золотенький, да какой же ты славенький...

– Ну, будет, будет, – а сам норовит ее обнять.

– Постой, ты только мне ответь, а там по-

твоему будет. Ты...

– Чего такое?

– Ты ответь. Какая разница – постоянный капитал и переменный капитал?

– Еще чего! Экзаменовывать вздумала...

– Да нет же, ты только ответь, а там...

У комсомольца от натуги наливаются щеки, шея, уши.

– Да это что же... тут большого фокуса нету. Постоян... постоянный – это ежели у капиталиста капитал в банке или там в кассе, не тратится, значит, постоянный. А ежели тратится, ну там на производство или там еще на чего, то переменный...

Никогда комната не звенела таким нестерпимо подмывающим девичьим смехом: бес рассыпался.

Манька сделала по покрасневшейся роже вселенскую смазь. Во-вторых, вцепилась в волосы и стала нещадно таскать.

– Будет... брось... Черт!.. Сатана!..

Он мотал, выворачивая головой, стараясь высвободиться.

– Посохни, посохни еще, миленький, да кашки книжной поешь. Тогда разговаривать бу-



дем.

В районе ею дорожили: ценная работница. Фабричные, особенно работницы, души в ней не чаяли. А когда посылали в деревню, крестьянки встречали, как родную.

Все заполнено тужурками, кожанками, блузами, гимнастерками, потрепанными френчами. И цветут маки. И цветут глаза. Комсомольская поросль густо поросла по всему залу. Такой же молодой бунт голосов мечется над головами.

Среди всех, красно озаряя, цвели щеки Маньки Луновой. Звенела непотухающая улыбка. Летели к ней голоса, вскрики, смех.

– Манька, глянь сюда!

– Эй, Манька!

По смеющемуся румянцу выбивались из-под повязки непокорные русые стриженные волосы. Она встряхивала ими.

Было беспричинно весело, радостно, и хотелось через все эти молодые головы в черных фуражках, красных повязках, – через все головы крикнуть туда, к самым крайним, к самой стене:

– Эй вы, товарищи, что у вас там?

И она крикнула, слегка приподнявшись и помахав рукой:

– Ванька Лупоглазый, ты чего же книжку мою зажил!

А оттуда донеслось так же беспричинно радостно сквозь взбаламученное море голосов:

– Не прочитал еще...

– Принеси вечером.

От стены протянулся задорный кукиш. И оба, через множество голов, засмеялись друг другу.

А на красном возвышении, на эстраде, – там свое, своя стройка. Колокольчик тоненько и отчаянно мотается среди невообразимой свалки голосов. Да разве его тонко звенящему язычку затоптать их, буйных, разметавшихся? Но тоненько звенящий голосок настойчив и знает свою силу. Он, крохотный, постепенно овладевает этой непокорной ордой буйных молодых голосов, загоняет их по углам, они низом ползут, смиряясь. Наконец свернулись и затихли.

Тогда державший колокольчик сказал бодрым комсомольским голосом:

– Товарищи! Объявляю общее собрание комсомола района открытым. Надо избрать президиум.

Избрали. Уселись.

– Слово – секретарю райкома.

Тот поднялся, порылся в бумагах, посмотрел на комсомольскую братию.

На него тоже смотрели, другие рылись в своих портфелях, а то потихоньку разговаривали, нагнув головы; иные лускали семечки, втихомолку выплевывая шелуху в кулак, хитро подсовывали ее друг другу в карманы. Как будто всем этим хотели сказать секретарю:

«Да знаем, все знаем, и чего говорил и чего будешь говорить».

А он сказал:

– Товарищи!

А они весело, семечками:

– Ну так что ж!..

Тогда над ними над всеми охнуло, взорвало человеческим голосом, и все головы повернулись и все глаза остановились на нем, потому что он сказал:

– Товарищи, среди вас – предатель!

Поплыло молчание, погашая малейшие

движения.

Все остановилось, стало страшно прозрачно, и сквозь прозрачность отчетливо видно: сотни глаз смотрели, не мигая.

Как траурный звон, опять повторил:

– Среди вас – предатель.

И протянул руку.

Никто не шевельнулся. Только видно было: сотни глаз неотрывно смотрели на него.

Тогда он злобно сказал:

– Марья Лунова!..

Как хлынувший прибой, все повернулись и увидели: сидит, слегка подавшись полной грудью, Маня Лунова, и мгновенно поблекшие щеки по-прежнему ярко цветут, и искрами блистающие глаза неотрывно смотрят перед собой.

Мгновенно сомкнулся холодный круг отчужденности.

Все сжались, чуть сдвинулись. Она сидела, подавшись грудью, и ярко цвели потускневшие было щеки, и вглядывались во что-то блестящие глаза, и назойливо кричала красная повязка.

Резко строгий голос из дальнего угла:

– Доказательства!

Как треснувшее во все стороны стекло, полопалось оцепенение.

Зашевелились, задвигались, повернулись головы, и глянули на нее сотни прежних, любящих, близких глаз. А она сидела неподвижно, глядя перед собой, и секретарь засмеялся, и душно давивший всех потолок приподнялся, – все стали дышать. По залу поплыл шум, говор, движение.

Чахоточное лицо секретаря исказилось. Колокольчик метался, тоненько всверливаясь в раскосматившийся шум и голоса, и председатель поднялся, отчаянно мотая им:

– Тише, товарищи!

Чахоточное секретарское лицо повело злобной судорогой. Поднял бумагу:

– Вот!

И этой бумагой разом придавил шум:

– ...Вот протокол группы анархистов-индивидуалистов. Она – член группы анархистов, самый деятельный член. Она тут среди нас, среди партийцев, среди комсомольцев... мы любим ее... отличная работница... Вы понимаете, тут среди товарищей, а потом побежит

к анархистам... Что же это такое?.. Ведь это же развал... Член партии, член комсомола и... продает всех...

Он захлебнулся и оглядел всех гневными косящими глазами. Опять перекосило изжелта-белое лицо, хлопнул ладонью по бумаге:

– Ее собственная рука вела протокол заседания.

Тогда взрыв повалил его голос, голос председателя, и без перерыва тонко извивавшийся голосок колокольчика.

– Долой!

– Вон!

– Пошла вон отсюда!

– Шкура продажная!

– Уходи же, сволочь!.. А то...

В нее летели вспененные злобой, презрением, отчаянием слова. Мотались кулаки. Лица у всех были пьяные, красные, распаренные.

Комсомолец от стены пустил книгой, и она пролетела над головами, торопливо перелистываясь, и упала у ее ног. Молоденькая комсомолка, еще девочка, уронив голову в колени, горько плакала.

– Манька! Манька! Чего ты наделала!..

Загремели стулья, опрокидываясь; кругом столпились, как будто не было председателя, президиума, порядка дня... И стоял рев, и мотался лес кулаков.

– Во-о-он!

Тогда Лунова поднялась и пошла к двери, не глядя, и на помертвелых щеках тлели красные пятна.

...Исключили из комсомола, из партии.

Все – как было. Из-за фабричных труб каждый день всплывало солнце, и гудели корпуса, и бежали комсомольцы – кои на учебу, кои к станкам, кои на партработу. А Маньки Луновой не было.

По вечерам, на собраниях или на демонстрациях пели комсомольские песни или революционные марши, – а голоса Маньки Луновой не слышно было.

Часто вспоминали ее, и удивлялись, и ругали, и жалели, как же это она так, – а ее не было. Никто не видел, никто не слышал.

И бежали дни и месяцы и делали свое дело. Забвение тихонько стало затягивать, и ко-

гда обернулся год, заволокло память о ней: перестали вспоминать, перестали говорить...

...Идет черный, как арап, комсомолец, плечистый, с неправильным, приятным лицом. Шагает – портфель в руках, задумался, глядит под ноги, дорожки не видит, а видит свою работу: на фабрику перекинули.

Навстречу девушка. На щеках дотлевают пятна. Остановилась.

Тихи деревья.

– Алеша!

Остановился, глянул, нахмурился.

– Вам что угодно?

– Постой... давай сядем... ведь год...

– Не о чем нам.

– Но... подожди... что ж боишься, не укушу... не испортишься... вот тут... на лавочке.

Нехотя сел, не глядя.

Она – поодаль, обернувшись к нему. Сквозь ветви дробилось солнце.

Няни, придерживая детские колясочки, беседовали с кавалерами.

– Алеша... я не хотела... я б не должна бы этого говорить, но... не мо...гу...

Зарыдала, зарыдала рвущимися рыданиями.



ми. Зажала глаза, рот платком. Все равно рыдания, сдавленные, рвали грудь, слезы неудержимо ползли из-под платка.

Он сморщился, брезгливо поднялся. Она судорожно ухватилась...

– Н-не... мо-гу. Я ведь... Меня посла-ли, понимаешь... к анархистам... это было... задание. Это – революционное задание. Я не могла никому вам сказать... сам понимаешь, но как тяжело... как мучительно... на фронте... там смерть... но там со всеми... с братьями... с друзьями, там ведь другое... умереть радостно... а тут среди врагов... одна... брошенная... отвергнутая... своими... целый год презрения...

Она опять зарыдала, затискивая платок в рот. А он стоял перед ней, оглушенный. Плыл кругом бульвар, скамейки, деревья, прохожие.

Вдруг она отняла платок и засияла, в слезах, улыбкой, а на щеках горят влажные румянцы.

– Пойдем в партком. Меня уже восстановили в партии и комсомоле.

И засмеялась по-прежнему, сияя на него еще не просохшими слезами.

– Милый, я тебя больше не буду таскать за волосы.

## Корреспондент «Правды»\*

**Т**яжкая осень восемнадцатого года. На Восточном фронте Красная Армия с переменным успехом билась с Колчаком, с чехословаками.

С фронта систематических известий не было. Что доходило оттуда – было отрывочно, случайно. Не было кадров постоянных корреспондентов. Случайные же корреспонденции неизменно возглашали «гром победы», даже и тогда, когда красные полки с «громом победы» пятились. И мало этим корреспонденциям верили.

«Правда» первая эту «линию» попыталась выправить и послала меня на Восточный фронт.

Быстроты, натиска, умения быстро освоиться с обстановкой, умения влезть куда нужно, вынюхать, вывести, – этих важных качеств корреспондента у меня не было, но был писательский глаз; уж что-нибудь, думаю, да схвачу. Да и то сказать, на безрыбье и рак ры-

ба.

Ехать было холодно, голодно. На остановках и с деньгами сдохнешь с голоду, нигде ничего не купишь, частную торговлю-то всю прикончили. И лавки и базары стояли дохлые.

А тут на пересадках мука – в вагон не влезешь: всюду полно, друг на друге, всюду гонят в шею, приправляя сдобным словом. Хоть пешком иди!

Пошел к коменданту. Замученный человек, в кожанке, с серым лицом, из рабочих.

– А?

– Я писатель такой-то. Еду...

– Ну-к что ж. Чево вам нужно-то?

– Так и так... Писатель. Еду на фронт. Ни в один вагон не влезу. Посодействуйте...

Он не то равнодушно, не то замученно посмотрел в окно.

– Ну-к что ж! Я-то что же сделаю? Не рожу же нового вагона.

Я – с отчаянием:

– Я послан «Правдой»... корреспондентом на фронт...

Он разом засветился весело и радостно:

– Что ж ты не сказал, товарищ... Садись, отдохни. Вот чаю. Хлеб-то у нас – того... Эх его завернуло!.. Устрою в лучшем виде. Хочешь – подожди. Вечером штабной пойдет, – как дома будешь... Ну-ну, не хочешь – зараз устрою.

Через полчаса я трясся в товарном. Спереди несло нестерпимо от печурки, растапливаемой разносенными по дороге заборами, сзади леденил свистевший в щели ветер. Красноармейцы, матросы сидели, лежали, матерно рассказывали бывальщины, смеялись и пели.

А я понял, что я прежде всего корреспондент «Правды», маленький, крохотный кусочек, осколочек «Правды», несущий для нее работу, а потом уж такой-то писатель.

И где бы я ни был во время этой поездки, я протягивал корреспондентский билет «Правды» – и сразу попадал в свой дом: товарищества, сердечности, близости.

За Волгой ударил крепкий мороз, понесло степной метелью. Сквозь снежное мелькание дымила студено чернеющая речка; по громадине куполообразной вершины черно щетинились изыбшие леса. В лощине верст на де-

сять протянулась заваленная снегом деревня. К лесу выдвинуты крайние посты, дальше – враг. Он затаился, и было тихо. Только метель, неустанная, то проступала чернеющими пятнами леса, то колебалась безглазой мутью от края до края.

На передовой линии люди всегда недоверчивы и замкнуты, точно лица их немо подернуты, и официальные бумаги их трудно разогревают. Но только я протянул – «Правда», как сейчас же очутился среди друзей и товарищей. И полились рассказы о боях, о боевой жизни. За окнами все сине застыло в двадцатидвухградусном морозе.

...Да, было... Налетели белые. Обошли с тыла и налетели. Сколько обозных порубили! Все смешалось и побежало. Но часть полков уперлась: по горло в каленой ноябрьской воде на руках перетаскивали орудия. Белых отбили. Я обо всем написал корреспонденцию.

В те времена много слали подарков в армию. Специальная комиссия была. В центре решали вопрос, что посылать, и никто не удосужился на месте проверить, что наиболее нужно красноармейцу.

А получалось следующее. Присылают кожаные куртки. Красноармейцы, получившие куртки, бегают высунув язык и продают за бесценок. Дело в том, что куртки зимой – обуза: не греют, а приходится с ними возиться, беречь. А вот шарфы, самые дрянные, рвали из рук друг у друга. Дело просто: у шинелей ворот страшно выхватывается, и шарф в морозный ветер – спасение. Я написал корреспонденцию.

Как-то утром морозом дымились горы, на лошади, тоже дымившейся, к штабу подъехал красноармеец. Через плечо – набитая сумка. И по улице и по избам, как электрический толчок, пронеслось: «„Правда“ приехала!» Бежали как на пожар. Я тоже прибежал в избу: «Правду» рвали из рук. Два товарища стояли друг перед другом, тянули каждый к себе «Правду» и урезонивали друг друга:

– Дорогой товарищ, вы же нахал! Ведь я первый взял.

– Дорогой товарищ, вы понюхайте вот этого! – и он деликатно поднес к его носу волосатый кулак.

А третий, пока они друг с другом деликат-

ничали, изловчился, дернул сбоку, вырвал газету, юркнул к окну и застыл глазами.

Точно потеплело по избам, где шуршали «Правдой»; точно вернулись в родные семьи; точно ласково накормили всех голодных и усталых. И уже не думали, что вон из-за того чернеющего леска каждую минуту могут выкатиться лавой казаки и с гиком начать разваливать головы, переполненные мыслями родной газеты. Целый день и другие дни товарищи ходят веселые и оживленные.

Вернулся я в Москву. «Правда» с корреспонденциями к этому времени дошла до линии фронта. Батюшки, какой содом поднялся! Командный состав, политотдельцы, командующий армией встали на дыбы: «Как, рассказывать в газете, что было поражение! Разве это допустимо?»

По армии отдан был приказ: «В армию приезжают ничего не понимающие корреспонденты, которые злостно извращают события. Таких надо гнать из рядов Красной Армии...»

В редакцию «Правды» прилетела громаднейшая телеграмма, где на все корки поно-

сился корреспондент «Правды», – телеграмма за подписью командующего армией и политотдельца.

Враг народа, фашистский агент Троцкий заявил тогда Марии Ильиничне (Ульяновой), что придется отдать корреспондента «Правды» под суд за дискредитацию армии.

Через два года тот же предатель Троцкий написал в «Правде» лживую статью о том, что армии нужна истина. Не фарисей ли?.. Читая эту статью, я уже тогда установил ложь и фальшивость изменника Троцкого.

Эта фальшивость подчеркивалась еще больше письмом, помещенным в «Правде» и подписанным командным и политическим составом целой бригады, о том, что корреспонденции верно рисуют события, достоинства и недостатки боевой жизни на фронте.

Шуба-шубой поднялась и подарочная комиссия, и тоже письмо в редакцию, – обидели и ее.

В конце концов все утихомирилось.

Так «Правда» пробила дорогу для верного освещения жизни армий и всей страны.



## Товарищка Дора\*

**П**ирамидальные тополя, украинские тополя  
вознеслись в сверкающее небо. Догоняя,  
впились в синеву и белые колокольни. А до-  
мишки, свиньи, вонь дворов, тонкий запах  
акаций, украинский говор, визг и крики ев-  
рейской детворы – все это перепуталось, замо-  
талось, потонуло в бесконечно мутном, горя-  
чем мареве стелющейся над городом пыли.

Сквозь далекую голубизну блестит Днепр.

На улице роятся свиньи. Из-за заборов  
ласково пахнет сирень.

– Та цур тобі!.. От ледаца животино...  
Тпрусь... шоб тобі повылазило!..

– Вей мир!..

В гигантских облаках пыли степенно воз-  
вращаются домой коровы. Старый, солидный,  
деревянной стройки двухэтажный дом, а на  
парадной полинялой двери медно позеленев-  
шая дощечка, а на ней черно-полопавшаяся  
надпись:

Помощник присяжного поверенного  
*Иосиф Моисеевич*  
**Розельман**

*прием от 4–8 вечера.*

Большая еврейская семья.

Обсядут в столовой в нижнем этаже громадный стол, – а по стенам вниз головами утки из папье-маше, раскрашенные, и во весь пролет стены – тяжелый дубовый ковчег, которому сто лет и в котором на сто человек посуды. Обсядут стол всей семьей, как будто базар открылся, – смех, говор, перебивают друг друга, зассорятся, вспыхнут, опять смех, опять сыплют торопливой речью друг другу. Все говорят по-русски, только «р» чуть картавится, и волоса – курчавые, больше черные.

Да всех не загонишь сразу за стол – из гостиной тоже несется говор, смех; то запоют, или рояль заговорит, или виолончель грудным человеческим голосом, человеческим грудным глубоким голосом... Отчего ж впивается в сердце, так больно и сладко впивается в сердце этот томительный голос?

А из столовой раздраженно:

– Да идите же, все уже холодное...

И когда наконец все усядутся и стихнет отзвучавшая гостиная, так из конца в конец стола почти не видно друг друга, как будто

растянулись и потерялись на другом конце улицы, – ведь двадцать человек семейка, двадцать два! Прислуга, украинка, подает, принимает тарелки; давнишняя, лет тридцать в доме, повязана засаленным платком, и концы назад, старый член семьи, – ворчит:

– Хиба то порядок? За стиль уселы, а воны: га-га-га, та цымбалы, та музыку, а все стыне. Хиба ж це порядок?

Как только дело касается еды, она – хозяйин и распорядитель в доме.

Двадцать два человека!

Во-первых, две бабушки, тусклые, слезящиеся, равнодушно глядят перед собой, и на пергаментных лицах запечатлено: «Мы все сделали, о Иегова, – вот поколение!..»

Когда изредка их пергаментные губы прощуршат, молодежь их не понимает: по-древнееврейски.

Хозяйка – в черной наколке, и ленты подрагивают; и на лице печать: принесла восемнадцать, выходила одиннадцать, и берегла, и бережет, и будет беречь, как насадка.

Черные ленты гордо подрагивают: у каждого – талант, Либо отлично учится в гимна-

зии, либо отлично кончил университет, либо отлично торгует лесом, и каждый либо поет, либо на рояле, либо скрипка, виолончель, – большой деревянный дом – как старый огромный музыкальный ящик. Прохожие уж привыкли: проходят мимо по улице, задерживая немного шаг, – сквозь окна несутся музыкальные голоса.

А возле хозяйки, на стуле, болтая недостающими ножками – крохотный кудрявый цветочек, самая маленькая. Черненький, лохматенький цветочек. Да какой же живой! Да какой же непоседливый! Верно, оттого светятся две искорки, две тоненькие точки, смеющиеся и лукавые, светятся из-под темно выгнутых ресниц неизбывной шаловливостью, дразнящим смехом.

Любимица...

Все ее любят, и младший брат, изо всей семьи один – социал-демократ. А отец ему:

– Чем хочешь будь, хоть самым Вельзевулом, только не попадайся. А лучше, если бы занялся вместе с Соломоном.

И Соломон, старший брат, – отлично ведет большое лесное дело, – и он не пройдет мимо,

чтоб не потрепать чернокудрявый цветочек.

И сестры, и другие братья, и тетки, и бабушки, и знакомые, и прислуга, и водовоз, который каждый день привозит бочку с водой, – все. И отец, седеющий, благообразное лицо, в котором – мудрость, опыт прожитого. И это всегда спокойное, уравновешенное лицо, – и оно трогается улыбкой, когда возле черненький шаловливый цветочек.

Дом полон музыкального смятения, но никто не обращает внимания на эти не умирающие с утра до глубокой ночи музыкальные голоса, – привыкли.

Но иногда вдруг все остановится в доме, затихнет, все остановятся, где кого ни застанет, приложат палец к губам:

– Тссс!.. тише!

На цыпочках подбираются к гостиной, вытягивают шеи и слушают, заглядывают в гостиную, показывают друг другу с засветившимися лицами.

Видят: черненький цветочек отражается в черном зеркале рояля, и ножонки беспомощно не достают до педалей. А пальчики крохотно ползают по белым смеющимся клавишам,

и странно, не по-детски послушно сочетаются глубоко звучащие внутри струнные голоса.

– Да ведь только три года!.. Крошка!

Толпятся все в дверях, и светло в доме от улыбок.

– Дора!..

Ее подхватывают, и смеющийся солнечный черненький зайчик радостно и ревниво перебрасывается с рук на руки.

Этот музыкальный цветок куплен смертью родного человека, близкого, любимого, – куплен смертью дяди. Брат матери – кантор.

Красивое, румяное, чуть излишне полное, чуть апоплексическое лицо; и шея короче, чем нужно, и сам – полный; черные горящие глаза. Иногда задыхается. И бархатный баритон. Бархатный баритон в потрясающе-мрачных древнееврейских напевах, полный мрачной скорби тысячелетних страданий народа, «избранного» народа. С замиранием слушали евреи, слушали богатые евреи в синагоге своего знаменитого кантора. За тысячи верст приезжали и, поворачиваясь друг к другу, говорили:

– Только еврей, только еврей такой голос

имеет...

На еврейских концертах он выступал. Стены ломались, в синевато-тусклой густоте меркло электричество, и евреи сидели на спинах друг у друга. А потом дико рушился обвал криков, аплодисментов, грохот сдвигаемых стульев – начинался шабаш восторга.

Нет, он не был целомудренно-правоверным кантором – любил жизнь, красоту, безумно любил власть своего голоса, и его любили женщины.

Он исполнял религиозные обряды для окружающих, для окружающей массы. И когда наматывал на голову ремень с выдававшимся на лбу кубиком заповедей, усмешка играла в сердце. Иегова был далеко за пределами разумности, но он все-таки надевал смешную полосатую хламиду для массы, – ведь он был кантор. Только когда подымался пронзительно-тонкий, как визг, древний хор детских голосов, и его мягкий бархатный голос удивительно вливался в их танцующую ткань, все забывалось – и Иегова, и его история, и канторство. Печаль, печаль и отчаяние, и горе, и тьма тысячелетий неумираю-

щего, неискоренимого народа дрожали, все заслоняя.

От тонкого визга свивающихся детских голосов у слушателей шевелились волосы и ползли мурашки.

За тысячи верст приезжали богатые евреи слушать своего знаменитого кантора.

И вдруг все пошатнулось. Десятки антрепренеров охотились за ним для своих оперных театров. Он подписал контракт, уехал. В дни его выступлений в громадном городе билеты брались с бою, и барышники чудовищно наживались.

Через полгода затосковал, порвал контракт, вернулся. Еврейство богатое от него отвернулось, от него, оскверненного соприкосновением с «гоями» и их нечистой сценой, – не видать ему канторства, как своих ушей.

Он жил все с той же улыбкой жизнерадостности. От мала до велика ломились в зал, когда давал концерт. А червячок точил сердце – крохотный червячок, и сердце иногда задыхалось.

Сестра была беременна последней беременностью – сорок семь лет. И он ждал, ждал



и в напряженном ожидании считал дни.

Нет, не потому, что у евреев тысячелетнее поверье: если родится у сестры последний мальчик, старший в роде будет долго-долго жить, то есть он, дядя новорожденного, будет долго-долго жить, будет жить. Если девочка – он... умрет.

Пустяки! Давно откачнулся от предрассудков, от суеверий родного народа, но... если бы... если бы племянник, если бы мальчик!

Дни убегали, точно проносились в вагонное окно полотно, телеграфные столбы, будки, переезды. И однажды тоненько и беспомощно звякало крохотное существо.

Если б мальчик!.. Ему, старшему в роде, дяде... жить тогда...

Акушерка вышла и сказала:

– Поздравляю с племянницей.

Он потемнел и отвернулся к окну. Нет, он не суеверен. Он давно равнодушен к обрядам религии отцов, а тем паче свободен от суеверий, но почему же, почему... племянница, а не племянник?!

– Почему?!

Дни бежали, напоенные заботой, трудом,

радостью миновавших огорчений. Жил город, светило солнце, как всегда. Чудесная жизнь, ибо звучала музыкой, ибо пестрела искусством.

Жизнь прекрасна, но... «почему же не мальчик, а племянница?..»

Глядь, а он над обрывом, и сам не знает, как попал. Бестолково сбегают деревья; блещит поворот реки. В медленной задумчивости уходит домой.

Шумный концерт. Чудесно звучит бархатный голос. Взрывом плещущие волны аплодисментов. Светится среди множества лиц любимой, среди множества, но – «почему же, почему?»

Кончился концерт. Надо домой. Глядь, а он над обрывом... Зеленые внизу верхушки; излучина реки блещит... Над обрывом – одинокий, и тоненько, тоненько, как комариное пение, то, о чем не хочет думать.

И как ни сопротивлялся всем своим разумом, всем своим образованием, знанием, его сломило: маленькая крошка пришла в мир, чтобы вытолкнуть его из жизни – двое они не поместятся, он должен уступить. Он?! А го-

лос? А солнце? А зелень сбегаящих деревьев? А синие дали? А этот старый дом, где поколения прошли? А лицо любимой, лицо любимой, озаренное среди множества?..

И где бы ни был, какое бы дело ни делал, чем бы важным ни был занят, в конце концов очутится над обрывом, – под откос сбегают вершины, блестит река.

Нет, так дальше нельзя, нет сил. И он... сдался.

Последний раз взглянул на зеленеющее море, на синеву, на дальний блеск и пошел к... маленькой, которой он еще не видел.

Мать, нагнувшись над корытом, плескала на маленькую теплой прозрачной водой, а маленькая в корыте корячила пухлые, перевитые ниточками ручонки и ножонки, как жучок, положенный на спинку, и глядела на дядю переспелыми вишенками. У него мучительно и сладко перехватило на секунду приостановившееся сердце: «никогда не было детей» и еще... и еще: «не поместятся в этом мире... тесно...»

«Э, вздор!»

Сестра подняла на него сияющие глаза:

– Посмотри!.. Посмотри!..

Он неподвижно стоял и смотрел. Выкупали, завернули в простынку, и мать с сияющим лицом стала кормить. Ребенок торопливо сосал, причмокивая, взглядывал черно-вишенными глазками и обминал мягонькие ноготки о материнскую грудь.

Он взял у матери, неловко держа в руках. Вдруг почувствовал: стала таять черта, отделявшая его от этого тепленького комочка, неуловимо затаенная черта отчужденности.

– Живи, расти, дочь моей сестры!.. Да будет тебе счастье!

В нем проснулся тысячелетний еврей. И сказал вдохновенно, высоко подымая ребенка:

– Передаю тебе все, чем одарила меня судьба! Передаю тебе мой голос, его красоту и послушность, и его неодолимую власть над людьми. Передаю тебе всю власть, какую дает над человеком человеку искусство. Будь счастлива, займи мое место!..

Ребенок завел глазки и чему-то улыбался во сне. Мать с восхищением смотрела на брата. А у него большие черные глаза налились

грустной ласковостью.

Через неделю умер от разрыва сердца.

С этих пор все стали ждать, все – и бабушка, и мать, и отец, и братья, и сестры, и прислуга, и водовоз, и знакомые, – все стали ждать, с восхищением глядя на крошку. Да нет же, молодежь не была суеверна, а где-то в глубине неосознанно стали ждать.

А черненький цветочек рос, развивался и смотрел на окружающий мир широко открытыми глазами, в которых искорки.

И мать говорила отцу:

– Надо учительницу.

А он:

– Слишком мала.

А она:

– Ну, как же... скоро четыре года.

– Мала... – и ласково трепал ее кудри.

– Как же, мала! Когда появится голос, она должна уже знать рояль. Ведь она же сама играет. Ну-у?

И ей стало десять лет и пятнадцать, а голос... не появлялся.

И постепенно страх и недоумение пополз-

ли по дому. А дядя? А его благословенный подарок родившейся крошке перед смертью? И разве не Иегова говорил его устами?

И все поняли: у нее голоса нет и никогда не будет. И глаза бабушек покрылись пеплом смерти и отчаяния...

Потом она стала подрастать.

И отец и мать не могли наглядеться на нее, ненаглядную, как это бывает со всеми родителями на всем белом свете.

Потом уже везде бегала и играла с подружками – и в саду и на улице.

Раз она прибежала в слезах, всхлипывая, к матери:

– Мамочка, мамочка! Сейчас я играла с мальчиком... добрый мальчик... Мы играли, а он закричал: «жидовка», ударил, погнался за мной... Мамочка, за что он меня ударил?.. Я ему давала пирожки, подарила маленький поясок, мы с ним играли, а потом он ударил и закричал: «жидовка». Мамочка, он – злой!

– Нет, деточка, он не злой, только он не понимает.

– Мамочка, отчего мы жидаы?

– Нет, мое солнышко, мы не жидаы, мы –

евреи. Вот есть русские, есть грузины, есть персы...

– Мамочка, а перс ходил, а у него на клетке зеленый попугай билетики вытаскивал, а нос кри-во-ой.

– Мы такой же народ, деточка, как другие народы.

Дора вприпрыжку побежала опять играть. Но тонкая заноза, тонкая, как отломленный кончик иглы, осталась в маленьком сердце.

Осталась и потихоньку стала расти; и чем больше подрастала, тем больше и на улицах, и в театрах, и в домах чутко прислушивалась; и слово «жид» обидно и больно вспыхивало – и среди крестьян, и среди рабочих, и среди образованных людей. И она узнала, что евреев громят, убивают, нечеловечески замучивают.

Дора, уже девочкой, с горечью думала: «Разве можно жить среди такой травли? Лучше умереть».

И она опять приглядывалась и видела, что одни люди, которые пили трудовой пот других, науськивали их на евреев, чтобы отвести от себя их раздражение. А замученные травлили евреев с горя, от нищеты, от безвыходно-

сти и непробудной темноты.

Познакомилась Дора с революционерами, с их учением, тогда поняла, что только революция освободит всех замученных от их мук: рабочих – от сосущих их фабрикантов, крестьян – от помещиков, евреев – от мучений, потому что и у рабочих и у крестьян смахнется вековая темнота с глаз.

Грянула революция. Дора – коммунистка. Ее послали в армию в политотдел. Наступал Деникин. В тяжелых солдатских башмаках, в штанах, в шинели, в фуражке на обстриженных кудрявых волосах, она весь поход шла с красноармейцами.

– Дора, будет тебе, – говорили товарищи политотдельцы. – Иди в обоз, садись на повозку. Все равно долго не протянешь, сама видишь, – не по силам.

Дора отмахивалась и шагала в колонне красноармейцев. И опять, опять слышала:

– Да ведь это – жидовка.

Закусив губы, шагала она вместе с красноармейцами, довольствовалась с ними из одного котла, голодала вместе с ними, когда отставали походные кухни и обозы; разъясняла



им всю громаду борьбы, которую ведут рабочие и крестьяне со своими лютыми врагами. В боях она неизменно была в передовых рядах, подбодряла своей улыбкой, своим девичьим голосом, а когда не управлялись санитары, помогала перевязывать раны, выносить раненых, – как будто не рвались вверху шрапнели, не перебивали друг друга пулеметы.

К ней стали привыкать, и часть казалась пустою, если красноармейцы не видели возле себя замызганной фуражки на кудрявых волосах. И все-таки... все-таки срывалось то тут, то там под горячую руку слово «жидовка». И, стиснув зубы, все той же общей жизнью жила с красноармейцами Дора.

Черною хмарой надвинулись темные дни: навалились белогвардейские полки, пятилась на север Красная Армия. Отбивались красноармейцы и день и ночь, уходили, и вместе с ними в рвущихся шрапнелях шла позеленевшая от бессонных ночей и напряжения, с ног до головы забрызганная грязью Дора.

Налетели казаки. Стали уходить, огрызаясь, измученные красноармейцы. А в овражке под деревом остались двое красноармей-

цев: перепоясало их пониже колен дробными четками пулемета.

– Братцы!.. Бра-атцы, не кидайте...

Да видно, сила солому ломит, – уходит часть. Больно бросать товарищей, да ничего не поделаешь, одни остались.

Нет, не одни: возле, на коленях – Дора. С зеленым, измученным лицом и с замызганной, простреленной фуражкой на кудрявых волосах, стоит на коленях, перевязывает.

Увидали казаки, полетели кучкой. Впереди офицер на караковом жеребце, шашка сверкает в крепко зажатой руке.

Вот они.

Поднялась Дора, схватила обеими руками тяжелый наган, дернулся он от выстрела. Вздыбилась лошадь, опрокинулась, придавила офицера, быстро стало синеть его лицо.

Увидала отступавшая часть, ёкнуло у всех сердце, без команды кинулись назад. Отогнали казаков, подобрали раненых.

Целую ночь шли красноармейцы. Шла с ними, шатаясь от усталости, еле выволакивая из чмокающей грязи разбухшие, тяжелые башмаки, Дора. Нет, не дойти ей. Все больше

и больше рядов обходит ее, и, когда проходили последние, она остановилась. Всё! Дальше не может! И села.

Остановились последние красноармейцы. Один молча сдернул намокшую шинель, четверо растянули ее, а один уложил туда Дору, и понесли ее, молча и сурово, среди грязи, среди синееющего в темноте дождя и провожающих шрапнельных разрывов.

– Не надо, не надо... Пустите, я сама пойду... Я теперь отдохнула, сама пойду...

И карабкалась на край шинели, чтобы слезть в грязь. А они:

– Товарищка Дора, не бунтуй.

Встряхивали шинель, и Дора опять скатывалась на середину.

И они изнеможенно шагали по грязи в мокро сеющейся темноте, не в состоянии поднять закрывающихся век: трое суток не смыкали глаз.

А Дора все норовила сползти с шинели, и ее опять молча сердито стряхивали на середину и шли. И слезы ползли по ее щекам, размазывая грязь, слезы несказанного счастья,

вдруг осветившего всю жизнь.

Нет, никогда-никогда они теперь не назовут ее «жидовкой», не назовут, она знала это, – они такие родные, такие близкие.

И эти невидимые слезы счастья тихонько вымыли из сердца ту занозу, которая уколола его, когда она была еще крохотной девочкой, – и впервые посмотрела на мир широко открытыми, счастливыми глазами.

Отряд спотыкался в темноте, в разъезжавшейся грязи, в выбитых по колено промоинах, полных осенней воды, и сек косою дождь, и разъезжались ноги, и сосед с трудом видел соседа. Не знали: была ли впереди отряда головная часть с пулеметами, или давно рассеялась, либо пошла по другой дороге и потерялась, был ли хвост, или давно пропали и походные кухни, и весь обоз.

Дора шла среди дождя, ветра, среди солдат, невидимо чмокающих в грязи, и с трудом вытаскивала грубые отяжелевшие от воды солдатские сапоги. Обмокшая, свисшая шинель била по коленкам, и с грязной, размокшей фуражки сбегала вода по стриженным волосам за ворот, холодя тело.

Отряд шел, невидимо шатаясь в грязи. Упорно сек косой, тоже невидимый дождь. И неизвестно, сколько прошли, и неведомо, когда остановятся... Нельзя было закурить, – все мокро.

Кто-то сказал:

– Ежели Махно налетит, – всем крышка.

Ему не ответили. Ничего не было видно, и не было этому конца и краю.

Солдатик, рядом чмокавший по грязи, – лица его она не могла разобрать, – сказал:

– Слышь, товарищка Дора, садись у повозку. Ей-бо, не дойдешь. Пойдем, посажу. Женщины все едут.

Она мотнула мокрой головой, – он этого не видел в дождевой мути и сам себе сказал:

– Ну и норовистая девка.

И опять все то же; все так же тянется за всеми отчаяние и дошедшая до края усталость.

А когда пришли на ночевку и забрались в сухие теплые домишки городка, как будто ничего этого не было: ни бесконечного иссеченного дождем мрака, ни разъезжающейся под ногами склизкой дороги, ни безграничной

усталости. Весело ужинали, заливалась Двухрядка, взрывами вырывался хохот, как будто каждую минуту не мог налететь Махно и вырезать всех.

А в школе, где расположился политотдел, набились солдаты. От махры не продыхнешь. Наваливаются друг на друга. От мокро-высыхающей одежды туман. Маленькая фигурка Доры в солдатских штанах, сапогах и гимнастерке совсем потонула среди солдат.

– Ну, что вам сыграть? – говорит она, приподняв чернокудрявую головку.

– Товарищка Дора, вали Грыгу.

– К чертовой маме твоего Грыгу! Вали, товарищка Дора, Ховена.

– Да ну, надоел с своим Ховеном. Опять же немец. Вали Шопена.

Смеющееся и ласковое лицо Доры становится серьезным и далеким. Она берет аккорд, играет седьмой вальс Шопена.

Солдаты слушают, изредка потягивая из кулака сигарку, следят, не спуская глаз, за мелькающими по клавишам пальцами. Любят Дору, берегут. А давно ли ругались при ней матерно, косвенно относя к ней, харкали,

топали и сморкались, чтоб заглушить ее игру. Сколько ей бороться пришлось с ними! Она победила.

## **Будущее – наше\***

**И**з-за воротников смокингов, облегающих тело, выбегают ослепительные воротники тончайшего белья. На холеном брезгливом лице глаз презрительно блестит ловко прихваченным моноклем. Ни морщины, ни складочки. Точно выутюженный. И остро выбегают носки изумительно скроенных ботинок, ибо отделяют от всего мира.

Хранители «величайшей цивилизации и культуры...»

И дворцы, и чудесные парки, и возможность переноситься по всей громадине земного шара со сказочной быстротой, и все поразительные творения искусств и наук – для них и с ними, ибо – хранители величайшего, что есть у человечества: «цивилизации и культуры».

И власть, чудовищная власть над всем остальным человечеством – во имя охранения «цивилизации и культуры».

А против, заливая фабрики, заводы, шахты, деревни, фермы, поля, леса – миллионы людей с вьевшимися трудовыми мозолями, в пропотелой изодранной одежде, в корявой обуви или босые, ибо это – «враги цивилизации и культуры».

И невиданная, несказанная сеть оплела громаду этих миллионов. Беспощадные бичи надсмотрщиков, черные дыры тюрем, бесконечно уходящие виселицы и стены, заляпанные кровью и мозгами расстрелянных. И тонкие тенета колдунов, махающих приторным дымом кадил.

И еще тоньше тенета незабываемого обмена предавших, в лучшем случае из трусости и социальной слепоты, в худшем – из-за огрызка сладкого пирога, падающего со стола джентльменов.

Так предстали друг перед другом «хранители» и «разрушители» «цивилизации и культуры».

Но совершили века круг свой.

И пришел к вам ужас – к вам, хранителям и охранителям «цивилизации и культуры», – ужас!



Нет, не потому, что ослабла материальная сила руки вашей, – еще гуще уходит вдаль лес виселиц, еще бесчисленнее чернеют казематы тюрем ваших, еще больше изжелта кровавеют заляпанные мозгами стены. Нет! А потому, что слабеет сила лжи вашей.

Слабеет сила лжи вашей!

Но разве разучились вы лгать? Разве погнулась ваша изворотливость?

Нет, вы так же лживы, вы так же подлы, вы такие же мошенники и даже больше, ибо распоясались перед всем честным миром, ибо уже нет предела цинизму вашему – голые. Но слабеет сила лжи вашей.

Слабеет с каждым ударом кирки в огненной стране, слабеет с каждым ликвидированным неграмотным, с каждой возведенной фабрикой, с Волхов-строем, с Волго-Донским каналом, с невиданным построением социалистической страны. Слабеет ложь ваша, ибо это *факты*, – и правда льется в мозг ваших трудящихся.

Нет, не помогут ваши вопли! Пролетариат трудовой страны в страстной работе созидания порой натывается на препятствия, на

предательство. Не хрипите же злорадно-упоенными голосами стервятников, – рабочие ряды непобедимы, никому не сломить их! Та-ет сила лжи вашей.

И еще непотухающий ужас ваш: несмыкающимися глазами неотрывно следите вы за процессом революционного претворения, неодолимого, как закон природы. Люди научной мысли, люди художественного творчества вошли в ряды строящих и несказанно оплодотворили труд и силу сопротивления вам. Нет, не войте, – это искренно, ибо вошли не сразу, были колебания, было у некоторых внутреннее сопротивление, но изжили и вошли. Искренно. И творческая работа их наполняет страну, наполняет, переплескивает в ваши страны.

Что же вам осталось? Вы обнаготились до конца, вам нечего сбрасывать с себя – все!

Что же? Одно: только напролом.

Смотрите! Рабочий, трудовой крестьянин в страстном напряжении бьет молотом, режет серпом, мучительно отгоняя от себя мысль о кровавой борьбе, и... и, сумрачно поглядывая на вас, берет другой рукой винтовку: если

борьба – не на жизнь, а на смерть.

Нет, у обреченного судьба отнимает последний кусочек логики простого расчета самосохранения.

## Девушка гор\*

Степи без конца и краю. Едешь день – все степи; едешь два – все степи; а ведь поезд день и ночь бежит без устали, – степи между тремя морями. Наконец устали тянуться, – за синело на их краю.

Не то тучка залегла отдохнуть, не то марево на далеком степном краю.

Горы. И уже не оторвешь глаз. На самом краю растут, как туча.

Несется голубоглазая Теберда, вся в белых кружевах, а кругом горы до самых облаков, а по горам темно-дремучие леса.

Мы останавливаемся: курорт – Теберда и аул Теберда. Живут карачаевцы, – самое древнее племя на Кавказе.

Стройные, в перетянутых черкесках... Кинжалы, – а в рабочую пору отрепанные, босые. Единственный источник существования – скот.

Тебердинское ущелье это – удивительное место для лечения туберкулеза.

Вот идут рабочие, желтые, с потухшими глазами, глядя себе под ноги: туберкулез. Только что приехали. А вот – с веселым взглядом, с крепкими лицами, и живые звонкие голоса:

– На водопад идем.

Эти уже облазили тут все горы, леса. А ведь всего полтора месяца назад приехали с севера с такой же туберкулезной желтизной, с потухшими глазами. Этот горный чистейший воздух чудеса делает.

Лошади, сухие и поджарые, осторожно постукивают по узенькой тропке: внизу далеко-далеко белая гривастая река клокочет между громадами валунов. Слева с трудом лепится по стене лес, обвисли корни, поверху гуляют облака, цепляясь за щелистые острые скалы.

Облако мутно обволакивает нас. Когда проплывает, – вокруг сказочное море синеющих хребтов, и снега блестят грудками. Пустыня. Бродят тут дикие козы, туры, олени, медведи, волки.

Среди этого травянистого моря зачернелось. Подъезжаем. Небольшой сруб, прокопченный, без крыши, без окон, – одна дверь. Внутри костер, и дым валит в дверь. Люди в рваной одежде. Смотрят на нас. Кругом тонут в траве коровы, лошади, овцы.

Это – кош. На два-три месяца подымается сюда семья со стадами. Если внизу в ущелье живут, думают, рождаются, умирают полудикарски, то здесь жизнь совершенно дикарская. Отрезаны от всего. Безграмотны. Только – трава, небо, снега, да скот, да дикие звери.

Смотрят на нас. Девушка – с крепко выбегающей из ярко красного платья шеей. Черные глаза. Лет шестнадцати, сила просится из крепкого, точно отлитого, тела. Нужно, так и мужика сомнет. Мы с удивлением смотрим: волосы подрезаны у нее в кружок. Это тут-то, в горах, у девушки гор, скованной тысячами обрядов, условностей, вековых привычек, скованной религией и женским рабством.

Она отворачивается и смеется, блеснув ровными, зубами, – смеется конфузливо и вызывающе.

– По-русски говоришь?

Смеется, трясет головой.

А старик, оборванный, босой, с коричневым телом от горного ветра и солнца, рассказывает сурово:

– Нехароший девка. Матери гаварил: «Уйду камсамол». Атец гаварил: «Убью». Она гаварил – «Уйду». В ауле приехал балшавики. Она познакомился... Вот... – он показал на ее волосы. – Атец стал ловить, не поймал. Мать стал ловить, не поймал. Братья стал ловить, не поймал. Атец, братья сел на лошадь, стал ловить. Она, как дикий олень; лошадь никак не поймал. Потом лошадь стал ее хватать. Она завизжал и к этой скале. Вскочил на край, руки поднял, а от краю – ух, вниз... река шумит. Атец астановил лошадей, братья астановил лошадей. Атец заплакал, бросил лошадей, пашел домой без шапка – очень любил девка.

Он грустно, замолчал. Потом, покоряясь, добавил:

– Зимой поедет школа Баталпашинск. Пропал девка... Девка хароший был: на лошади скакал, скот убирал, волков гонял.

Девушка внимательно глядела на старика. То сводились брови, то смеялись глаза, – по-

нимала, что о ней.

– А теперь атец баится ее брать, – живой не пойдет домой, только мертвой.

– Пусть она споет песню.

Старик сказал ей. Она засмеялась, быстро спрятала лицо в ладони. Глянула на нас, опять засмеялась, потом стала серьезной, отвернулась и стала смотреть на зеленое море трав, на белеющие островами пятна снега, на ледниковые громады, от которых тянуло холодом. Потом поднялась, не взглянув на нас, ушла в кош и стала с чем-то возиться у дымившего из дверей костра. Опять пришла, села. Полуотвернулась, отгородилась ладонью, лукаво блеснула глазами сквозь растопыренные пальцы; потом лицо стало строгое, и она запела.

И грудной голос, глубокий и сильный, и непонятные, чуть гортанные слова были сродни зеленому морю трав, белеющим пятнам снега и ледниковым громадам, которые дышали тысячелетним холодом. Из коша с черно-бархатными от осевшей копоты стенами дым сине выливается в двери. И голос раз-

носится далеко... Козы цепляются по скалам...

...Когда мы садились на лошадей, девушка показалась из дымных дверей, подошла и, отвернувшись и прикрывая слегка лицо ладонью, протянула нам три горячие еще, только что испеченные в костре яйца. В горах это дорого стоит, – лакомство; куры-то у снегов не водятся.

Мы предложили денег. Над черными глазами сползли брови, и, раздув ноздри, она ушла в дым коша, не взглянув.

Верст двадцать наши кони сторожко постукивали подковами по петлистым тропинкам, по горным дорогам вдоль извилистых ущелий. А когда выехали к шумящей Кубани, ахнули: среди дубняка торопливо мелькало красное платье. Комсомолка быстро спускалась, ловко перепрыгивая по скалам...

– Как это вы успели?..

Она засмеялась. Сильная грудь быстро подымалась. Рядом с ней стоял юноша. Он сказал по-русски:

– Прямиком, а вы в объезд.

Потом, весело глядя на нас, добавил:

– Я тоже комсомол.



– Что же ваши старики?

– Не любят... У нас попы есть, муллы, не велят, а мы смеемся...

Он засмеялся.

Девушка протянула руку:

– Город строят нам...

Я глянул вниз. В раздавшемся ущелье, около бешено несущейся Кубани, среди скал, лесов – дикие места на многие сотни верст и... город строится. Город строится на голом месте: поднимаются желтеющими срубамии, пока еще без крыш, больница, народный дом, дом исполкома, народный суд, – словом, будущий город. А кругом – пустыня гор, леса, венчанные снегами вершины и девушка в красном.

## Маевка\*

Было это пятьдесят лет назад.

Они не видели солнца, высокого весеннего солнца, не видели серебряно-трепещущей листвы тополей, не видели кружевную зелень акаций, такую нежную, что, помимо воли, вызывала ласковую улыбку, – ее еще не успел покрыть угольный траур.

В три часа, поднимаясь с нар, придавленные невыносимо-тяжким, промозглым воздухом, поднимались изломанно, тяжело, харкали, плевали куда попало; глотали издавна обожженным водкой горлом помутнелую, отвратительную тепловатую воду и шли в темноте, шли разбитой походкой замученных людей. Шли целый час – до рудника было около четырех километров. В начавшей редеть предутренней темноте их спускали в бадье. На площадке, мерцавшей во мраке дымными факелами, – шахта антрацитовая, безгазовая – курили, ели, хрустя угольной пылью, захваченный с собою хлеб. Потом целый час в крошечной темноте – берегли керосин, который ставился им в счет, – шагали молча в подзем-

ном молчании в штреках.

Потом сменили такую же молчаливую смену, уходящую без огней во мраке и молчании штрека. Потом, лежа на голом боку, подрубали уголь, по-звериному, на четвереньках тащили в салазках к штреку, валили на вагончики, увозили.

А через четырнадцать часов, разбитые, не похожие на людей, в непроницаемом молчании мрака шли к подъему. Их поднимали на гора.

И они шли в зачавшейся ночи в поселок. А в поселке – в трактир, а из трактира, валясь из стороны в сторону, добирались до казармы и заваливались на нарах, тяжело придавленных промозглым воздухом.

А в три часа опять то же. Так колесом – дни, месяцы, годы, десятки лет...

Нет, они не видели солнца, не видели серебристо-трепещущих тополей; они не видели своей собственной жизни, потому что это была страшная жизнь.

И не надо думать, что это относится к каторжной работе, к каторжной жизни только шахтеров: жизнь всего пролетариата, как

класса, в царско-буржуазное время в России была страшная, каторжная жизнь.

Ведь только подумать: были производства, на которых рабочие работали по восемнадцать часов в сутки (рогожники). Восемнадцать часов! А на сон, на еду, на отдых, на семью, на то, чтобы взглянуть на солнце – шесть часов. В результате – население Петербурга, состоявшее в подавляющем большинстве из рабочих масс, ежегодно уменьшалось. Население таяло. Число смертей превышало число рождений. Петербург вымер бы, если бы не постоянный приток в рабочую массу крестьян из деревень.

Но самое страшное было не это. Самое страшное – была тьма, в которой царско-буржуазный строй держал рабочих. Вокруг буржуазии стеной стояли: поп с орудием убийства и угнетения – крестом, жандармы, полиция, прокуроры, судьи, издательства, газеты, церковные капища. И пестрел частокол виселиц, темнели тюрьмы, застенки, и в морозной синеве бесконечно молчаливо простиралась Сибирь, засеянная белеющими костями умученных пролетариев. И, как осенняя ночь,

простиралась, казалось, омертвелая тьма в непробудном сознании рабочих. Ведь пошли же рабочие, лучшие рабочие – рабочие Петербурга – пошли же к царю с хоругвями, с иконами, с попом-предателем просить облегчения своей жизни. И вот это затемнение сознания пролетариата, при колоссальной, дремлющей внутри его силе – вот это было самое страшное. И в эту густую, непроглядную тьму тоненьким-тоненьким лучом скользнула первая маевка.

Саночник приволок салазки и подсел к забойщику. Тот, голый до пояса, с отсвечивающим потным черным телом, отложил кайло и устало привалился к куче мелкого угля.

Низко нависла черная гладкая крыша породы, давямая сверху, и дубовые столбики в полметра поддерживали страшную тяжесть пустой породы. Молча стали закручивать собачьи ножки.

– Слышь, Степка, – сказал саночник, – пойдем в воскресенье на маевку.

Тот сплюнул, несколько раз затынулся.  
– Сколько с рыла?

Саночник замялся.

– Кто ж его знает... Там видать будет.

Забойщик взял кайло, лег голым боком во въедающийся мелкий уголь и проговорил:

– Ну и нажрись!..

И, судорожно дергая босыми ногами, стал подрубать пласты блестевшего в изломе, как случайные бриллианты, угля.

В воскресенье саночник и Степка, с плохо умытыми лицами, в новых, стоявших горбом ситцевых рубахах, шли степью. Поднялось солнце. Щелкали жаворонки. Их не замечали, не видели приятели.

Вот и Волчий Лог. По бокам лесок. Пришли. Человек двадцать собралось. Степка крутил носом: не начали ли пить?

Только ни бутылок, ни кульков. Ребят-то они почитай всех своих знали: шахтеры, с металлургического завода ребята, железнодорожники.

Парень в сатиновой рубахе влез на пенек и сказал:

– Товарищи...

Степка разинул рот и глядел не мигая: началось совершенно непонятное. Из всего он

понял одно. У французов, у немцев, у англичан – то же самое, еще хуже. Так же рабочий народ нудится и корчится. Долго говорил парень в сатиновой рубахе. Степка не знает, кончил он или еще надо было говорить, только закричали: «Кзаки!..»

А они тут как тут. Все прыснули врассыпную. Степка бежал по дну лога, и казак, перегнувшись с седла, два раза вытянул его нагайкой по спине.

...Долго Степка рассказывал об этом происшествии.

– Видел, просек в двух местах рубаху новую? – говорил он, тыкая себе пальцем в спину, в рубаху, которую теперь никогда не снимал, и, загораясь, говорил:

– Слышь, хлопцы, а у англичанки, немцев, французов также рабочий люд мучится, хуже чем у нас.

Просеченная рубаха и такая же нудьга у рабочих других стран больше всего поразили Степку. И, как масляное пятно, от Степки поползло в шахты что-то новое и страшно захватывающее.

На шахте, на заводе родились маленькие

кружки, в которых работали пришлые люди, называвшие себя социал-демократами. И в следующей маевке эти кружки, хоть и тайно, но организованно собирались по оврагам, в степи. И уже никто не шел туда за выпивкой. Шахта была революционно сознательна и организованна, и эта сознательность и организованность медленно и неукротимо расползались по всему Донбассу.

Давно истлела иссеченная Степанова рубашка на плечах, да и из шахты его выгнали — смущал народ, и прислушивались к нему шахтеры.

Стал кочевать Степан по заводам. И то, что росло по всей России, росло по заводам и фабрикам, росло и в нем. Уже тесно было в тайных кружках, тесно было справлять маевки по оврагам и лесам. Началась полоса широких многотысячных забастовок и демонстраций.



# По донским степям\*

## Когда-то

Давно это было, давно...

Над разомлелой степью – дымно-раскаленное солнце.

Ветер, упорный и иссушающий, жгуче несется навстречу вместе с несущейся облачной мутью. Хрустящая пыль набивается в нос, в рот, в глаза. Губы потрескались.

Я, нагнув голову, мучительно вцепившись в руль, в отчаянии наваливаюсь на педали, и степь, знойно растрескавшаяся от века, все та же, молчаливая, необъятная, непокоренная, медленно-медленно отходит назад, и несутся облака пыли, и нет этому конца.

Я еду из Усть-Медведицы в Новочеркасск.

Нет, должно быть, не доеду – сердце лопнет, и в глазах мотаются раскаленные искры.

На краю дороги – заносимый пылью человек. Бессильно откинута рука. Возле – палка, холщовая сумка. Холщовые штаны, рубаха, босые, полопавшиеся ноги. Я соскакиваю с велосипеда.

Стою над ним: «Выпил, что ли?» Наклоня-

юсь потянуть носом – небось как из винной бочки? Ох, да как же несет жаром! И губы почернелые.

– Земляк, а, земляк!

Тяжело, тяжело приподнялось желтое веко, и мутно глянула узкая полоска горячечного глаза и опять медленно закрылась.

Что с ним будешь делать?! Если бы хоть держаться мог. Тогда посадил бы в седло и повел бы велосипед в руках. А он – как мешок.

Оттащил его к телеграфному столбу, привязал к столбу сумку – хоть небольшая тень ляжет на воспаленную голову: если будут ехать, заметят, – может быть, возьмут на подводу.

И опять наваливаюсь грудью на руль, и опять надрывается сердце, – нет, сдохну!.. И засинело вдали, сквозь облака пыли засинело.

Вербы, речушка, по балке сады. Хутор Большой.

И я сижу в полутемной прохладе куреня, закрытые ставни не пускают в горницу пыль, зной, мух. Золотятся щели. Чисто. По стенам лубочные генералы и цари. Да на выцветших

фотографиях – с выпученными глазами, каменно застывшие в тогдашней идиотской военщине казаки при шашках. В углу – иконостас.

Я прилег на скамью и каменно провалился в черный сон. А когда приподнялся – на столе пырскаяет облаками самовар. Бело круглеют из-под наложенного на тарелке полотенца вареные яйца. Арбуз. Груши из своего сада. Мед из своих ульев. А уж пироги вишневые, пшеничной муки – душистые, пухлые!.. Дом – полная чаша.

Бородач, раздался в плечах, – сорока пяти ему и не дашь, – в ситцевой рубахе. На суконных штанах краснеют лампасы. Пьет со мной чай, отирая полотенцем пот.

Хозяйка – ей, должно быть, столько же – в сторонке на скамье; смотрит, как мы пьем. Спокойная, осанистая, когда-то очень красивая. Слушает, наливает нам.

– Ехал я, человека встретил. Лежит. Так и помереть может.

Хозяйка сказала спокойно:

– Либо ж то Микешка наш. Как из себе?.

– Да лет двадцати семи, восьми.

– Ну, он и есть. Утресь на ране пошел. Животом, вишь, жалился сколько. Бабку к нему приводили. Сказывала, надорвался – грызь.

– Да он кто? Сын ваш?

– Не-е!.. – замахала руками. – Работник, ба-трачил у нас. Второй год наймается до нас. Хороший работник, худого не скажешь. До по-крова, вишь, срок, да заболел. Ну, взял расчет, пошел в Усть-Медведицу в больницу, да не дошел. Хороший работник.

– Вот что, станишник, запрягите лошадь, отвезите его.

Хозяин подумал..

– Далече?

– Да верст пять отсюда.

Он прихлебнул из блюдца, поставленного на три пальца.

– Лошадь-то есть, да послать не с кем: сы-новья в степе.

– Ведь умрет при дороге...

– Ну-ну, – подхватила хозяйка, – такие не помирают. Они, эти расейские, – тянучие. Как собаки, жиловатые.

– Ничего, – примирительно сказал хозя-ин, – отлежится, дойдет. Не впервой.

Я пошел к хуторскому атаману.

– Вы из чьих будете? Из юнкерей?

Я рассказал о человеке при дороге. Он выдохнул:

– Хху-у, ды это хамьё, ды коней гонять?! Ды не знаете, что за народ: в огород залезут, всю морковь повыдергают, в саду все яблоки отрясут. С быками пошлешь, быки не поенные, не кормленные, а она, скотинка-то, пить-исть тоже хочет. Хам – известно, стало быть, хам.

Казак не взял денег за самовар и еду, – обиделся.

И опять я лежу грудью на руле, и глаза вылезли, и рубаха – хоть выжми, и встречный ветер, сухой и горячий, в удушливо несущихся облаках изо всех сил тянет назад. Чудится, это нерушимо: и бескрайная, могучая, таящая дремотный сон степь, и курень с иконостасом, с бурлящим самоваром, и хозяин, которому износу нет, и... и далеко назад, уже не видно, лежит батрак, и сумочка подвешена.

## **Старики**

А теперь, в тысяча девятьсот тридцать первом году, я опять в родных местах, где белые горы опрокинулись в зеркальном Дону, где

дубовые леса за Доном, в зеленую оправу осколки вправлены отблескивающие осколки озер, а за лесами, на десятки, на сотни километров желтеет пустыня, форменная пустыня летучих песков, которая медленно, но неуклонно наползает, пожирает пашни, сады, огороды, леса, озера, степь, – словом, где я провел отрочество, юность, где учился, где отбывал полицейский надзор после ссылки, – станица Усть-Медведицкая.

Теперь нас трое – бригада: я, студентка и аспирант НАТИ, инженер-инструктор. Работа неизмеримо облегчается коллективностью – один не собрал бы материала, не сделал бы и десятой доли. Приезжаем ли на гумно на молотьбу, или на тракторную пахоту, или на ссыпку, или на возку, куда бы ни попали на производство, – всюду материал наблюдений распадается на трех и потому, захватывается несравнимо шире, целесообразней, чем если бы был один. А вечером садимся, сводим материал, увязываем, даем освещение.

Был я тут в прошлом году. Привозят сложную молотилку, двигатель. Поставили на гумно. Народу собралось со всего хутора: таких

молотилок тут еще не видали. Колхозники, молодежь суетились взволнованно и напряженно.

Бабы лускали семечки. Старики злорадно стояли в стороне:

– Не пойдет!

Двигатель, резко треща, погнал ремень. Зашаталась, застучала молотилка, закружилась пыль. Взволнованная молодежь заваливала в ее пасть тяжелые пласты хлеба. Старики внимательно следили. Бабы перестали лущить семечки. И вдруг – стоп! все остановилось. Степная тишина. Старики заухмылялись, показывая гнилые зубы:

– Не пой-де-от!..

Затарактело. Старики нахмурились. Молодежь радостно расцвела. Опять остановилась. Так много раз. Потом пошла, и пошла, и пошла.

Около двигателя, около молотилки шел напряженно-радостный труд. Старики долго и молча стояли. Двигатель ревел. Из трясущегося корца шатающейся молотилки лилась пшеница.

Старики надвинули картузы на глаза и

молча и хмуро пошли к хутору. «Шапку на брови надвинул и навек затих». Ни в колхоз, ни на работу ни одного нельзя было вытащить. А в нынешний приезд я не нашел в хуторе ни одного старика: все на работе – подавляющее большинство сторожами. Теперь втягиваются в работу производственных совещаний, в руководящую работу. Спорят, где, когда и что посеять.

На Фомихинской МТС получено телеграфное сообщение, что на станцию идет партия тракторов. Как всполошились, как засуетились! Со всех хуторов бегают на станцию поминутно: «Ну что, скоро трактора?! Когда придут?!» – «Должны прийти через пять дней».

Проходит и десять дней, и двадцать, и месяц, – разочарование. По всем хуторам пошло: «Да их, видать, и совсем не будет, так лишь посулили».

А тракторы пришли. Никто не знал. Пришли ночью. И вот среди густой темноты в степи мечутся дымные факелы, и, сурово грохоча, один за другим тяжело подвигаются тракторы. Торжественно, как изваянные, сидят



трактористы, протянув руки к рулю.

«Пожа-ар! пожа-ар!» – закричали по хутору.

Все выскакивают, кто с чем: с ведрами, с кувшинами, и с изумлением расслышали в мигающей черноте чугунно-мерный говор. Тогда пронеслось: «Трактора, трактора пришли!..» – высыпали из куреней кто в чем был.

Колонна остановилась, и в багрово мигающей тьме митинг. Потом опять загредело, весь хутор повалил. Потом стали выпускать по хуторам – и в Средне-Царицынском, и Верхне, и Нижне, и в Фомихинском, и в других, – и везде население поголовно валило за колонной. Смех, говор, песни. И металась ночь багрово, не понимая: не было в степи такого никогда. Рассвет застал громадную толпу, заливавшую трактора со всех сторон.

## **Машина**

И опять степь, как тогда, много десятков лет назад. Но какая же она маленькая, эта когда-то степная громада! Новыми громадными-громадными четырехугольниками, покрывая ее, чернеет колхозная пахота. И эта сплошная паханая чернота осмысливает, уби-

вает стихийность, дремотную неподвижность степи.

Вот уже засинели левады по Цуцкану – степная речонка в отлогом и глубоком логу, которая то пересыхает, то бешено несется в осень и весну глинистыми потоками, смывая дворы, вербы, огороды. Это – хутор Большой. И в нем – колхоз.

Центр жизни, нерв колхоза – на молотьебе. Со всех сторон обступила громада скирдов. Гудят и страшно несут пылью две молотилки, – одна сложная. Струей бежит в мешки пшеница. Торопливо относят мешки девчата. Другие гонят быков, и плывет по земле гора желтого хлеба, и всё в таком же напряжении мечут хлопцы четырехлапыми поблескивающими вилами на верх молотилки. Ни на минуту нельзя приостановиться – гудит молотилка; страшным шепотом бормочет несущийся ремень, и без усталости рокочит и обдаёт гарью среди сухой, как порох, соломы два нефтяных двигателя. Ни на минуту нельзя приостановиться. Машины не ждут. Вот отчего так стремительно бежит по лицам черный, грязный пот, намывая в брови, в глаза, в уши черную,

въедающуюся в кожу пыль. Вот отчего одежда вся пропитана черной гарью.

И здесь, и в других районах в подавляющем большинстве колхозники рвутся к работе. Машина облегчает труд, повелительно диктует им темп, напряжение, создает свою организацию труда.

Не надо думать, что это освоение машины протекает без сучка, без задоринки. Разве не бывает, что умышленно вносят порчу в двигатель? Двигатель остановился, и молотилка остановилась, публика и разгуливает. Или сунут железяку в молотилку – поломка, – тридцать шесть человек и разлягутся на соломе, ждут. В одном колхозе «Баски» начисто сожгли сложную молотилку, не то по головотяпству рот разинули, не то это дело кулака.

Вот едет на тракторе малый, отваливает сзади лемехами чернозем... Рассвет...

– Ай, ай, ай!.. Стой!.. Стой!..

Проснулся, – глядь: а он в пруд въехал: задремал. Другой с трактором, с плугами в овраг грохнулся, – заснул на тракторе.

Да мало ли! Но надо помнить, что если взять всю массу работы, то эти случаи состав-

ляют лишь долю процента. И работающие массы колхозников очень настороженно относятся к остановкам.

– Ну, что стал?.. Пошел, пошел! – кричат, если двигатель замолчал.

Оно и понятно: ведь по трудодням это бьет, по доходу каждого.

## **Чертова пляска**

Подошла девушка, полная, круглощекая, в синем платье, стриженная, и носик сердито вздернутый, и набросилась на председателя:

– Что же это!.. Не хочу, не буду... Все одно уйду отсюда!..

Председатель:

– Постой... да ты постой...

– Не буду работать!.. Это чего же – училась, училась, да не по своей работе... Не буду, уйду... Поставь меня опять к машине.

Тот твердо:

– Не поставлю... Должна подчиняться... Сама знаешь, что вышло...

Мы поехали на гумно, а сзади всё вдогонку:

– Не буду... Все одно не буду на этой работе. А председатель рассказал. Колхозница. По-

слали ее на курсы. Побыла два месяца, кончила, – приехала. Поставили к двигателю. Хорошо справлялась, только двигатель нефтяной, одурел и пошел плясать – это с ним бывает: прыгает всеми четырьмя колесами, рвется весь в синем дыму. Молотилка обезумела, бешено работает. Рабочие называют это «чертовой пляской». Они знают, что двигатель начинает «чертову пляску» перед взрывом. А сила взрыва такова, что все сметает перед собой, капитальные стены проламывает. Колхозники все, всей бригадой, кинулись бежать, поскатились с молотилки, бросили арбы, подвозивших быков и попрятались за скирды. И машинистка, вот эта, убежала. С секунды на секунду ждали взрыва. Только вырвалась из бригады тоже девчонка лет шестнадцати, сподручная машинистки, кинулась к дьявольски пляшущему двигателю. Остановила. Двигатель, дрожа и судорожно сотрясаясь, постепенно успокоился. Машинистку сняли с двигателя и поставили к молотилке. А она бунтует.

– А вообще женщины выдвигаются?

– Как же, есть целые женские бригады.

И добавил, лукаво улыбаясь:

– А бригадир-то – мужчина, руководят-то мужики!

В Большинском колхозе мы видели женщину-плугатаря, отлично работала.

## **Данилка**

– Данилушка, ты бы пошел на хутор, передохнул бы.

Он улыбается. Солнце плавится над громадой степи, в которой неохватимо раскинулась без конца чернеющая пахота.

Данилушка улыбается. Безусый, безбородый, а высокий, как узкая доска, только грудь запалая, сзади лопатки выпирают черно-пропотелую рубаху. Да согнулся, будто не выдерживает своей высоты. Ребячье доброе лицо.

Все с той же улыбкой подошел к трактору, осмотрел, а когда сел, и тот, дымя, заговорил чугунным рокотом – пропала улыбка, – сосредоточенный, сумрачный. Сзади выворачивались широкой полосой свежечерные пласты.

Все смотрели на него. И когда он маячил уже далеко на краю, предколхоза сказал:

– От машины не оторвешь. Уж ругаем. За шиворот прямо оттягиваем, пихнешь в соло-

му, ну, соснет. И опять вскочит, и опять на трактор, да не в очередь.

Нет, ни малейшего машинного романтизма тут нет. Дело просто. Бедняк. Полуразвалившийся куренишко. Скучно дома, голодно. Мать злая от голода, – больше нет никого. Ни лошади, ни коровы. Пять кур с петухом да гусак с двумя гусынями. Над таким хозяйством не поработаешь. Приходится слоняться. И вот колхоз. Он – подручный при трактористе. Страшно ново. Любопытно. А главное, кормят аккуратно. Как солнце разгорится, вон над старым курганом, сейчас сзывают. Еда уж не весь что, а все-таки и борща дадут и каши, а когда и молочка. И уж совсем редко – мяса. И газеты иной раз сюда приносят, – сядешь на меже да почитаешь. Да разве уйдешь отсюда? Разве оторвешься к гусаку да к петуху с пятью курами? Нет, конец! То-то, что не конец. Процесс поворачивает по замкнутой кривой, Теперь, если бы тут при машине голод и холод, а в куреньке тепло и сытость, Данилка уже не уйдет от машины, от трактора. Кончено! Он тракторист. Он хозяин машины. На него смотрят. К нему обращаются, когда заартачится

мотор. Оттого его за шиворот тянут отдыхать в солому.

И таких «Данилок» – десятки, сотни, тысячи... да, да, тысячи! И они все растут и разрастаются в десятки тысяч, в сотни тысяч. И это процесс чудовищной силы, чудовищной интенсивности и быстроты.

Конечно, каждый «Данилка» – на свой лад и фасон, со своими оттенками, со своей судьбой, своего размера. Из глубины колхоза вырастают они.

И еще «Данилка». Этот «Данилка» совсем другой: невысокий, статный, грудь просит вдохнуть с ведро воздуха. Молодой казак. Такие прежде отчаянно дрались на кулачках. Бешено джигитовали на донских конях. Ловко рубили на скаку, перегнувшись в седле, толстые пучки туго стянутого хвороста. Неистово пьянствовали да пороли плетью рабочих и студентов на службе по приказу начальства.

А теперь гремит и злобно трясется молотилка, бешено рвется соломенная пыль. Задыхаясь, едва поспевая, подают ему тяжелые пласты хлеба, а он, как богатырь, стоит наверх-



ху (девчата из-за почернелых от пыли и пота платков, нестерпимо душно стягивающих лицо, рот, нос по самые глаза, чтобы не загореть, все зиркают на него – первый певун на хуторе), стоит и богатырски хватает тяжелые пласты и без передыху кидает их в бешено трясущийся жадный зев молотилки.

– Го-го-го!..

Его слышно далеко сквозь гул:

– Вал-ляй, ребята!.. Го-го-го!.. Пода-а-вай!..

Наддай!..

Задыхаются от бешеной работы. Уже и молотилка обожралась – из раскрытого зева торчат пласты хлеба, не успевают заглатывать.

Тогда он кинулся:

– Го-го-го... Поддавай!..

...и стал кулаками забивать бешеной обжоре хлеб в самое брюхо.

И вдруг – страшная тишина в непрекращающемся грохоте: он неподвижно стоял во весь рост над трясущимся, дожевывавшим ртом гремящей молотилки, и лицо все белее, белее...

Все отшатнулись: он махнул страшно короткой и страшно красной рукой. Тогда посы-

пал на них отборные матерные ругательства:

– Перевязывайте руку... так вас...

Да чем же перевязывать: ни бинтов, ничего. И рубахи-то одни лоскутья.

И опять посыпал:

– Рвите мешки!

Распоролли ножом мешки с зерном, затанули. Колхозные кони бешено несли бричку. А в бричке подбрасывало на соломе человека с белым лицом и с короткой, туго перетянутой рукой. Он, держась за грядку здоровой рукой, степным голосом, слышным за далеким краем пахоты, пел степные песни.

Фомихинская машинно-тракторная станция послала вдогонку автомобиль, чтобы быстрее доставить в усть-медведицкую больницу. Автомобиль неся в бешено крутящихся облаках. Не догнал: перед шатающимися в мыле и пене запыленными лошадьми засинели усть-медведицкие горы.

Перед готовящейся операцией он пел, и после операции он пел степные песни, далеко слышные за больницей по улице. И никак не могли его унять, – ругался.

Колхозники, столпившись, похоронили из-

жеванную руку в степи за скирдами. Да приехала родня, вырыла ее, привезла на хутор, повила над ней в курене и похоронила.

Трудно, мучительно, с возвратами, с отрыжками создается новая общественность, другие навыки, новые бытовые условия, старое рассасывается, как старики рассосались в новом труде.

Помимо воздействия всей сложности новой обстановки, с неодолимой силой ломает старое машина. И они, эти колхозники, напряженно работают около ревучего двигателя, около нервно трясущейся молотилки, на тракторе.

Эх, молотилка замолчала! Ремень неподвижно обвис. Все беспокойно завертели головами, – простой!..

Мы спрашиваем:

– Товарищ, сколько вам записано трудодней?

– А кто ж его знает? Мы не знаем.

– Как же не знаете? Ведь работаете же?

– Работаем.

– Трудодни записываются?

– Знамо, записываются.

– Ну, так как же вы не интересуетесь?

Нас обступили. И кто-то сказал:

– Беседа будет?

– Какая беседа, зараз машину пустят.

А один, вытянув шею, сказал:

– Ды как ее узнаешь? Пойдешь к счетоводу, а он: «Ежели я вам всем справки буду давать, так мне работать некогда будет».

На нас смотрели во все глаза. И один добавил:

– А то и прямо к черту пошлет.

Масса колхозников пока еще не умеет давить на свою администрацию, не умеет заставлять напряженно, быстро и точно давать каждому отчет о совершенной им работе. Тут широкое поле для массовой работы. Просто эта сторона выпадала из поля зрения районных работников. Все усилия направлялись на создание кадра более или менее умелых учетчиков – это хорошо, это великолепно. А о том, чтобы развивать в массе колхозников сознание своих прав вообще и своего права знать результаты собственной работы – об этом забывалось, и в этом ошибка. И это общее для

подавляющего большинства и других районов.

Машина и тут делает свое дело. В пыли несущейся, половы, в трясущемся грохоте молотилки мы спрашиваем черного от гари, замасленного товарища у ревущего двигателя:

– Вы знаете, сколько у вас выработанных трудодней?

Он слегка улыбается:

– А как же! У меня сто пятьдесят...

И он подробно объяснил, когда и откуда они набрались.

– А откуда же вы знаете?

– Как откуда! Придешь к учетчику: ну, Иван Иваныч, прикинь, сколько мне. Ну, он и прикинет.

– А если заартачится?

– Как может заартачиться? Ежели заартачится – прижмем.

И эти ответы почти везде у машины.

.....

Район делает огромные усилия по созданию и расширению кадров. Уже пропущено через курсы разной длительности около се-

мисот колхозников. А на 1931/32 г. будет выпущено две тысячи пятьсот специалистов-колхозников и со стажем учебным по несколько месяцев. Это уже поможет колхозам.

## **Домоседки**

Шесть основных бригад (около сорока человек в бригаде) да одиннадцать мелких бьются в зной, в пыль, в иссушающий ветер, в холодный дождь, бьются в напряженной работе, – и степь сразу осела, съежилась, а посев в четыре тысячи га огромно зачернел. На шестьдесят процентов напряжились повысить посев сравнительно с прошлогодним в Большинском колхозе.

Не успевают молотилки пожирать весь хлеб. Организовали молотьбу катками. А рук не хватает.

Домоседки дома сидят, возятся с ребятишками, с коровой, курами, – и ничего с ними не поделаешь: не выколупаешь из домашней скорлупы, да и все.

Четыреста дворов на хуторе. Триста семьдесят два колхозных двора. Не хватает рук, ах, не хватает... Как ни улещали домоседок, – не

идут.

– Ды куды же мы за семь верст на молотьбу будем ходить! А ребятишки как?

Тогда им поставили гумно у самого хутора. Дали быков, лошадей, и они заработали катками. Нужно глянуть на ребятишек, тут же и сбегают.

Ясли. Чисто. Одинаковые железные кровати, белые тканевые покрывала странно выделяются в хуторской обстановке. И ребятишки тянутся ручонками к заведующей, зовут ее мамой, она из хуторских же, любовно, как насадка, собирает птенцов. А несут матери неохотно: у ребятишек поносы, еда плохая, лекарств нет, нет врачей, нет игрушек, а те, кто бы мог их понаделать, отмахиваются: «Некогда нам: вон инвентарь не успеваем починять». А тут уже в третьем помещении – гоняют из дома в дом. Только обживутся, устроятся с ребятишками, глядь: «выселяйтесь».

Вот почему так трудно выколупывать из скорлупы домоседок, – вечно опаздывают, вечно прогулы.

Мотает в несущейся по ветру соломе головой потная лошадь, прыгает за ней тяжелый

ребристый каменный каток по хлебу. Торопливо погоняют белые платочки. Другие сгребают мякину, зерно, отвозят и подвозят все новые горы немолоченого хлеба.

И, странно поражая глаз, синея, бегают в дыму несущейся пыли васильки. Все в одинаковых синих платьницах, весело таскают солому обнаженными золотистыми от загара ручонками за своей руководительницей. Она торопливо сгребает солому граблями. Жизнерадостное лицо, живые, смеющиеся глаза и ловкие трудовые руки. Своя же колхозница. На курсах две недели была. Да что две недели! Так бы хотелось поучиться! Экскурсия детского сада.

## **Десятичные дроби**

Фомихинский колхоз. Молодой, с почти юношеским лицом председатель (кончил комвуз, деловой, чрезвычайно простые товарищеские отношения с колхозниками) после объезда гумен (молотьба) говорит:

– Да как вам сказать! Ну, разумеется, со специалистами туго у нас. Вот, говорите вы, подсчет трудодней в колхозах никуда. А вот наши учетчики... Надо же десятичные дроби



знать, а они про них не слыхали, что на свете существует такое. Надо ему, примерно, так: скажем, трудодень оценен в восемь арб, которые нужно погрузить в день. Скажем, колхозник погрузил тридцать три арбы. Сколько у него трудодней? Надо 33 разделить на 8. Учетчик кинется, а оно не делится. Так он просто откинет, единицу, а 32 делится, он так и записывает с потерей для колхозника. В других случаях прибавит единицу или две, чтобы делилось, тогда колхоз в убытке. Но надо сказать, есть такие мастера: сам полуграмотный, еле пишет, а какую-то свою арифметику изобрел и высчитывает совершенно правильно, а как высчитывает, и не поймешь. Да и другие специалисты – свои же колхозники. Что же они, побыли на курсах две недели, малограмотные, а дело ведут. Конечно, прорехи, ошибки, но все-таки пашем, сеем, молотим. Вон полевод наш, – работает, и неплохо. А в работе руку еще больше набивает. А и то сказать, ведь с малолетства – хлеборобы, крестьяне же сами. А тут приедет агроном, у него жадно берут знания. Ведь все молодежь, она гибкая, – стариков нет, даже средний воз-

раст – как исключение. Вот так сам колхоз из себя и родит кадры. Ну, трудно, слов нет. Особенно трудно с техническим персоналом к машинам. Что он за две недели на курсах приобретет для трактора, или для двигателя, или для молотилки? Простой из-за этого, поломки, худой ремонт, всякие задержки.

## **Профессор с собачьими ногами**

Степь желтеет щетиной.

– Ну, поедемте на наш птичник.

– Это что?

– Да задание нашему колхозу – куроводство. Потому самое место курей водить. Сейчас у нас тысяча пятьсот курей и цыплят. А должны иметь десять тысяч. А как добьем до пятнадцати тысяч, у нас устроят птичью станцию.

– Да-а, штука немалая! А где же птичник?

Я лазаю глазами по степи. Глядь, паршивый сараишко. Скособочился весь. А по степи разбросаны крохотные – полой накроешь, и не выше колена – камышовые навесики. По желто-колкому жнивью ходят и поклевывают облезлые куры, и за тремя квохчущими насадками – тремя – огромными, в несколько

сот, толпами бегают голопузые цыплята.

Что за чудеса! Никогда не видал, чтобы на-седка по стольку цыплят выводила.

– Дед, да как же это?

– Хху-у, две гусыни высиживали, квочек-то у нас не хватает.

Ну, и де-ед! Ежели сложить меня и мою бригаду, так только полдеда выйдет. В плечах – во, грудь – жернов. Сивая щетина непролазно облегла громадное лицо. Кудлатая сивая голова. Профессор, да и только!..

– Как это гусыни?!

– Ху-у, ды как! Думаешь, из чего все взялось? Курей-то у колхоза нету, надо набирать. Вот по дворам и стали ходить – иде купим, иде у кулака али у кратника сгребем. Таким манером и гусынь набрали. Таким же манером и яиц, чисто напобирались. Ей-ей. Да чево там, смотреть не на что, и сотни птицы не набрали. А квочки-то – только три, вот тут и рассядсья на двести яиц каждая, хоть раздерись. Ну, мы гусынь на куриные яйца посадили – зад-то у нее широкий, сколько яиц покроет. Ды два раза за лето.

Мы было пошли навесики посмотреть, да

дед загремел:

– Да это што же такое! Эва простор какой, а они разбегутся по всея степе, – видал, сколь их округ каждой квочки. За кузнецами все гоняются, зерно-то клевать не умеют, не у кого учиться: одна квочка двести цыплят не научит, иде ей, – а тут, гля, коршун. Ну, тут бегешь что есть духу: га! га! га! – аж горло все порвешь, а цыплята все под навесики, там коршун не возьмет. Ну, отгонишь.

И вдруг загрохотал старина:

– Да что, у меня собачьи ноги, што ль! Ды бегаешь, ды гудешь на коршуней ды на ястребов, а рубаха вона вся истлела, другой год с плеч не спущаю. А портки хорошо сзаду разлезлись, а кабы спереду! Ды это беги в буерак ды хоронись от баб, покеда ночь не накроет, – срамота.

– Отчего у. вас цыплята и куры облезлые?

– Ды голопузые все. Зори-то холодные, цыплята все к наседке, лезут под нее, друг дружку топчут, – гам такой, колдоворот. Ведь сотни под одну лезут. Ну, придешь, дохлые валяются, – позадавят друг дружку.

Он поднял цыпленка – головка у него бес-

сильно свесилась.

.....

Закурилась пыль. Подкатил блестящий автомобиль.

Вышел старый Колдун с далеко загнутым желтым клыком, с злой бородой. За ним вывалилась толстая Ведьма. Выскочил Поганка с обломанным хвостиком, с облезлыми рожками, поводя торопливо подвижными брехливыми ноздрями. Воззрились на профессора с собачьими ногами. А он, как на грех, повернись к ним спиной, – потянулся задохлым цыпленком, и огромный зад вывалился в громадную прореху.

Колдун, Ведьма и Поганка ухватились за животы и покатались.

– Ха-ха-ха!.. Азиатский социализм!..

Колдун, прожевывая завязшую бороду, истошно завизжал:

– Разве мы не говорили: Россия не доросла еще. Только западноевропейские развитые формы беззлобно перейдут в социалистические, и «через двести лет небо будет в алмазах». Обращаюсь не к вам, азиатам, а к евро-

пейскому пролетариату, к той его части, которая еще не успела разложиться... гляньте...

Вырвавшаяся клубом пена стала стекать по желтому зубу.

Ведьма добавила:

– На Западе птицеводство – это целая наука: лаборатории, институты, профессура, чистота, колоссальные здания... а тут... с собачьими ногами... зад-то, зад один чего стоит!

Поганка юлил и заглядывал Колдуну в глаза.

Каутский, Дан и Абрамович сели, и автомобиль как провалился, только серая пыль затхло покурилась...

Профессор загрохотал:

.....

– Дохнут, сказываешь, дохнут? А ты, паря, гля...

Мы глянули. Далеко в синеве левадных верб, в конце хутора, надрываясь, худые, как скелеты, лошади везли бревна и сваливали на расчищенном месте.

Председатель сказал:

– Птичник там строим. Лес-то есть – вербы

в левадах режем. А вот с гвоздями плохо – ни гвоздя. Нечем.

– Ну, как же вы? Приостановится постройка?

Он слегка прикусил кончик мизинца зубами, подумал, не торопясь сказал:

– Зачем приостановится? Уж кончаем. Плотники сверлят дырочки и гонят деревянные гвозди, к сроку поставим. А за гвоздями охотимся... – и засмеялся.

По всем хуторам ходят с клещами колхозники и всюду, зорко присматриваясь, как старые зубы, дергают из потолка, из стен, из заборов гвозди.

К сроку поставят. И мало того что поставят, – да будет десять тысяч кур. А через полтора-два года – и все пятнадцать тысяч. И тогда устроят у них птичью станцию, лаборатории, и будет она руководить целым районом. А возможности для птицеводства колоссальные.

«Ничего, старина, ничего. Не смущайся, что зад вываливается».

## **Единоличник**

В Большинском колхозе мы спрашиваем:

– Много у вас единоличников?

– Из четырехсот дворов – двадцать восемь.

– Кулаки? Середняки?

– То-то что беднота. Один, что ли, середняк.

На Горбатовском:

– Сколько у вас единоличников?

– Да с три беды осталось: не то восемнадцать, не то двадцать.

– Богатые?

– Иде там богатые! Голь.

– Чего же они не идут в колхоз?

– Да вот уперлись – ни тпру ни ну. «Подождем, говорят, больше ждали».

То же самое в Ягодном, и на Фомихине, и на Басках, и на Бобровском, и в других колхозах. В чем же дело?

Вот полуразвалившийся куренек. Собака в репьях. Лошадь с обвисшими ушами. Три куры. Баба костлявая. Мужик замученный, в морщинках, а не старый.

До революции – многолетний батрак, кроме порток и рубахи, ничего не было. Пришла советская власть, дала землю, дала возможность уцепиться за хозяйство. Сбился, купил курень, лошаденку. Женился, дети. Пришло



наконец время: зовут его не Митькой, а Митрий Митрич. За всю свою горькую жизнь он в первый раз стал «хо-зя-и-ном».

По улице идет высокая, иссушившаяся в работе женщина. Казаки прозвали ее «Самокрутихой» и никогда не упустят случая поготать над ней:

– Здорово, Самокрутиха. Пойдешь в комму-ну?

– Терпеть не могу.

– Ну, в колхоз?

– Терпеть не могу.

– Чего же ты любишь?

– Совместную обработку.

Казаки ржут на весь хутор. А она идет дальше, не оглядываясь, прямая, исхудалая, иссохшая от нищеты и работы.

Все ломается кругом, рушится старое, обломками валится отдельное, замкнутое крестьянское хозяйство. Громадиной подымается обобществленное хозяйство. И этот единоличник-бедняк видит, что оно могучее, что оно несет неохватимые возможности лучшей жизни, и он вовсе не враг колхоза: ну, ладно, – только ему-то дайте насладиться, вот

сейчас, сию минуту тем, в чем он провел всю жизнь, не имея возможности прикоснуться и видя, как его трудами пользуются другие.

Эти бедняки одиночники – сгусток индивидуализма деревни, тот остаток, который бывает во всяком процессе и который постепенно растворяется, – ведь их было гораздо больше, и они без всякого нажима переходят в колхоз.

## Кулак

– Много у вас кулаков?

– Да ни одного.

– Как, ни одного?

– Да всех сгребли, – сплошная ведь коллективизация.

– Так у вас тишь и гладь и никакой классовой борьбы нет?

– О-го-го!.. Сколько хотите. Кулак теперь в иной плоскости борьбу повел, другие способы выработал: орудует теперь в хозяйственно-производственной области. Вот тут он глухо, почти неприметно точит.

– Да ведь вы же говорите, что всех сгребли?

– Сгребли. А вы что же думаете, кулака вот

на этом месте нету, так все? Эге-ге! Он как дубовый пенёк: его вырубешь, и все, ахватишься, а под землей корни-то во все стороны. Да туда потянулись, где и не думаешь.

Да, кулак не висит голо со своим хозяйством в воздухе. От него тысячи нитей тянутся в массы, нитей и хозяйственных и личных. Кулака убрали, остались родня, друзья, приятели, те, кому сунет, бывало, то пудик муки, то поросенка, то деньжат, не с тем, чтобы эксплуатировать, а чтобы иметь тыл в общественных делах; в сущности, это та же эксплуатация... Вот и подкулачники.

Вот почему и в своем отсутствии кулак сеет слухи, провокации, подзадоривания, насмешки, и все это, как масляное пятно, расплывается в населении.

Хлебозаготовки.

– Ну, вот везите, везите, дураки, – хлеб-то под чистую выкачают, вы и подохнете.

Весенний сев.

– Ды это что же такое! Экую махину засеять... Ды куды ее столько?.. Ды вы и не понюхаете. Куды это все пойдет?!

– Машины вам навезли, бахвалитесь. Ну

да, машина – вещь не плохая, скажем молотилка... Дык ведь она, ежели, скажем, к рукам, ежели хозяину, он образует, и сколько поможет – и соседу и родне даст обмолотить. Вспомните старое время. А теперь вы – рабы при машине. День и ночь, день и ночь гудеть и гудеть, а вы мотааетесь округ ей, как оголтелые. Не вы – хозяин, а она над вами.

– Ишь ты, планы! Это вам очки втирают планами. Без планов жили отцы, деды, – сыты, обуты были. А теперь планы!

Какое бы хозяйственное организационное мероприятие ни проводилось, кулак всячески его опорачивает, стараясь разбудить инстинкты старой жизни. Он получает отпор от колхозников. Но ведь колхозная-то масса не одинакова, она – пластами, и уже где-нибудь да найдется отклик.

Да, и в колхозах есть элементы классовой борьбы. Остатки кулацкого влияния механически не выкорчевываются. Они медленно уничтожаются органической работой, хозяйственной организованностью, машиной, подъемом культурности.

**Пейзаж**

Тихая, ясная река. И прибрежные горы кверху ногами повисли в ней. Синее небо опрокинулось, голубея. И в глубине белеют взбитые ватой облака. И над самой водой нагнулись зелено-кудрявые вербы. От песков поседела река. Никого. Только изредка чернеют на сонной до одури глади рыбачьи «каюки» – душегубки, вертлявые, неверные, таящие в себе смерть.

Никогда, никогда из поворота не выдвинется нос парохода, не задымит дымок. Тихо, спокойно, сонно от реки. Недаром и река называется «Тихий Дон».

А теперь ехали мы лодкой в черную ночь, – всюду красные, зеленые огоньки на невидимой воде. Громыкает землечерпалка. С гор катятся камни, и от берегов поперек реки потянулись каменные плотины. А где и плетневые плотины – дешевле и скорей. Они сжали, и Дон забурлил, закрутился воронками и стал злобно промывать пески. Из-за поворота выдвинулся нос парохода, и дымок над ним, и за ним баржа. Баржа громадная, на восемьдесят тысяч подъема, а берет только восемнадцать тысяч, – пока еще мелко. По берегам –

громадные бунты хлеба, – хлебозаготовки.

Нет, уже не Тихий. Проснулся, полезла с него сонная одурь, зажегся огнями.

Спокон веков степь молчаливая, задумчивая, бессловесная, бескрайно облегла синевой.

В теплые ночи бесчисленно треньканье кузнечиков, как бесчисленно засеяно ночное небо. Но курлыкают ли пролетные птицы, свистит ли ветер, все равно – все та же молчаливая, сама себя слушающая, вековая тишина. И казалось – еще века не потухнет она.

А теперь ночной степью ехала наша бригада в автомобиле. Стеной стояла со всех сторон тьма. И не было тишины, и не было молчания. Не курлыканье ли это странных, неведомых птиц?

Но тогда отчего же их говор чугунно-переливчатый, рокочущий? И разве у птиц железные голоса?

Наш автомобиль уносит, светя шатающейся полосой. И медленно и далеко позади теряется рокочущий говор.

И нет молчания: снова где-то впереди и справа несется на нас все слышней и слыш-

ней железный говор неведомых птиц и проносится невидимо стороной, и замирает, и пропадает далеко назад в равнодушной тьме.

И, как бы быстро мы ни ехали, ночные птицы железными горлами переливчато говорят и наполняют молчание и тьму.

Что это? Что это? Не пожар ли степной? Не зарево ли полыхающих огней?

Мы подъезжаем. Скирды поднимаются черными спинами. А за их чернотой исступленный электрический свет. И в отчаянно озаренном дыму бушующей пыли и соломы огромные – в два человеческих роста – тени наклоняются, вздымают работающие руки. Это бывает в горах: когда солнце низко, – и людские тени, отбрасываемые на туман, неестественно громадны.

И эти нечеловеческие тени, и грохот двигателя и молотилки убивают молчание и вековую тишину изумленной степи.

Мы пробегаем днем, оставляя за автомобилем десятки километров, все равно – то издали, то близко несутся грохочущие голоса, и они убивают задумчивое молчание и тиши-

ну, и пахота чернеет беспредельно: старая степь убита! Да здравствует новая степь!

## Преображение\*

**Я** попал на врангелевский фронт, в расположение 2-й конной армии.

Только что кончился бой. Зной насыщен запахом мертвечины. Валялись изуродованные лошади, в щепки разбитые двуколки. Деревья небольшого леса стояли голыми жердями, без ветвей; ветви грудами завалили корневища: сюда истошно била вражеская артиллерия и без усталости сбрасывали бомбы аэропланы. Мертвых и раненых подобрали. А зной все еще насыщен мертвечиной.

Под горой наша невидимая батарея изредка гукала по перестраивавшимся где-то на горизонте неприятельским частям. На старом степном кургане – кучка красных командиров. Кто сидит на корточках, скучно поковыривая палочкой муравьиное гнездо, кто смотрит в бинокль на далекого неприятеля. Другие курят стоя. Молодой, безусый на одном колене разглядывал разостланную на истрескавшейся от зноя земле карту. Я поднялся на



курган.

– Если начнет бить, на этом кургане жарко станет, – сказал командир, с серым бессонным лицом. И, закурив трубку, в которой была набита какая-то трава, – табаку не было, – добавил:

– Сегодня ночью нас здорово потрепали. Во-он на каких возвышенностях мы были, а теперь сюда откинули, – это верст десять.

– Перевес, что ли, большой у белых? – спросил я.

– То-то что нет, – проговорил, он, сердито поколотив трубкой о каблук. – Казаки ночью налетели, а конная бригада – черт знает что с ними сделалось – в панике кинулась врассыпную. Ну, на фронте и дыра. Казаки и поперли. Еле-еле заткнули. На десять верст нас откинули.

– Отчего же это они так?

Он злобно выкатил на меня рачьи глаза:

– Оттого!.. Расстреливать надо десятого! – и повернулся ко мне спиной, как будто я во всем был виноват...

– Знаете что, – сказал мне товарищ из политотдела, – поедемте в эту бригаду. Мы отве-

ли ее в тыл, чтоб дать оправиться. И просьба к вам. Там у нас театр передвижной играет, вызвали для них. А вы им почитайте что-нибудь. Надо ребятами заняться. Ведь уж – сказать по правде – двое суток без хлеба сидели – подвозу не было. Ослаб народ. Да и политически ненадежны.

Машина неслась в горячей пыли. Раскаленная степь уносила. Промелькнул Павлоград, где – штаб армии. Вот и село. Бригаду привели в большой поповский сад. Ребята густо уселись на земле. И так же густо облепили все деревья, как серые груши. Я взгляделся: босые, без шапок, в рваных портах и рубахах – здорово смахивали на бандитов. Сожженные, исхудалые лица, но веселые, оживленные, – шутки, смех, прибаутки, как будто над ними не тяготел позор бегства с поля битвы. Я прочитал рассказ из красноармейской жизни. Громадный поповский сад налился тишиной. Не слышно было этих людей. Только золотисто звенели пчелы.

Вечером был спектакль. Пьеса из времен великой французской революции. В дощатый театр рвались с кулаками, – чуть не разнесли.

– Дней через десять – двенадцать думаем бригаду опять двинуть на фронт. Рассчитываем – подтянется к тому времени.

«Нет, – думал я, когда машина уносила нас в звездной мгле, – нет. Уж очень они на бандитов похожи».

Я крепко спал, когда в окно так застучали, что стекла зазвенели.

– Что такое?

Отдаленно ухнуло орудие.

– Скорей одевайтесь! – голос товарища из политотдела рвался. – Захватите оружие. Дорогой расскажу.

Мы бежали, спотыкаясь, по черной немой улице, и собаки, заливаясь, рвали нас за сапоги.

– Махно напал. Громадная банда. Два орудия. Множество тачанок с пулеметами. Знает, у штаба нет прикрытия, а бригаду он и в счет не берет, у него тут шпионы везде. Метит захватить штаб, обезглавить, тогда пропала армия.

И мы продолжали бежать, задыхаясь. В окнах ни огонька. Чернота затаилась. Лишь собаки.

– У него тут полно шпионов. С бригадой опасно – может передаться. Тогда все пропало.

«Да, лица-то бандитские...» – мелькнуло опять у меня.

Двухэтажный дом политотдела сверху до низу был освещен. По лестницам торопливо бегали, наваливая на ожидавшиеся подводы дела, литературу, – надо было спешно отступить.

В черноте то разгоралась перестрелка, то никла, задавливаемая утробным буханьем орудий.

И вдруг огни в окнах побледнели, а небо посветлело. На всем карьере всадник осадил покотившуюся на задних ногах взмыленную лошадь и заорал хрипло, как будто не хватало воздуха:

– Отби-или!!

Все ахнули: да ведь утро, и не слышно ни одного выстрела.

Через минуту мы неслись на машине. Солнце косо хватало через всю степь. Жаворонки надрывались, трепеца. И беспричинно трепетала в них радость.

В бригаде расседывали запотевших лошадей. Стоял говор, смех, шутки. Какие славные молодые лица! Как будто ничего не случилось.

Я схватил за руку товарища из политотдела:

– Но скажите, скажите, как это могло случиться? Ведь никудышная была бригада!

Тот молча посмотрел на курившиеся костры, послушал гомон лагеря.

– Что же тут такого: в бригаду влили красноармейцев-партийцев. Они с ними спали, пили, ели, вели работу, дрались и умирали вместе. Красноармеец-партиец – это великие революционные дрожжи.

И в волнении срывающимся голосом крикнул:

– Вы же поймите: у Махно около двадцати пяти тысяч было – раздавить мог!

А поле красно дымилось над посеченными махновцами. Разгоралось солнце. Неподвижно лежали красноармейцы в окопах. Их уносили на носилках.

## Рассказ о первом рассказе\*

Так вот. Меня на север привезли два голубых архангела – два жандарма; привезли в Мезень, у Ледовитого океана. Признаюсь, мне скучно показалось. Я сам с юга, с Дона, там веселые степи, яркие дни. А на севере, над тундрой – низкое тяжелое небо. Зимой двадцать три часа ночь, а летом солнце не заходит. Я летом приехал, так три дня спать не мог. Кругом были окна: взойдет солнце с того окна, а к вечеру опять в то же окно глядит. У нас, политических ссыльных, тяжелое было положение: полиция и жандармы всячески мешали крестьянам приходить к нам, старались изолировать нас. Но с нами был в ссылке один рабочий, ткач, с орехово-зуевской фабрики, Петр Моисеенко. Он создал первую в России крупную организованную стачку на фабрике; стачка великолепно прошла и так напугала правительство, что были созданы потом фабричные инспектора. У этого Моисеенко удивительная находчивость была. Столяром он никогда не был, а устроил отличную столярную мастерскую, и мы научились и выделывали

вали там столы, шкафы, стулья учреждениям и купцам; работали и зарабатывали деньги. Приходили к нам с мелкими заказами и крестьяне. Обыкновенно полиция их не пускала, но крестьянин возьмет доску и говорит: «Мне в мастерскую». А полицейский ворчит: «Ты не сиди долго, скажешь и уходи». Эта мастерская дала нам возможность связаться с населением.

Но тут опять вышло нехорошо: приходит, бывало, мужик, снимает шапку и начинает искать по углам икону, – а иконы нет. Крестьяне перестали к нам ходить. Кругом слух пошел: «Там, мол, нехристи живут».

Моисеенко и тут нас выручил, он взял старый рубаночек, покрыл его лачком, и в самом темном углу, в паутине, прибил. Мужик приходит, кланяется и крестится на рубанок – и овцы целы, и волки сыты. И опять повалил к нам народ. Приходят, рассказывают, как они выходят в океан бить зверя, – в открытых лодках. Нужно колоссальное искусство, чтобы в шторм не погибнуть. Удивительные моряки. А зимой выходят на льдины и там бьют зверя. Эта охота чрезвычайно опасная, но она мо-

жет, в случае удачи, приносить большие доходы. Однако эти поморы жили в нищете. Почему? – Да потому, что поморы бьют на льдине зверя, а на берегу сидит кулак. Для того чтобы идти в море, нужны средства, нужна лодка, продовольствие, одежда, нужно оружие, припасы, а у поморов, конечно, ничего этого нет. Кулак им все дает и записывает. А когда помор с улова приходит, то оказывается, что у него не только ничего не осталось, но он еще должен кулаку. И так из года в год беспросветно. По-прежнему нищета: по-прежнему уходят, – нужно и дома оставить продовольствия и нужно с собой взять, – и из кабалы поморы не вылезают. Это они нам рассказывали.

Я и засел писать. Писал с необыкновенным трудом. Хотелось описать громадное впечатление от северного сияния. Бывало, зимой смотришь часами, как раскрывается эта колоссальная симфония. А на бумаге не выразишь. Писал, писал, – нет, не то! Никак слов не подберешь, чтобы передать читателям те ощущения, которые сам переживаешь.

Мы там жили коммуной в пять человек. Я



помещался на чердаке в крохотной комнатке. Возьму двери на крючок и пишу. Днями, ночами сидел. Пишешь, пишешь, глядь, а к концу дня только строк пять-шесть напишешь. Писал, перечеркивал. Товарищи стали замечать что-то неладное. Серафимыч, как меня звали, исчезает. Подойдут к комнате, потянут дверь, а она на крючке. Раз спрашивают меня: «Что это ты там, по-английски, что ли, за галстук заливаешь в одиночку?»

Почему я запирался, никому не говорил? Потому, что мне казалось, что если расскажу, что взялся за рассказ, так они умрут от хохота и будут издеваться: «Писатель нашелся».

Так я работал целый год. Рассказ был небольшой, размером на газетный подвал. Теперь бы я написал такой рассказ в несколько дней. А тогда целый год работал.

Наконец однажды, в крепкий мороз ночью – а ночь двадцать три часа – я кончил. Надо же эту тяжесть кому-то передать, не зря же я столько муки принял. Свернул рукопись в трубку, спустился вниз, стою под дверью, не могу открыть. Скажу, что рассказ написал – хохот пойдет. Мороз донял, потянул дверь, от-

крыл; все глянули, – деваться некуда. Они сидят вокруг стола, получили почту из России, чай пьют. Я сел. Сижу совершенно убитый. Трубка свернутая около меня лежит. Они разговаривают. Вижу, время идет, надо уж спать ложиться. А никак не выговорю, язык не повертывается. Сидел-сидел, да и буркнул:

– Я... товарищи...

– Чего?

– ... хочу вам что-то прочитать.

– Письмо, что ли, получил?

– Да нет... я...

– Чего?

– Я хочу вам рассказ прочитать.

Все изумились:

– Рассказ? Ну, ну, валяй читай.

Я сел, облокотился и начал читать. При первых звуках вдруг душно и страшно стало – до такой степени рассказ мне показался невероятной чепухой. Я только удивлялся: «Ведь я с мозгами, в твердой памяти, как же я мог написать такую чепуху?» Но было поздно, – деваться некуда. Сижу и страшным гробовым голосом читаю. С меня капает пот на стол, в чай. Читал, читал... товарищи молчат, хотя

бы заворочались или закашлялись. Это меня повергло в такое отчаяние, что не знал, куда бы провалиться. Кончил. Молчат! Я стал медленно сворачивать рукопись в трубку. Молчат. Потом как заорут:

– Серафимыч! Да это ты написал, – верно ли? Вот не ждали...

А я расширенными глазами смотрю: «Что они, издеваются, что ли?»

Потом до утра сидели, разбирали, обсуждали, как, куда направить. Все были в восторге, а я под собой земли не чувал. Потом ушел в глухое место и пробродил до самого утра.

Послал рассказ в «Русские ведомости» – буржуазная либеральная газета была такая. Ждем. Проходит месяц, другой. Ни слуху ни духу. Вдруг приходит почта, разворачиваем газету, видим «На льдине», а внизу подпись – Серафимович. Все глазам своим не верят. Все были в диком восторге. Один из товарищей взял вырезал рассказ и наклеил на стену у меня в камерке. Когда товарищ ушел, я подошел и прочитал. Потом походил, еще раз прочитал. Опять походил и еще раз прочитал. Читаю да читаю до сумерек, больно глазам, а я

читаю. И все новым рассказ кажется, – чего-то раньше как будто не замечал. Что влекло и поражало – это ощущение, что по белому листу черными значками изображены мои собственные переживания. Мало того, в этот момент на громадном расстоянии друг от друга, не зная о существовании друг друга, тысячи людей переживали, благодаря этому белому листу, такие же чувства и ощущения, какие я переживал. Это мне казалось фантастическим. Спустились сумерки, а я все читал, и подумал, – не сошел ли я с ума.

Вот так родился из меня с большим трудом писатель.

# Колхозные поля\*

## Факел

.....

• Багрово струясь, вознесся исполинский факел.

И его мигающие отсветы легли через неохватимые советские поля, через неохватимые советские леса, через неохватимые советские степи, через снежноголовые советские горы от края до края, от рубежа до рубежа.

И за рубежом, опоясав мир, потянулись и легли на народы эти небывалые багрово мерцающие отсветы.

И глаза всех поднялись и тянулись туда, откуда, мерцая, бежали красные мигающие отсветы, тянулись одни с изумлением, другие со злорадным издевательским смехом, третьи с бесконечной любовью, а те с непотухающей ненавистью, – тянулись туда, к сердцу мира, к сердцу социалистического, пролетарского мира.

И оттуда огненно зазвучало на весь мир радио, и нестерпимо зажглось на фронте

старого, с тяжелыми колоннами, здания:

## **XV съезд ВКП(б)**

И радио человеческим голосом оповестило мир:

«...В настоящий период задача объединения и преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве *основной задачи* партии в деревне. Категорически указывая на то, что этот переход может происходить только при согласии на это со стороны трудящихся крестьян, партия признает неотложным широко развернуть пропаганду необходимости и выгоды для крестьянства постепенного перехода к крупному общественному сельскому хозяйству и всемерное поощрение на практике имеющихся уже и заметно растущих элементов крупного коллективного хозяйства в деревне».

На фронте пламенело: 1928–1929.

Глянешь, из края в край – степь, без начала, без конца. Бесчисленно изъедена глинистыми оврагами – красная степная оспа.

На сотни верст редко-редко попадается в

балке сухой лесок.

По буеракам держатся волчиные выводки. Лисы, куропатки, перепела, зайцы, а где и важный осторожный дудак, больше гуся. Либо белоснежно блеснет подкрыльем красавица стрепетка.

Где по широко разлегшейся балке тоненько посверкивает вода с куриными бродами, синеют сады, потянулись огороды, курени, избы, хаты. На сельских церквах золотятся кресты. Напротив, через пыльную улицу, белый, просторный, под железной крышей, дом причта: гривастый богатый поп делает свое дело.

А по степи, по растрескавшемуся чернозему, местами почти в полметра, пустынно, нехватимо простирается сизый шершавый польнок.

Долго едешь пустынным простором, да вдруг, как золотое море, тучно заблестит, заლოსнится пшеница с зеленеющими межами – царство неисчислимо кишачих вредителей. А то овсы потянулись, бахчи, просо – и все перепоясано, исчерчено зелеными изгибающимися по увалам межами – и в них века.

А там опять пустыня сизого полынка да бесчисленные балки. И все налилось неисчислимым звучанием кузнечиков. Плавают коршуны, ястребы.

Надо всем нестерпимое солнце.

Мужики пришли гурьбой в райком. Расселись по стульям рядком вдоль стены в кабинете секретаря.

На стене Маркс, Ленин, Сталин.

Исступленно краснеет сукно на длинном столе.

И бородатые и гололицые. Расселись в шапках.

– Что, товарищи, с чем пришли?

Бородатый, с красным лицом, как кряж на заскрипевшем под ним стуле. Расставив ноги, свесил кудлатую голову; положив локти на колени, мнет шапку в руках.

А поодаль ото всех – длинный, тонкий и шея по-гусиному. Нос длинный, как правило. Дьячок – не дьячок, рваный, и шапчонка на голове рваная. Сидит как аршин проглотил, и будто его не касается, зачем пришли и что тут происходит, – глядит себе через комнату в белую стену.



Остальные – тоже как будто их не касается.

Секретарь отложил бумаги и глянул на мужиков веселыми глазами. И на голове – веселый хохол. Даром что сидит на стуле, а видать – небольшого роста, ладный собой. Тонко перехватил серебряный с чернью пояс темно-серую, хорошего сукна рубашку. А в плечах раздался.

Со сдержанной улыбкой на румянном лице, как будто не из города недавно приехал, сказал:

– Так что, товарищи, по какому случаю в райком заявились?

«Ого-го-го! Он их насквозь видит, мужичков-то. Мужичок, он зря не придет. Мужичок, он изо всего трудится шубу себе сшить. Да и не удивительно: своя избенка, своя коровенка, своя лошаденка, своя полоска. Знает он их насквозь!..»

И опять полуулыбка тронула крепкие голые губы – усики сбривал.

Глыбастый сказал, разминая шапку и свесив к коленям голову:

– Так что не можем, не вылезем. Опять же – расчету произвести не в силах. Кабы расчет,

всех удовлетворили. А то энтот жалится, энтот морду воротит, энтот все забирает – не хочучу, сказывает, с вами поганиться. Кабы расчет. Вот до тебе пришли.

– До партии, – сказал неожиданно тонким голосом длинный, все такой же, с проглоченным аршином.

– Да в чем дело?

Хотел сказать «не пойму», да прикусил язык.

Тогда все загалдели:

– Счета надо совершить.

– Как, кому, сколько разделится.

– Чтоб по-справедливому.

– Соответственно.

Секретарь свел брови, но веселый хохол лишал его строгого вида.

«Черт их знает, о чем они...»

Откашлялся. Больше всего боялся, как бы в лужу не сесть. С мужиками – разве их поймешь! У них – свое. Ежели б у себя, в типографии, там бы навел порядок, а тут, – черт их знает: деревня – как лес.

И, чтоб выиграть время, опять откашлялся и сказал строго (а хохол веселый):

– Ну, да это понятно. Ну, так дайте данные для подсчету. Да говорите по одному, а то как на базаре.

«Управдела, что ли, позвать?» Протянул руку, чтобы постучать, да опять отвел: мужики – хитрый народ, догадаются, что не умеет разобраться.

– Ну?

Тут приподнялся со стула и, переломившись в пояснице, как будто его тянуло к земле, шагнул коленями врозь к красному сукну стариковатый, со слезящимися глазами, а нос мучной, белый.

– Во-во, это самое. Потому, скажем, у энтого плуг двухлемешный, а у энтого – пара быков, а у энтого – семена добрые, а энто – работников привел, сыновья у него.

Его повалил галдеж.

– Чево работников, – сами все работаем.

– Как нечем взяться, голыми руками, на кой ляд работники!

– Ежели плугу нету али тяговой силы, цаловаться, што ли, с работниками?

Секретарь откашлялся:

– Ну?

– Вот это самое... – начал белоносый, все так же согнутый в пояснице и колени врозь.

Да длинный, глядя перед собой гусиной шей, покрыл его просительно тонким голосом:

– Ведь для кого стараемся, – для трудящихся. Неграмотные мы. Оттого и горе. Никак не можем развязаться. Сутолка через это самое. Друг дружку за грудки. Главное, неграмотные.

«ТЬфу, дьяволы!..» – и мысленно припечатал крепким словом, пот пробил. Откашлялся, вслух сказал наугад:

– Много хлеба собрали?

И как будто сослепу попал в нужное место: вдруг все заговорили, загалдели, даже приподнялись со стульев.

– Все сдали, подчистую все. И хлебозаготовки, и по мясу, и молочные, и куриные, – все, все как есть.

– Во-во, хфитки, во! – торопливо заговорил со сломанной поясницей, стоя коленями врозь. – Во!

А гусиная шея протянул квитанции.

Кряжистый, с лицом как мясо, заговорил:

– Через чево самое? Через то самое: у ево,

скажем, – показал на сломанную поясницу, – двухлемешный плуг, а ево, – показал на гусиную шею все так же неподвижно смотревшего перед собой, – пара быков да лошадь, опять же сеялки.

– Чево брешешь! – тонко отозвался гусиная шея.

– ...вот ты и рассуди: сколько хлеба придется на две бычьи пары, да на лошадь, да на сеялку, а мне плуг, а вон ему...

И опять загалдели:

– Расчету произвести не можем. Не можем произвести расчету.

Секретарь крикнул:

– Да вы помогаете, что ль, друг другу?

Взорвало галдежом:

– Ды вмистях сеем. Совокупили усю землю ды засеяли.

– А межи куда же?

– Ху-у, да одним кусом вся земля. Вот двенадцать нас хозяйв усю землю сдвинули вмистях и скрозь запахали. Волчий Кут, може, слыхал? Как вы-дешь на взгорье, чернеет пахота скрозь, аж глазом не окинешь. Палестина! Это – самая наша.

У секретаря округлились глаза, и хохол, как будто у него тоже были глаза, торчком изумленно глядел.

– Так у вас коммуна?

В комнате заметался испуг.

– Што ты, што ты, што ты! Окстись!

– Ну, а хлеб как?

– А хлеб делим. Как съем, так и делим.

– Вот тут-то у нас и неуправка, – подал гу-  
синая шея, – расчетом не сдюжаем. Скажем,  
ему на плуг, а энтому на лошадь, а энтому на  
быков, а...

– А тебе, скажем, на сеялку ды на молотил-  
ку.

– Не брещи! – обиделся гусиная. – Вот и не  
произведем расчету. У энтова плуг перетяга-  
ет, у энтова быки, у энтова лошадь, – никак не  
призначим: от энтова разор хозяйству.

Секретарь глубоко передохнул. Если б кто  
съездил сзади дубиной, не так бы зазвенело в  
ушах, как сейчас.

«Эх ты, мама постная, – проморгали! Надо  
сейчас же на бюро...»

И, чтоб успокоиться, покатал между паль-  
цами и зажег папироску.

– Кто ж вас надоумил?

– Нужда.

– Слышь ты, – заговорил сломанная поясница, стоя на раскоряченных коленях, – лошадей подобрала германская да гражданская. Быков фронты поели, – сколько разов прошли через нас.

– Хронт – прожорливая брюха.

– ...вот мы и соединились.

– Нда-а! – протянул секретарь.

На бюро секретарь говорил запальчиво, и хохол, весело поглядывая на всех, покачивался:

– Проморгали, ребята. Нельзя на мужика смотреть только как на собственника. Он те еще десять очков вперед даст как общественник. Видел, землю в общий котел склал, да сам. Это, товарищи, не фунт изюму.

Их сидело пятеро, и краснел стол. И у всех лица с желтинкой, худые, У одного глаз кругло заклеен черным.

Ближе всех к секретарю – немного постарше его, тоже чуть-чуть усики, нахмуренный.

Сентябрь, еще не начавший золотиться, глядел в окна, сентябрь двадцать девятого го-

да. Паутина, искрясь, плавала на солнце.

А четверо – каждый по-своему. Артамонов – маленький, с белыми мышинными усами и тридцатилетний золотистый пух на голове, щупленький, общипанный, с десятилетнего мальчишку, – предрика. Горбунков – в гимнастерке с засаленным воротником, и рыже-небритый, – уполномоченный РКК. Кулибин – длинный, в сером бумажном измятом пиджаке, и он на нем как на вешалке.

– Ну, все, что ль? – сказал секретарь, доглядывая бумаги, а их и доглядывать нечего, ведь уж подписаны.

– Все.

– А Лапин где же? – все не подымая глаз от бумаг.

– Тут я, – угрюмо-сосредоточенно из угла,

– Так вот, товарищи, – и отодвинул бумаги, – мужик потянулся к общественным формам хозяйствования в нашем районе. Это надо понять.

А из угла угрюмо:

– Не в нашем одном, а и в соседних.

Секретарь тряхнул хохолком, рассердился. Заметил: этот невзрачный, приземистый, с



круглым, как желтая слива, распухлым носом, в стоптанных сапогах, что бы ни говорил секретарь, всегда вставит свое, ослабляющее. Секретарь опять тряхнул хохолком.

– А я скажу наоборот: может, по всему округу. А может, и дальше. И это мы должны учесть и поставить в известность округ.

– Дай мне.

– Ну!

– Ведь у нас же есть устав ТОЗов, – сказали усики, сдвинув молодые брови, – так и надо им устав растолковать, организовать. Ишь ты, сами пришли...

– Пришли-то пришли... – опять угрюмо из угла, – да...

– Я тебе не давал слова, – сердито отмахнулся секретарь и подумал: «Чертов бирюк! Спит и видит себя секретарем».

Серый камлотовый пиджак зашевелился, стал еще длиннее.

– Я так думаю: крестьянство надо обязательно организовать, раз сами просят. Ведь сами идут, чего же тут думать! Я кончил.

Постояло молчание. Секретарь, не подымая головы, сказал:

– Товарищ Лапин!

Заскрипел стул, и из угла глухо и коряво полезло бревно:

– Тут вот, конечно, говорится, крестьянство само пришло, просится, партия чтобы организовала. Это, конечно, приятно, можно, чай, жить. Ну, только надо пощупать.

«Курей щупают да баб молодых», – сердито подумал секретарь.

– ...пощупать, какие такие это мужики приходили?

Насторожились.

«Чертов сыч! Непременно чего-нибудь воткнет!» – зло потрянул головой секретарь.

– Они, мужики, разного склада. Есть...

– Меченые и немеченые, – сказал с усиками, усмешливо взглянув на секретаря.

– ...разного склада, – так же налезая глухим бревном. – У одного две пары быков да лошадь, у другого пара плугов да молотилка, а у этого ребяташки, жена, старики да сам-девятать.

«Этакое зло!» – блеснул серыми глазами секретарь и бросил:

– Ты нас не учи. Без тебя знаем – классовое

расслоение в деревне.

А тот продолжал так же глухо и ровно, как будто был в комнате один:

– ...кого же будем организовывать: кулаков да очень зажиточного середняка? Бедняка-то они к себе и близко не подпустят, – ему не с чем к ним идти.

Тогда все зашумели, как шмели, перебивая и держа на него зло.

– Так что ж, по-твоему: руки сложить да у моря погоду ждать?

– Ежели ты не будешь организовывать мужика, так он сам сорганизуется, да так сорганизуется, что небу жарко станет. А что кулак, так «волков бояться, в лес не ходить».

– А как дров наломаешь!

– А партия на что?

– Товарищи, товарищи! – вылезая из галдежа, стучал карандашом секретарь. «Чертова холера этот Лупоглазов! – сердито мотал он хохлом. – Выгоню из коммунхоза, – до сих пор звонка не достал. Какое это заседание без звонка!»

Постановили: принять все меры к организации супряг и ТОЗов в крестьянстве, не до-

пускающая кулака, и немедленно выехать всем в район агитировать за коллективное хозяйство.

## Собрание

Высокий, с прямой спиной, Боков по-военному широко шагал, взбивая пыль.

Месяца два его по состоянию здоровья демобилизовали.

Приехал в крайком. Дали путевку в округ. Округ – сюда. Здесь стал председателем совета этого городишка.

Он шагал и чувствовал себя как на маневрах. Надо взять в лоб или обойти, ударить с тылу, сломить. Надо внести плановость, как вносится плановость в маневрирование.

На улице перед школой у подъезда, у ворот толпятся крестьяне, дымят махоркой, сидят на корточках вдоль забора.

И Боков внутренне подобрался, прямой и высокий, в серой шинели и в буденовке.

– Эй, Боков, живой?

Быстро катившийся тарантас останавливается. Лошади мотают головами. Боков подходит, здоровается с обоими,

– Куда?

Человек без усиков, в пальто, ладный и в плечах раздался, без шапки подставляет веселый хохол погожему сентябрьскому солнцу. Он торопливо пожимает руку Бокова.

– В район еду. Всех разослал, теперь сам. В райкоме за себя Петунина вот оставляю, – мотнул закачавшимся хохолком на сидевшего рядом с татарскими усиками скуластого, с косыми черненькими бровями, товарища, – и искорки внимательной наблюдательности в темно-коричневых глазах.

– Давно с курсов, Петунин?

Тот сказал запоминающимся голосом:

– Вчера только.

– Из ячейки у тебя кто будет? – спросил хохолок.

– Афонин обещал.

– Так ты ему, товарищ Боков, передай, чтобы все особенности собрания – ну, настроение крестьян, как будут принимать цифры и, главное, как пойдет дело насчет колхозов, – чтобы в райком сводкой. Да и ты приходи, расскажешь. Ну, так крой, проворачивай.

– Ладно!

Боков подавил руки обоим и пошел. Хохо-

лок тронул кучера в спину:

– Давай, погоняй, дядя Осип. Э-эх, время-то как утекает... Погоняй, погоняй, дядя Осип!

Звеня и дребезжа в облаке пыли, тарантас покатился...

...В школе битком. Сквозь непролазную махорочную сизость смутны бороды, шапки, заветренные, употелые лица. Тускло блестят глаза и все на Бокова, все блестят на Бокова.

Чувство борьбы, чувство острого внутреннего напряжения, – то чувство, которое овладевало им на маневрах, наливалось теперь. На маневрах ведь товарищи же эти синие, ведь это из второй роты. Вон Рябов – с ним же вместе на курсах были...

«Да, товарищи-то товарищи, но когда ползешь, извиваясь и обдирая лицо по сухой колкой земле, по иссохшим цепучим травам, ползешь с крепко зажатой винтовкой, тут одна неотступная мысль: обойти, ударить с тылу, захватить. И эти сквозь дальние кусты мелькающие синие, это уже не товарищи, это – враги. Нет, он не ходил с ними на политчас, не был с ними на курсах, тут кто кого».

И сейчас сотни блестящих вражьих глаз... Или дружеских, ждущих? Ну да, он – крестьянский сын, кость от кости их. Дышал одной тьмой с ними, одним бессилием. А теперь он пришел бороться с ними, плечо в плечо бороться с их тьмой, с неодолимостью веков, со всем, во что они неумолимо вросли изувеченными корнями.

Пришел бороться с ними. Прислала партия, что открыла ему глаза. Прислала Красная Армия, что переделала его в неузнаваемого человека.

– ...собрание открытым...

Все тот же непроницаемо сизый дым. Все тот же не потухающий сквозь него блеск глаз.

«Эко черт этот Афонька – не пришел!»

И началось привычное, уже вросшее в общественный обиход:

– ...повестка... Есть возражения?.. Нет...

И он по кустам, по иссохшей цапастой траве двинулся на них. Они отделялись неугадываемым молчанием, блеском глаз.

– ...Ежели ты похеришь межи... я. сно. аль нет?..

– А ты запахай межи, да это тебе не одна га

набежит – вот тебе сотня-другая центнеров пшеницы. Понятно? А то суслики плодятся, да сорняк с межей прет, все поле заражает. С двух концов себя жрете – площадь теряете, вредители пожирают... Ясно?..

Для него это было поразительно ясно. А они? А они дремуче молчали. В слоистом дыму блестели глаза. Он напирал, и напряженность стала переливаться в раздражение. Враги?.. Он сдвинул буденовку и вытер косо ребром пот.

– ...опять взять тягло: у одного – две пары быков, у другого – ледащая лошаденка, а у энтова и нет ничего. Ясно? А земля требует, чтоб ее топтали здоровые бычьи или лошадиные ноги. Тогда она... Ясно?.. А бедняк, не виноват же он за свою бедность... Понятно?..

В дыму смутны бороды, шапки, кафтаны. Это они и без него отлично знают, – сам крестьянский сын, сам деревенский. И если бы был на их месте, так же бы в сизом дыму молчал.

Он опять вытер пот, раздраженно оглядел их и... между скамьями живой и веселый в



черной барашковой, востряком кверху сдвинутой на затылок шапке пробирался в президиум, волнуя густой слоистый дым, Афонин.

У Бокова радостно заиграло: в поле с перелесками неожиданно в живом движении показалась рота и оживленно рассыпалась в общую цепь.

Боков победно поднял голос и стал напирать, а ноздри уверенно раздулись.

– Али вам не надоела канитель эта? Вся жизнь ваша на краю. Ясно? Неурожай, – стало быть, оборвался...

Неожиданно заволновался доверху заполнявший сизый дым. Заволновались в нем бороды, шапки, лица, кафтаны. И одинокий голос:

– Хоша и неурожай случался, а завсегда с хлебом были.

И дружные голоса взмыли:

– Ну как же: в скирдах, бывалыча, годами стоял!

– Неурожайи были, а деды наши жили, не жалились!..

А он, не слушая, напирал:

– Пожар, – стало быть, по миру...

А оттуда так же дружно:

– А иде же зараз живем? В избах же и с хозяйством, а мало ли горели?

Афонин нагнулся под стол, крепко ущемил нос, сморкнулся, растер ногой.

– ...Сынов отделил – разор...

А оттуда густо и вызывающе:

– Слава богу, по миру не ходили, а ноне босые да голые.

Повеяло враждебностью, затаенной и неподатливой.

И весь сизо волнующийся дым до самого потолка наполнился упрямым гулом, на котором вырывалось:

– Ты не сули, а дай!..

– Ня нада журавля, с синицей проживем!..

– Как жили – знаем, а как будем жить – не знаем!..

Боков, не стерпев, снял с себя буденовку и опять надел, едва задавил в себе крутую мать. Вдруг особенно остро почувствовал себя стороной: там, на скамьях, – враги. Вторая рота извилистой цепью пошла на синеющих. Он их ненавидел и с ненавистью сказал:

– Слово товарищу Афонину.

Афонин поднялся, осклабился до ушей, как будто весело только что пополудневал, зарачительно протянул палец:

– Да у тебя, Семен Косогубый, три пары быков, молотилка, да пять лошадей, да овчишек десятка два, да...

Косогубый по-бирючьи, не поворачивая шеи, повернулся весь на скамье в широком добротном кафтане.

– Ды иде она, молотилка?

Школьный зал развалился в дыму и зашумел возле дверей:

– Ды нету, штоль?! Знамо, молотилка.

– Да идите, ищите!

– Сплавил! Испугался кратки.

– Одна молотилка, што ли! Ево копнуть...

Афонька стоял, рот до ушей. Боков тоже стоял, и радость победы трепетала. Ведь это же – братья.

А Афонин, все так же хитро осклабляясь, перевел палец на другую скамью. Там заёжились.

– А ты, Хребтиков, хоть ты и маленький и на скамейке тебя почитай не видать, а карман у тебя дюже пузатый...

Дым густо колыхнулся смехом:

– Вот это враз!

– Ды ты лазил ко мне в портки? – тонко, по-пороссячьи зазвенело в ушах.

А от дверей опять колыхнуло:

– Небось в портках не держишь! До революции все в банки клал...

– А нонче небось в кубышку да землицей присыпет.

– Процентщик, и все с молитвой. Без молитвы и человека не обдерет, не то что курицу!

Все задвигались, линии заволновались. Прикуривали, нагибались друг к другу. Дым погустел, меняя лица, не давая их угадывать.

– Сеня, дай ножку свернуть.

– Известно, гамузы: у него брюхо болит, покуда чужое в ем не лежит!

– Мало их кратили!..

«Рота подмогла – ух, ты!.. Погнали синих, прорвали...» Боков радостно вдохнул горький дымный воздух.

Афонин весело раздирал дыру, указывая пальцем то на одного на скамейке, то на другого, и голоса дружно и густо наваливались в

густом дыму.

Боков, прямой и ровный, стоял рядом с Афониным, спокойно оглядывал прорыв вражьей линии, – половина дела сделана.

Сказал негромко:

– Слышь, Афонин, можно список составлять.

– Ладно, приготовь, – и, задорно щеря зубы, прокричал весело:

– Граждане, мы к концу концов поняли, какая наша жизнь и какая бедность! Довольно нам страдать. Поддержим революцию! Записывайтесь, товарищи, по колхозной обработке, свет увидим!

Поплыло темное молчание. Синий дым стал редеть. Блестели глаза. Стояло непроглядное молчание, И опять весело:

– Ну, подходи, которые на руку легкие, начинай!

Молчание. Слоисто под потолок поднялся дым. Заветренные лица, бороды, шапки открылись. Неподвижно открылись глаза.

Боков и Афонин глядели на разбитую мужицкую рать, оглядывая, кто первый начнет, – всегда задержка за первым начинате-

лем.

– Ну что ж, подходите!

Молчание.

Афонин перестал щериться, сказал:

– Ну что ж вы! Подходите которые!

Молчание.

Афонин спрятал зубы и, зло глядя, протянул палец:

– Илюха, ну, ты!..

У мужичонки в стоптанных обрезках сапог испуганно углом поползли кверху шершавые брови. Он затоптался и, точно его тянул к себе протянутый палец Афонины, кособочась, полез на трибуну и, коряво наклонившись, поставил каракули.

– Ну, ты, Мартыха!

Мартын, вечный водовоз – всем воду возил из реки – испуганно, торопливо взобрался на трибуну.

– Ну, ты!..

Тот полез на трибуну.

Боков с облегчением вдохнул в себя редющий дым. «Пошло...»

– Ну, ты, Семин!

Семин не шевельнулся.

– Иди же!

– Куды мне иттить! С чем я пойду – ни кола ни двора...

Боков вдруг увидел вместо лиц до самого край мужичьи спины, загорелые, иссеченные линиями шеи, шапки; толпились, толкались к дверям. Через минуту огромный, заставленный скамьями зал глядел пустотой, только слоистая махорочная синева да кислый дух.

...Боков и Афонин шагали по пустой улице.

– Я их знаю, – сказал Афонин, раздувая ноздри, – городской да подгородный мужик самый вредный, – с базару живет. Ему чево дюже надрываться – базар да спекуляция вывезут.

Квартал шли в злом молчании. На углу остановились.

– Теперь и не показывайся в райком – сожрут: троих, едрена кочерыжка, завербовали.

И, не простившись, Боков зашагал в переулок.

## **Лариониха**

Лариониха, оплывшая, с большим животом, отечное, дряблое лицо, мешки под глазами, неизменная шаль. В руках – корзинка. Хо-

дит, толкается.

Пыль, запах конского навоза, говор над лениво, во всю огромную площадь переливающейся толпой.

И быки, и повозки. Поднятые оглобли глядят в высокое небо. Жуют лошади. Всюду золотеет натрушенная солома. Отчужденный в своей гордости, одинокий верблюд.

Лариониха проталкивается к возам, сует руки, вытаскивает, торгуется, щупает, пробует, жует, стараясь побольше захватить губами.

Ее все знают, снисходительно здороваются. Мужики зовут ее «мамаша». Прежде звали «ваше степенство». Относятся добродушно-незлобиво, будто супруг ее, Пал Силыч, ныне проживающий в Соловках, будто никогда не сосал, не разорял, не мздоимствовал.

И, говоря о своем непохожем, о сегодняшнем, кричат плакаты с заборов, со стен облупленных запертых лавок. Плакаты тянут к себе фабриками, заводами, и над ними – огромный рабочий с протянутой рукой.

На других – трактор, конная сеялка, многолемешные плуги и крестьянин с красным до-



вольным лицом. Плакатами заклеены чугунные двери купеческих старинных складов. На них неподвижно и немо висят тяжелые ржавые замки, а за ними – пустая подвальная сырость и темнота.

Идет домой, переваливается. Руки оттягивает корзинка – арбузик, помидорчик, мучица, кусочек масла, сальца: любит, грешница, покушать. У возов понапробовалась, что твой обед.

Площадь галдит сзади. Вдоль мягких от пыли улиц палисадники с серыми акациями, а в палисадниках старинной стройки белые домики – герань, кисейные занавесочки.

На колокольне медлительно бьют часы, и умиленно, грустно и певуче звучит старинная медь в сердце, – вся жизнь!

«Господи, за какие прегрешения?! Оглянись, господи!..»

Как гора среди одноэтажных домиков, встает трехэтажный дом, бывший купца Ларионова, который проживает ныне на Соловецких островах. Над подъездом – черная вывеска, и по ней золотом:

*«Районный комитет ВКП(б)»*

А у другого подъезда:

*«Райисполком»*

Лариониха крестится под шалью незаметными мелкими крестиками, глядя на дом. Куда бы ни шла, откуда бы ни возвращалась, делает крюк, пройдет мимо и мелко, потаенно покрестится под шалью.

«И когда господь испепелит вас, духи нечистые...»

Лариониха идет дальше, раскачиваясь с корзиночкой, опять думает:

«Кабы крышу не содрали, – ведь цинковая, теперь это – золото, ишь, как серебро, блестит. Сдерут, – от них все станется, – да покроют ржавым железом О господи, доколе твое терпение...»

Она ненавидит Симку-печника и Илюшку-кузнеца – так и стоят перед глазами. Пришли они в зимний день – снегопад начался, – выругались, заявили кратко:

– Выметайсь!

И она ушла, в чем была. А Павел Сильч все куда-то ездил, его и отправили на новую квартиру.

«О господи, когда же ты ниспошлешь огонь небесный на грабителей! К Польке, что ли, зайти?» Она сворачивает в боковую улочку. На углу двухэтажный дом зятя – тяжелый, каменный, длинный. А теперь вывески: «Райсоюз», «Райсберкасса», «Госбанк».

Прошла. Вот и домик во дворе. Только хотела взяться, щеколда звякнула, распахнулась калитка, шагнул высокий, голову подогнул, чтобы не задеть буденовкой за перекладину, в шинели.

Лариониха попятилась. «У-у, нечистый дух!» И сказала ласково:

– Здравствуйте, товарищ Боков!

Тот буркнул, не оборачиваясь:

– Здравствуй!

И зашагал, высокий, ровная спина, военной выправки.

– Зараз твоего квартиранта встретила, – сказала Лариониха и никак не отдышится.

– Это вы, тетя? – веселый голосок из другой комнаты.

Потом в растворе двери золотая, кудрявая от щипцов головка и смеющиеся серые глаза под золотисто изогнутыми ресницами. Чер-

ные брови тонко подведены.

– Я чево тебе давно все хочу сказать, – усаживалась на скамейку Лариониха, и все никак не отдышится.

Поля жила в крохотной кухоньке, чисто вымытой, выбеленной. На полке ярко отчищенные алюминиевые кастрюли, сковородки, граненые стаканы, рюмки и все на хрустальных ножках, – что успела спрятать, когда национализировали после бегства мужа дом. Все время дрался с красными. Наверное, пробирался к ней, и убили. Вышла шестнадцати лет. Прошло уже восемь. Томилась, плакала, а теперь прошлое потускнело, ушло, хочется жить, хочется любить. Идет, а время уносится, как телеграфные столбы мимо поезда. Оттого-то она так раздражающе хохочет, сверкает влажная, манящая улыбка, смеются глаза. А иногда упадет в подушку, поплачет.

– Здравствуйте, тетечка!

Поля поцеловала тетку в бледно-дряблую щеку.

– Тебе, Поля, замуж надо выходить.

Поля блеснула глазами.

– За кого?

– Ну, мало ли! Вот хоть бы квартирант твоя.

– Это Боков-то!

Она вытянула губы трубочкой под самый нос.

– Ну да!

Поля закрутила золотой головкой, и подвижные кольца резво запрыгали.

– А ты чего ждешь? Опять офицера?

– Нет, я уже не жду, – их нету.

– Ну, то-то! А этот – полнокровный из себя.

– Нет.

– Да тебе какого рожна?

Поля засмеялась.

– Рыжий.

– Тьфу, дура! Тебе с рыжины не воду пить. Вот так весь век заботиться о ней – и никакой благодарности.

– Много вы назаботились обо мне.

– Да кто тебе приданое дал? Кто дом вам справил?

– Дом мужнин был.

– А капитальный ремонт?

– А сколько дядя процентов драл с нас?

– Вот дура-то, прости господи! Вот отступ-

люсь от тебя, одна на всем свете останешься. Кто тебя обувал, одевал? Кто в гимназии учил? Вот тебе мать божья, брошу и заходить не буду.

Поля обняла ее и поцеловала.

– Тетечка, ну не сердитесь. Он же – мужик. Из Красной Армии только что пришел.

– Да теперь из мужиков же и правители.

– ...да и не смотрит на меня.

– От тебя зависит.

## **На машине**

Иссохшая степь опаленно летела навстречу по обеим сторонам. Машину с железным скрипом расхлябанно шатало, подкидывало, и семеро партийцев, как вареные раки, то и дело валились в тесноте друг на друга, обжигаясь о деревянную обводку кузова. А степь неслась, и за колесами бурными взрывами рвалась горячая пыль.

Только шофер прочно сидел, как припаянный к рулю, да мальчик, плотно прижавшийся между коленями отца, поставил локотки на эти колени и, подпирая голову, ловил серыми глазами уносящуюся степь и угрожающе проносящиеся у самых колес красно рази-

нутые, истрескавшиеся глинистые овраги.

Дальние увалы просторными громадами надвигались из синевы, и машина с усилием вкатывалась на их иссохшие спины, меняя гремучий голос на замедленный низкий рокот напряженного усилия.

В горячем мутно-белесом небе плавают кругами рыжие с подпалинами коршуны. Через минуту уже далеко назад плавают точки.

– Заяц – скок, скок... и волк скок... – слышен сквозь несущийся рокот голосок мальчика, как будто он с кем-то разговаривает, – заяц скок, скок, а волк – скок, и все ближе и ближе.

– Сволочи!.. И машину угробишь...

Шофер зло вывернул руль, машину кинуло, и опять всех повалило.

– Да ты легче, товарищ.

– Легче! Не видишь, товарищ, с дорогой что сделали? Сквозь перепажана.

А серые глаза без усталости ловят несущуюся навстречу степь, и сквозь рокот машины голосок:

– ...а заяц – скок, скок, а волк – скок, и все ближе и ближе. А заяц уши положил на спи-

ну, ка-ак скакнет пять раз, а волк – хам! А заяц – ви-и-и!!

В несшейся машине, заглушая ее рокот, пронзительно раздалось заячье верещанье.

– Ты чево? – спросил Дубоногов, расправляя затекшие колени.

Все ласково посмотрели на мальчика, засмеялись.

Мальчик конфузливо тыкался в колени отца, ища, куда бы спрятать загоревшиеся уши.

– Тебе неловко сидеть?

– Нет, ловко, папа.

Машина говорливо подкидывала и стучала ослабевшими рессорами. Каждый опять занялся своим.

Дубоногов думал тяжело и медленно:

«...Кто бы это?.. ловко сеет... то-то народ кособочится... черт их там разберет... а, должно быть, умный мужик... предсельсовета тоже прощупать надо... весь куст обшарить...»

Торчавший на переднем сиденье, как вежа, Кизилев достал из кармана дождевика сплюснутый хлеб и стал кусать. Откусит, и посмотрит на следы зубов, и жует в такт урчанию машины. Прожует, проглотит, играя ка-



дыком, откусит и опять посмотрит на следы. Медленно жевал, поглядывал, качался, как вежа, и думал.

Нет, не думал. Просто жевал кусками, и уносилась кусками степь, и уносилась кусками работа, – хутора, собрания, убеждения, ругань, злобный вой и возможность каждую минуту повалиться на сухую истрескавшуюся землю от пули из-за угла. Кусал, и посматривал, и качался, как вежа.

«Эх, как холостой живу».

А у Лупоглазова свое – без умолку говорит. Все шестеро качаются, наваливаются, давят коленями друг друга, близко смотрят в зрачки, и опять откинет всех на свои сиденья, а он говорит, говорит, говорит. И встречный ветер уносит рокот машины, режет на кусочки его речь.

– ...хо-о! они, брат, едрено дерево... голыми руками их не сцапаешь... сказано, она – буржуазия... буржуазия и есть. Ты не думай... мы боремся за свое, они – за свое. Ты не думай – пушками да пулеметами. Это мы сломили. А она на хитрость идет, буржуазия-то, то-онко!.. Чем воюют?!

И вдруг перемог рокочущий гул машины, вывалил глаза и заорал ртом, полным ветра и горячей пыли:

– Волдырями на заднице!!

«И чего мелет...» Откусил и глянул на следы зубов.

– Во-о, на это самое место...

Лупоглазое, скособочившись неуклюже и держась за обжигающее дерево кузова, хлопнул себя по заду:

– ...на это самое место вздевали... Как тебе сказать... такой вроде кунпол воздушный... из тонкой проволоки с конским волосом...

Кизилев еще откусил, но не посмотрел на зубы, а сказал:

– Так волосатые и ходили?

– Чудак! Под платьем. На заду вздуется, во!!

– Хоть верхом садись, – медленно уронил Дубо-ногов.

– Гы-гы-гы! – на секунду обернулся хохочущим безусым лицом шофер, и машину вертануло в сторону.

Шофер мгновенно выправил, и машина, еще злее зарокотав, понеслась, поминутно подкидывая и виляя. Неумемно врывался в

уши клубящийся рокот и пыль.

– ...заяц – скок, а волк – скок... – шепотом.

Мальчик, опираясь руками об отцовские колени и мотая от качки головой, едва шевелил губами, чтоб не слышали.

– Турнюрами прозывались.

– Стало быть, натурала себе на заду. Вот бы нашим девчатам!.. – блеснул, опять обернувшись на минутку, улыбкой и голым лицом шофер.

– Да ведь все! Без него совестно было показать, как нашему брату без штанов.

Засмеялись. Даже тяжелое лицо Дубоногова чуть двинулось, будто улыбка.

– ...заяц – скок, скок... – едва шевеля губами неслышно в говоре машины.

– Вот вы смеетесь, а почему? То-то, это и есть классовая борьба. Она самая. Ты пойми, для чего, Ды буржуазии надо, хоть лопни, отделить себя от пролетариата, от трудящихся. Вот буржуазки-то наденут кринолин, растробом книзу, и ходят ногами чисто в колоколе... А то перетянутся, бывало, корсетом в рюмочку, чисто оса, глаза на лоб лезут, все нутро у нее всмятку, а сколько болезней наживали –

ведь дышать-то ей нечем. Само собой, пролетарка не может этого, – как ей работать? Вот и отделяется. Вот тебе и два класса.

– Теперь этого не носят, – сказал Кизилев, последний раз глянул на следы зубов и положил весь кусок в рот.

– Чудачина! У них что ж, одно средство? А ты погляди, на каких каблучках ходят. Во!

Он распялил пальцы на четверть.

– Как коза, постукивает.

– Да это и пролетарки по-козиному.

– Вот, вот, вот! Вот это самое и есть: эксплуатация заражает пролетарский класс. Да это, брат, хуже пушек, это – ядовитые газы... Отравляют трудящуюся массу. Каблучки, губы мажут. И пролетарки за ними... Класс отравляет класс...

– Ды. как же, – опять обернулся смеющимся голым лицом шофер, – зачал я целовать девушку, – може, знаешь, за Холодным баракком живут, мельникова дочка, – зачал целовать – ну, самое мыло на губах, аж из души воротит. «Вы бы, говорю, этим мылом лучше голову себе побанили». Обиделась.

Машина воспользовалась, хитро занеслась

на пашню, стала подкидывать. У всех замотались головы, нутро стало отрывать.

– Да ты... ччерт!! – зарычал Дубоногов, крепко держа мальчика.

Шофер злобно дал полный газ, машина бешено понеслась в разлегшуюся верст на десять низину. А буйно рвавшийся в лицо, в рот, в нос ветер доносил:

– Ды какие это машины, одры, а не машины – так из ремонту не вылазют. Такие, что ли, райкому машины нужны? Работа и день и ночь, без отдыху без сроку. А перегружают! Вместо пяти человек – восемь, оси лопаются. Это что же, правильно? А ты, товарищ, еще претензию сказываешь.

Все молча мотались из стороны в сторону с крохотно прищуренными глазками от бешено рвавшегося в лицо ветра, солнца, и встречные, подхватываемые на ходу радужные кузнечики больно секли кожу.

«Угробит, дьявол!..»

В широко разлегшейся балке засинело.

На деревянной церковке алел флаг. Колокольня куцая – без креста.

**Игры мальчиков**

На селе привыкли к машинам. Вылетит со степи с крутящимся сзади хвостом, гукнет, завернет за угол и понесется мимо куреней по широкой улице, разгоняя кур, визжащих поросят. Быки, лошади уже не боятся, идут спокойно, пыля ногами. Коровы, не глядя на проносящуюся, медленно жуют жвачку.

Ребятишки с хворостинами несутся, мгновенно пропадая в глотающем сером вихре, и оттуда доносится, быстро удаляясь:

– Мунька-а!.. Иди-и игра-ать...

Мальчик, не шевелясь между коленями отца, лишь поведет серыми глазами, и опять смотрит на несущиеся мимо курени, запыленные сады, плетни, жердевые ворота, кланяющиеся журавли над колодцами.

Машина подлетает к въезжей. Отец крепко держит мальчика за руку, как будто боится, что убежит, и они поднимаются по скрипуче-рассохшемуся, расшатанному крыльцу. Собаки нет во дворе. И под навесом пусто – корова в колхозе.

В рассохшихся сенцах хозяйка, полнотелая, благообразная, лет сорока пяти (муж был в красных партизанах – убит; дети разошлись

по свету), руки под передником, приветливо кланяется.

– Доброго здоровья, пожалуйста, пожалуйста... Наморились на жаре небось. Пожалуйста.

– Здравствуй, Ниловна. Ну, как у тебя тут?

– Да ничего, покада живы. В церковку бы в воскресенье почтить, да сам знаешь, закрыли... дьякон сбежал.

Мальчик внимательными серыми глазами смотрит на нее.

– Ну, ты моего товарища, – каменное лицо тронулось подобием улыбки, – товарища моего привета. Он – голодный.

– Я – не голодный, – вынул свою руку из руки отца и глотает слюну.

– Ну, пойдём, пойдём, чадушко, молочка тебе дам, ноне из колхоза дали, картошечек испеку, – и хотела погладить по голове.

Мальчик отстранился, выставив к ней плечо, заложил обе руки в карманы, стал смотреть в оконце, все в радужных цветах, и опять незаметно глотнул набегающую слюну.

Не успело еще солнце перевалить за дальние вербы, еще дышала степь сухим, тонко пронизанным пылью жаром, еще млели су-

хие сады и трепетно мерцали в знойном мареве дальние очертания иссохших курганов, а ребяташки табунком, человек в пятнадцать, оголтело мотались по селу, по садам, по балке. Пробирались в тернах, оставляя на шипах клочья рубах и штанов, изодранные, в кровавых царапинах.

Как ни странно, коноводом у них – девятилетний Мунька. Когда родился, отец с матерью долго обсуждали, как назвать. Назвали Коммунар, или Мунька. Коммунар Евгеньевич Дубоногов. А ведь среди ребят и десяти- и одиннадцатилетние есть.

Теперь ребяташки встречали шумно-радостно:

– Мунька, иди до нас!

А в первый раз, когда он приехал с отцом, ребяташки сразу враждебно окружили его и, надсаживаясь, кричали:

– Коммунал, хвост кусал... коммунал, хвост кусал... коммунал...

Мальчик стоял среди беснующихся ребяташек, сбывчившись, руки в карманах, не шевелился.

– Коммунал хвост...



Верткий, сухой и тягучий восьмилетний Пимка, с вылезшими из губ, которые он не мог закрывать, зубами, и от этого всегда будто смеялся, даже когда спал, подлетел сзади и ловко дернул за мучительный пискун-волос на затылке. Муник вскрикнул, вырвал руки из кармана и бросился. С вылезшими зубами отскочил, а уже десяток рук дергали сзади за волосы, за уши, за рубашку, дергали за шею, скручивая пальцами кожу.

Слезы проступили, и Муник вертелся, как волчонок, и все не мог никого поймать.

А в стороне стоял, держась пальцами за пояс штанишек, одиннадцатилетний вихрастый Ипатка. Вожак. Он стоял и скороговоркой командовал:

– Так, так, так ево... За волосья! За волосья! За уши...

Приседал на корточки, заглядывал споднизу и со стороны:

– Так, так, так ево... туды ево... за уши... за уши... подножку... узы, узы, узы ево!.. подножку... – и пересыпал самой отборной руганью.

Тогда Мунька, задохнувшись, на секунду приостановился среди визга, улюлюканья,

смеха, и голова моталась во все стороны от дерганья, щипков, подзатылин. Да улучил минуту, поймал-таки на кулак.

Раз приехал к отцу товарищ из родного города – уполномоченный. Весь вечер рассказывал отцу, что делается в городе, и серые детские глаза не отрывались от его губ. Рассказал: приезжали в цирк из-за границы боксеры. Дрались. И не как наши: размахнется на аршин, – а били споднизу в челюсть.

Гость ушел, а мальчик поставил подушку ребром на стуле и бил споднизу в челюсть, пока отец не прогнал спать.

Теперь пригодилось. С перекошенным от злости, боли, бессилия лицом, плохо разбирая заплывшими от слез глазами, ударил кулаком восьмилетнего Пахомку. Да не попал в челюсть, – кулак ударился в горло. К удивлению, Пахомка плюхнулся назад, и иссохшая земля глухо стукнулась о затылок.

Пахомка заревел и побежал во двор.

Тогда вступился Вихрастый, и Муник брякнулся. Вскочил и опять полетел на землю. А кругом крик, свист, улюлюканье, восторженная матерная брань.

Муник вскочил и, несмотря на сыпавшиеся по лицу, по спине, по голове удары, с визгом кинулся, схватился за затрещавшую Ипаткину рубаху, ничего не видя заливаемыми слезами и бежавшей из носа кровью глазами, приник к Ипаткину плечу и, мгновенно прервав визг, запустил по самые десна зубы. Во рту засолонело и наполнилось теплым.

Тогда завизжал Вихрастый, стараясь отдрать вцепившиеся в плечо зубы. Он отчаянно кричал, из глаз катились слезы, извивался, упал и ногами старался отбиться. Мальчишки рвали Муньку, тянули за уши, за ноги, за волосы, сорвали рубашонку, штанишки, и он, голый, извивался на Ипатке, въедаясь зубами, с закатившимися белками, урчал, как звереныш, и пальцы судорожно сжимались, разжимались. Ребятишки, в испуге крича, побежали за матерями.

Прибежали мужики. Едва расцепили челюсти. Ипатку в окровавленных лохмотьях повели домой. Муньку, окровавленного, в ссадинах, синяках, кровоподтеках, понесли к Ниловне. Она его выхаживала.

Вечером вошел отец. Ниловна ему расска-

зала. Отец постоял около лавки, на которой лежал Мунька с завязанной головой, уронил:

– Вот так коммунар!

Мунька радостно повел на него серыми глазами, хотел сказать:

«Я его, папа, боксом...» – да не сказал.

С этих пор завязался узелок ребячьей вражды, а с отцом узелок дружбы.

К Муньке боялись подходить, но где бы они ни появлялся, из-за плетней, от ворот, из-за углов летели камни, комья ссохшейся глины, навоза. Мунька отвечал тем же. И Мунька и ребята все время напряженно ходили, оглядываясь.

Пришел и этому конец. Ловко пущенный камень рассек Муньке ухо и, отскочив, разбил в избе стекло. Выскочили бабы, мужики, поймали ребят, жестоко отодрали за вспухшие уши, отвели к отцам. Те пороли нещадно, – стекла-то надо вставлять, а они на вес золота.

С тех пор Мунька, как только замечал враждебную за плетнем рубашонку, бежал к ближайшей избе и становился у окна. Ни один камень не летел в него.

Один раз встретил Ипатку (зажило плечо), протянул кусочек сахара:

– На!..

Тот с хрустом разгрыз и сказал:

– Давай играть.

Мунька стал коновод, – его слушались.

Каждый раз, как приезжал, привозил несколько кусочков сахара и раздавал в строгой очереди.

Один сахар в жоаки не поставил бы. Надо было стать ребячьим организатором. И Мунник стал.

Набеги на огороды, сады, выливание в степи сусликов водой, охота на голубей на колокольне, тасканье яиц из курятников – всему этому Мунька был зачинателем.

Зной. Недвижимы сады, курени, вербы, пустынные улицы, изнеможенная степь.

В балке чуть посверкивает тоненькая, поминутно пропадающая между галькой речушка. Куры осторожно ступают по камешкам и, запрокинув голову, пьют.

Мунник, голый, стоя на коленях, торопливо роет в речонке ямку. Ребятишки, глядя на

него, делают то же, и от солнца и ветра кожа у них как дубленая, а черные ноги как в сапогах.

Медленно ямки наполняются водой. Ребятишки ложатся каждый в свою. И лежат часами, как поросята. Пахнет застоялой тиной, размокшим навозом. Прилетают голуби пить. В высоком, побелевшем от зноя небе ни облачка.

– Ипатка, чево у тебе черный зад и спина?

Ипатка сплевывает и лениво переваливается в теплой мутной воде, поглаживая закинутой рукой пониже спины. Потом, роняя поганую ругань, говорит:

– Батя порол... растуды его!..

– За што?

– Ды надевал я хомут на мерина, а мерин все головой мотает: муха, никак не надену; я пужанул его матерно, а батя услышал и зачал драть: «Ты, говорит, тудыть тебе, неподобные слова говоришь, колхоз постановление исделал, штоб на улице не конфузили срамным словом, а ты, распротак тебе, на базу произносишь», – и отпорол.

Помолчали. Было неподвижно. Только

зной ослепительно дробился в воде между камешками. Прилетели голуби. Стали пить, запрокидывая сизые головки.

– А вот у нас в училище никогда таким словом не заворачивают, – вставил Пахомка.

– Ффу! Ды у вас учительша баба, – закричал Ипатка.

– Да-а, баба, – покрывая его, так закричал зубатый Пимка, что куры подняли головы и закокали, а голуби взлетели, – а моя мамка, как корова попадет ногой в подойник, во за-вернет.

Мунька неподвижно лежал в теплой до одури, мутной воде, молчал, поглядывая на ребятишек, и не знал, как вступить в разговор. Что-то поганое и стыдное было в этих словах, и никогда он их не слышал от отца, матери, товарищей отца, но на улице в городе они нередко висли и постоянно в деревне. Он молчал, побалтывая воду. Нечего было делать. Тоненько звенел зной.

– Ишь – ястреб.

– Я-ястреб! – задорно, точно его кровно обидели, закричал зубатый. – Коршун!

Все задрали головы и посмотрели на осле-

пительно пустынное небо и одиноко плавающую птицу. И опять лежат, чуть пошевеливая тинистой водой.

– Мамка сказывает, бог на небе.

– Ффу, ды иде он там?

– Ды он лягает.

– А как сесть захочет?

– Хучь бы облака были. Ды куды сесть-то?

Все опять задрали головы на пустынное небо.

– Так он в церкви в алтаре.

– Ффу, ды у нас вся церква пашаницей забита.

– А у нас кину показывают, а замест креста – флаг красный.

– Вот чудно в кине: и вода живая, и люди ходют.

– А у нас радива – всеми голосами, как мы с тобой. Уж мы лазили позадь – нет никого, одна проволока, и воет.

– Энто из Москвы голоса.

– Да ты почем знаешь?

Мальчишки неслись как оголтелые: Мунька летел, задрав голову; Ипатка прыгал боль-



шими мужичьими шагами; зубатый козлом скакал.

Остальные на бегу то появлялись, то пропадали в катящемся облаке пыли.

Остановились около церковной ограды, и рубашонки трепетали от торопливого дыхания.

– Ну, которые комульки, лезь на кирпичи, которые в кулаках – к ограде!

Все, толкая друг друга, полезли на кирпичи, с трудом помещаясь, Ипатка вылупил глаза и заорал:

– Чево ж вы! А в кулаках кто?!

Ребятишки жались друг к другу и не слезали.

– Ну?!

Все топтались на кирпичах.

– Мунька, вали ты в кулаках!

– Не пойду, мой папаня коммунист.

– Ну ты, зубатый черт!

– Ишь ты-ы! – заорал Пахомка, у которого не затворялись зубы. – Я пойду, а батюню станут раскулачивать!

– Иди, тебе говорят, а то измотаю, как цуцика.

Пахомка, давя слезы и не затворяя белых зубов, отбивался:

– Ну, чево-о!.. Ну, не пойду-у... ну, не лезь...

Ипатка было накинулся на других, все отбивались.

– Ипатка, постой! – сказал Мунька. – Ты побудь трошки в кулаках. А кулаки на народе ездют, мы тебе трошки повозим.

Ребятишки заорали, радостно блестя глазами, окружили Ипатку. Тот стоял в нерешительности.

– Ходи в кулаках! Ходи, Ипатка, в кулаках, мы тебе повозим.

Ипатка заухмылялся:

– Ну-к что ж... ну ладно, везите...

С криком, с веселым смехом ребятишки, блестя зубами и глазами, подняли Ипатку, подлезли под него плечами, шеями и, придерживая и подгибаясь, понесли...

Ипатка, ухмыляясь, согнувшись и держась за волосы ребятишек, орал на всю улицу:

– Но, но-о, окаянные!.. И до чего ноне паскудный народ пошел – самая лень...

– Да не тяни ты меня, Ипатка... – тоненько

снизу, – бо-ольно!..

– Но, но, окаянные лежебоки... Нет, чтоб хозяйское добро в заботе, абы только нажраться!..

Высокая, худая, с печальными глазами женщина в рваном, с хворостиной (гнала двух гусей) остановилась.

– У-у, недотепы безвременные! Чем помогать отцам, чаво надумали – таскают жеребца на себе.

– Мы, баунька, кулака тягаем, служим ему!.. – смеясь и весело задыхаясь, прокричали ребятишки.

Женщина, заворачивая хворостиной, погнала гусей дальше.

– Кулаки! Какие ноне кулаки...

Она вытерла тугую слезинку. Всю жизнь только и была одна думушка – сколотить хоть маленькое хозяйство, и всю жизнь – только разваленная изба, ни коровы, ни лошади, старик с грыжей, нажитой на наемках. Дети – которые умирали, которые разбрелись.

Ребятишки с гамом, криком, смехом принесли Ипатку к кирпичам. Поднялся гам:

– И я кулак!

– И я!..

– И я!..

Влезали на плечи друг дружке. Каждый спихивал другого.

Ипатка сказал:

– Ну, теперь Пахомке: он хорошо меня возил.

Пахомка, весело ощерясь неприкрывающимися зубами, радостно полез на ребятишек и, сияя, уселся.

Ипатка мигнул. Ребятишки расступились, и земля охнула под Пахомкиным задом, взбив пыль.

Пахомка сидел на земле, держался одной рукой за зад, другой растирал слезы, наполнившие на незакрываемые зубы, скулил:

– Пойду, ма-амке скажу...

Ипатка заорал:

– Кулак – враг народа, а ты лезешь на шею, короста вшивая!..

## **Ночной дождь**

Мрак надвинулся необыкновенно быстро. Еще за несколько минут в густевших сумерках различалась дорога, рогастые овраги около дороги, съезжившаяся, ставшая маленькой

степь и иссера-клубящиеся смутные громады облаков. А теперь машина осторожно шла в непролазной черноте, с трудом щупая дрожащими огнями дорогу, которую можно было различить только у самых колес.

В набитой товарищами машине кто дремал, мотая головой, кто глядел неотрывно, как слепой, в беспросветную темь, кто думал о своем, не чувствуя ни мрака, ни толчков, хотя мотался, как все.

Мальчик, тепло пригревшийся на коленях отца – он его крепко держал, – видел, будто взбирается на высокую гору, но когда добрался до вершины, – вот-вот ухватится за край, – вдруг отрывался и, мотая головой, летел вниз. И опять взбирается, и снова у самого края, и, стряхнутый, опять летит вниз.

Только шофер один отвечал за всех, один давал себе отчет в обстановке и вел машину в этом мраке, напряженно не упуская поминутно пропадающую и нарождающуюся в скользких отсветах дорогу.

И вдруг произошло то, чего он боялся: мрак зашумел тысячами безветренных шумов, и ночь наполнилась. Все закрикали, за-

хмыкали, заворочались. Стали натягивать на головы кто капюшон от дождевика, кто пальто, – машина была открытая. А мрак по-прежнему густо шумел, и по дороге в потускневшем свете фонарей уже рождались лужи с торпливо лопающимися пузырями.

– Папа, где мы? Я упал с горы?

– Ну-ка, лезь сюда.

Дубоногов растопырил дождевик, и мальчик уютно свернулся клубочком на коленях. Пахло отцовским потом, табаком, дешевым прорезиненным дождевиком. И, улыбаясь уюту, теплу, мальчуган сладко завел веки.

Теперь он перестал лезть на гору и скатываться, а было светло, ярко, радостно. И он ехал на пароходе, как тогда с папой, когда они в первый раз приехали сюда. Светло, радостно, и мама манила его, и вот совсем она близко, и пароход шумит колесами и никак не может доехать к ней. Она манит, смеется. Да вдруг – бух! Пароход развалился, остался от него только шум, холодный и ровный, а за воротник пробрался, пожимая, мокрый холодок.

Голос отца:

– Разоспался? Ну, брат, подымайся.

Отец на минуту открыл его, и дождь торопливо заработал. Отец вылез из машины, быстро накрыл его плащом с головой и посадил себе на широкие плечи.

– Держись!

Мунька заметил – колеса машины загрузили по самые оси, а ноги отца утонули по щиколку.

– Зря идешь! Глянь, что делается.

Отец помолчал. Шумел дождь.

– Простудится тут. Как в кадке сидим. Километров пять до деревни.

И глухо добавил:

– Завтра собрание с утра, опоздаю.

А из темноты уже косо занавешенной машины:

– Разве я мне с вами?

Дубоногов шагнул в темноту и дождь, – за ним никто не шел.

Мунька приятно покачивался и боялся, что отец упадет.

– Папа, а мы не упадем в яму?

Отец качался, шагая и чмокая, вытаскивая ноги.

Никогда Мунька не испытывал такого приятного ощущения. Голова, шея и плечи отца грели; по пахнущему резиной плащу дробно сыпался дождь. За ноги держал отец. Только мокрые коленки холодило, – не беда! Никогда так не было весело. Так бы и завизжал. И он приник к мокрому отцову уху:

– Папа, на верблюдах так ездят?

Отец мерно покачивался, глубоко чмокая сапогами.

– А на слонах, папа?

Косо сыпался дождь, то ослабевая, то усиливаясь. Дубоногов иногда останавливался, щупал ногой, не слезли ли с дороги: кругом в черноте молча ждали девятисаженные обрывы. Текли непроглядные, заполненные секущим шумом минуты, часы, ночь.

– Папа!., а?

Когда прикладывал губы к уху, чувствовал тяжелое даже в шуме дождя дыхание отца. Чтобы облегчить ход отцу, Мунька покачивался в такт его движения. А тот:

– Сиди!

Не то тугой рассвет, не то дождь стал редеть, только слабо обозначился скат, – это к



деревне. Ноги отца скользили, и Муньку встряхивало, а дыхание у отца стало еще шумнее. И вдруг ноги его покатались, – тяжело упал на спину, но, ломая страшное напряжение, так изогнулся, что Мунька, судорожно прижавшийся к голове, не ударился. Отец поднялся и стал боком спускаться, выставя большой сапог и сгребая вал грязи. В черноте пропели петухи.

Отец спустил мальчика на крыльцо, стал стучать железным кольцом. Долго не подавали признаков жизни черные оконца и немые двери. На молчаливом дворе не лаяли собаки, – не было. И хотя по-прежнему косо сек черноту невидимый дождь и никто не подавал признаков жизни, чуялось вокруг в темноте жильё.

Опять постучал кольцом. Послышались бабьи шлепающие шаги. Из-за двери:

– Кто тут?

– Дайте ночлег.

– Да кто такие?

– Уполномоченный из рика.

Зашлепали назад бабьи ноги, и удаляющийся голос:

– Носит вас нечистая сила! Ни днем, ни ночью покою нету.

Потом все стихло. Черны оконца, немые двери.

Мулька от мокроты стал дрожать.

– Папа, нас не пустят?

Одно оконце засветилось. Снова шлепающие шаги. Загремела щеколда. Вошли. Тускло светила жестяная лампочка, и сквозь разбитое закоптелое стекло над ней к потолку бежал тоненько колеблющийся черно-бархатный хвостик.

Дубоногов стал сдирать с мальчика мокрое, прилипшее платье и белье. У обоих вокруг ног натекали лужи.

Хозяйка присела на скамью, подперев локоток.

– Откеда же это вы?

– Из Любибогова барака. На машине.

– Ай загрузли? Ну, да там не вылезешь. С быками, и то застревают. На-ка утирку, ишь трясетя, оботри его.

Хозяйка встала, принесла кафтан, шубу, рядом, постелила на лавке.

Мулька с усилием зевал, одолеваемый

сном.

– Клади его.

Потом принесла корчагу молока, два печеных яйца, хлеба.

Отец положил его, голого, в мягкий, теплый, пахучий тулуп и накрыл кафтаном. Мунька с истомно-несходящей улыбкой, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете, боролся со слипающимися веками, с усилием выговорил:

– Папа, а на собаках?.. – да не договорил, веки одолели.

– Ты бы и сам переоделся, к утру-то подсушилось бы. Вишь, с тебя тикеть.

Дубоногов махнул рукой:

– Э, все равно! До утра уж немного осталось, – скоро собрание.

Вытянулся на лавке, натянул рядно и, чувствуя, как согревается согревающим компрессом мокрое платье, забылся.

## **Хохолок в Орловке**

В других местах района то же.

Сверху если б глянуть, с аэроплана, что ли, так увидал бы: бежит пара, мотая головой и хвостом, и дядя Осип насекает кнутом, стара-

ясь побольнее промеж ног. Тарантасик – в дребезге и звоне расхлябанного железа. За ним вертятся клубы еще не успевшей похолодать сентябрьской пыли, и в дорожной дремоте покачивается хохолок на непокрытой голове. Бежит пара к Орловке.

А туда, за увалом, к Раковке – одноконная подвода, – мальчонок подгоняет кобылу хвостом. Подпрыгивают на дрогах двое уполномоченных.

И к Большому Логу, и к дальней Акуловке, и к потерявшейся в буераках Зайчихе, и к синеющей садами Быковке, и... словом, куда ни глянь, либо на повозке, либо на дрогах, а то и на обратной телеге трясется уполномоченный от райкома, а то и два сразу мотают головами на выбитой дороге.

И все посматривают, – и «эх, как ползут, а время ястребом... И зябь подымать, и мужика с боем на новую жизнь...»

И опять, сощурившись и подпрыгивая на кочках, не отрываются от далеко синеющего степного края.

Так по всему району, так по округу, и по всему краю, и по всей громаде Советского Со-

юза – спешат.

Загорелось над старинной колоннадой тяжелого здания: «XV-й съезд ВКП(б)» – оттого спешат.

В Орловке веселый хохолок спросил:

– Где у вас тут сельсовет?

Мужичок не спеша поднял руку, чтоб указать, а хохолок уже соскочил:

– Знаю, знаю... Ежели стекла выбиты, ставни обвисли, грязь, – стало быть, сельсовет.

И, шагая через черные дыры вывалившихся приступок, поднялся на скособочившееся, скрипучее крыльцо, вошел.

В задымленно-почернелой комнате в тусклых окнах бились поздние мухи. Двое бородатых, держа вместе кiset, насыпали козьи ножки.

– Где тут председатель?

Козьи ножки насыпали и заделывали верх.

– Где, говорю, председатель?

– Председатель-то?

– Ну, да, председатель, а не сивый мерин.

Мужичок помолчал, посапывая волосатым носом, заделывая ножку.

– Ды тута.

Хохолок нервно отворил дверь. За столом сидел человек в косоворотке и огромными черными ногтями выдавливал у себя на лице угри.

– Где тут председатель?

– Мы председатели, – и во всю пасть зевнул, за ушами захрустело.

– Что ты за крокодил?! – заорал хохолок.

Через минуту десятский трусцой от окна к окну постукивал посошком:

– Граждане, сею секунд на собрание! Секретарь районному комитету приехамши. Серчает.

Мужички привыкли, уже знали порядок:

«Собрание открыто, повестка, изменения и дополнения, возражений нет? Принято».

Президиум как всегда.

И хохолок, отделавшись от формальностей, прямо приступил:

– Ну, товарищи, давайте дело делать.

С тех пор как к нему приходили те, у которых была «неуправка со счетами», теплая дружеская нить невидимо протянулась у него к мужикам. И с каждой его поездкой в деревню

она становилась гибче и неразрывнее...

Все сидят и глядят на президиум, на секретаря, разнообразно и плохо одетые.

– Да ведь тракторы вам будет слать советская власть.

Шершавый мужичонка, с корявой бородашкой, удивленно приподнял и опустил кустистые брови, пробубнил на первой скамье:

– Ну дык што ж...

– Сеялки, молотилки...

– Ну дык што ж...

– Свиной вам накупили, да каких!

Из зала:

– Свиньи цуцкие.

А шершавый:

– Ну дык што ж, – мне, што ль?

Секретарь перегнулся со стула и поманил пальцем. Мужичонка влез в президиум, покорно сел и больше не бубнил. Все посмеивались.

– Так вот, граждане, записывайтесь в колхоз, для вашего же благополучия.

Тяжелая минута молчания, потом заговорили вразнобой:

– Ну-к што ж, можно и записаться...

– Ежели все запишутся, можно и нам записаться.

– Как все, так и мы...

– Наша защита какая: во, бери нас да хлебай с кашей.

– Знамо, не выкрутишься – ни животины, ни Семенов, все в раззоре.

– А как выйдет на то, – хуже будет.

– Как промахнешься, а всюю жизнь страдать, и детям нашим, и внукам.

– Кабы заглянул в предбудущее...

– Ежели б пошшупать, што из етова выйдет...

Лица бессильно раскраснелись, волосы взмокли. Мужики скреблись.

– Да вам чего за всех цепляться. Каждый за себя должен отвечать, у каждого – свой разум.

– Да чего вам щупать, – советская власть вам худа не пожелает.

– Мы советской властью много довольны, – мать родная.

И голос одинокий:

– Кому мать, кому и мачеха.

Поплыло молчание. Хохолок воззрился:

– Это кто? Кто это сказал?!



Мужики невинно оглядывались во все стороны, с усилием подымали вспотевшие брови, стали закуривать.

– Товарищи, вы контрреволюцию кулацкую не покрывайте. Эти гады-кулаки только об одном и думают – как бы напакостить советской власти. Вы должны указать сейчас этого пакостника.

– Ды как его укажешь, – миру-то, аж стены распирает. Вишь, не поместились, за окнами стоят. Може, кто и сронил неподобное и убёг.

– Вы тут всех насквозь знаете. И по голосу знаете, должны указать.

– Ды у нас уши не на спине, а кпереди растут, на тебе прямо.

Хохолок вспылел, уши покраснели, да взял себя в руки.

И сказал мирно:

– Почему здесь женщин нет?

Собрание развязалось, мужики колыхнулись.

– А на кой они?

– Заголгочуть, ничего не слышать будет.

– Она, баба, безвременная, никакого начальства не почитает, одно – в три горла.

И тонкий фальцет, точно востряком выско-  
чившая белая обчищенная жердина:

– Ды тутотка всея наша жисть решается, а  
бабы гамузом попрут. Може, нам всем и с  
детьми погибель идет. Тут не до баб.

– Ну так записывайтесь, которые в колхоз.  
Мужички бессловесно, не то покорно, не  
то с облегчением стали подходить к столу и  
записываться.

«...пять... девять... пятнадцать... – считал  
хохол, – ...сорок три... сорок семь...»

Человек пять, пригнувшись, шмыгнули за  
спинами в дверь. Двое вылезли в окно. На  
них прицыкнули:

– Куды?! Раму вынесете...

Другие заступились:

– Нехай! може, людям приспичило. Тут,  
брат, кровью прикипело, с кровью приходит-  
ся отдирать.

Хохолок был доволен: из трехсот хозяйств  
сто сорок два вступили в колхоз. Взял каран-  
дашик, – сорок с лишним процентов.

«На первый раз неплохо – почти половина.  
В следующий раз приеду – легче пойдет».

Хохолок уехал. В сельсовете день и ночь

толклись мужики: одни приходили, вычеркивали себя из колхозного списка, другие записывались, третьи расспрашивали и горестно смотрели всем в рот.

А в это время точно так же начинали в Орловке – сорок километров от городка. Точно так же:

– ...собрание открытым... повестка... нет возражений?.. Принято...

С той только разницей, что крестьянство собралось не в школе – уж очень много народу было, – а на улице, благо солнышко осеннее было ласково.

## **Дубоногов ищет воров**

Он торопливо, по-паучиному, длинными лапами перебирал в мыслях колхозников, их лица, выражение глаз.

Шел в темноте около дороги, нагнув бычью шею, присматриваясь.

«Черт!.. с какого конца его ухватить?! Ведь где-то есть кончик... Только б ухватить, там разматается...»

Сквозь темноту выступили тревожно-расширенные глаза жены: «...ты не растешь,

Еня...» – и оголенные руки прикрыли грудь.

«Чудно! Как они ухитряются и когда?.. На баржах поступает столько же, сколько на ссыпки, а воруют, где?!»

И лицо жены: «Партиец должен расти во всякой обстановке...»

Он шел спокойно, чернея среди черноты, под ногами шершаво-сухой полынок.

Молчание.

«...глупости... объективные обстоятельства... чепуха!.. тоже из шкуры объективной не вылезешь, как ни вертись, хоть лопни... „Правду“ по десять, по пятнадцать дней не видишь... Кампания за кампанией... Растить!..»

А она опять на секунду глянула расширенными зрачками.

Остановился, нагнул голову, как бык, прислушался: молчание чернеющей степи нарушено.

Где-то впереди глухо и слепо постукивали втулки колес, поскрипывали дроги, быки сопели – по шестьдесят пудов наваливали на воз.

Прибавил шагу:

«Неужто наши?!..»

По дороге зачернелось.

«Больно тихо едут что-то... Наши и есть. Стали!..»

Он присел на корточки, как бывало на фронте, на разведке. В темноте воз казался горой. Говорок крутился:

– Бери за уши...

– Наваливай.

Дубоногов вглядывался понизу, где темно разделялись степь и ночь.

От воза отделилась черная уродина, – вместо головы тяжелый сгусток черноты. Поплыл от воза, потонул в темноте. Через минуту в глубине земли мягко и глухо ухнуло. К возу подбежала чернеющая, уже без уродины фигура. Снова заходили, постукивая, втулки, заскрипели дрожины. Потом медленно потонуло. Молчание и ночь.

«Гады!..» Скверно выругался.

Сделал несколько шагов, судорожно отшатнулся: нога болтнулась в воздухе. Даже среди степной тьмы густо чернела налитая до краев чернота. Если бы не успел отдернуть ногу, так же бы глухо плюхнулся там вниз, как тот мешок.

Лег на край, спустил голову и, придавив дыхание, тонко вслушался: внизу по дну невидимого оврага все дальше и дальше, замирая, хруст, хрящ под тяжелыми шагами и придушенный говорок.

Поднялся, зашагал назад в колхоз. Ноздри раздувались. Сжатый кулак, как булыжник, оттягивал руку. Если бы попался сейчас тот, что, согнувшись под мешком, уходит по дну оврага, ахнул бы, тот ипикнуть бы не успел.

А в колхозе все то же: на шесте скудный фонарь. На треноге весы покачиваются. Кругом в неизжитой еще ночи чуть тронутые красноватым отсветом фонаря смутные избы, деревья. Колхозники с кряком, сгибаясь, хватают за уши мешки, скидывают на закачавшуюся доску весов. Весовщик торопливо придерживает стрелку.

– Хватит!

И, не теряя секунды, дюжие руки с другой стороны хватают за уши, и мешок на спине быстро едет, и заскрипят, чуть подавшись, дроги под пятипудовиком. Или развязывают, из мешка течет золотой ручей в короб, смахивающий на тесаный гроб. И все новые и но-

вые мешки ползут на согнутых, вспотевших спинах на весы, с весов на подводы, – день и ночь, ночь и день, вот уже трое суток.

Трое суток без сна. Набрякшими говяжьими глазами враждебно смотрит Дубоногов на эту напряженную, точную, отчетливую работу, – конвейер. А разве положишься на них? Вот зажаты, никуда не вильнешь – и отличная, на совесть работа, точный, четкий конвейер. А чуть ослабло, чуть отвернулся, глядь... В ушах отчетливо выплыло постукивание втулок.

## **Ребятишки и тени**

– Батя, мерина зараз в колхоз везь, али на ток поедешь? – спросил Ипатка, держа за недоуздок мерина, дремотно распутившего поддрагивающую губу, – по ней ползали черные мухи.

Отец, сидя верхом на бревне, чинил колхозный хомут и сказал раздумчиво:

– Ды и сам не знаю, – задумчиво приправляя поганым ругательством и сам не замечая этого, – чи ехать, чи хомут надоть дочинить... растуды ево...

Ипатка постоял. Гомозились в застрехах

воробьи. Влетали и вылетали из-под навеса с чиликаньем ласточки.

Ипатка сказал сдержанно:

– Батя, а колхоз поставил не выражаться выражениями... А мы поставили бить про-  
меж себя каждого, хто...

– Што-о?!.

Он изумленно воззрился на Ипатку.

– ...тты... учить?.. отца учить!! – и поднялся.

У Ипатки зашевелились уши.

– ... ды... батя... ды я...

Отец выдернул вожжи и со всего маху вытянул Ипатку. Тот пошатнулся: густо вздувшийся темно-синий жгут опоясал лоб, голову, спину. Опять размахнулся, да Ипатка нырнул под лошадиное брюхо, выскочил, перемахнул плетень.

– Ну, придешь... постой... я тебе... – у него трясся подбородок...

Но Ипатка не пришел ни в эту ночь, ни в другую, ни в третью. Началась страшно интересная жизнь.

Ребятишки сидели, как заговорщики, в шепелящей тени левады... Пахомка выклады-



вал на землю вареные початки. Зубатый – два яйца, краюху хлеба. Муник осторожно ссыпал из подола рубашонки на лопух пшеничную кашу. Ребятишки продовольствовали Ипатку. Уж восьмой день он не являлся домой. Мать плакала. Отец матюкался.

Ребятишки таскали у матерей яйца, хлеб, кашу. Мунька приносил весь сахар, который привозил ему отец. Была веселая, интересная, немножко таинственная жизнь. Целый день носились по хутору, по степи, лазили по буеракам, выливали сусликов. Но куда бы ни собирались, всегда высылали вперед дозор. Разведчики ящерицами ползли по-за плетнями, взбирались на вербы, прикармливали собак, чтоб не брехали. Когда устанавливали безопасность, неслись стайкой.

Ночь располагалась на ночлег в степи. На краю в далекой темноте узенько дотлевал закат.

– Ребята, айда на дальний ток.

– Кабы бати не было там...

– Не-е! Марьяшка-соседка сказывала – хлеб повез на сдачу.

Ребятишки понеслись. Выскочили из села.

На изволок потянулось множество наезженных, мягких теплой пылью дорог и скотинячьих тропок, бесчисленно пропадающих в темноте. Торопливые ноги взбивали пыль, потом весело побежали по жнивью, приседая, размахивая руками, сгибаясь, прыгая, – колко.

Да вдруг остановились, и дрожащий голос неожиданно:

– Я боюсь!..

В стене мрака стояла озаренная заревом, пыльная громада, и на зареве, как на экране, уходя головами в черное небо, ходили несказанного роста черные плоские люди. Они нагибались, что-то брали, подымали вверх, шагали громадными нечеловеческими шагами.

Стало страшно. Все сбились, прижимаясь. И все, ни на секунду не переставая, огромные, выше скирдов и, что было особенно страшно, совершенно плоские, черные люди ходили, сгибались, подымали что-то в руках.

Ребятишки давно бы унеслись в село, да из-за зарева – тяжелое, ни на секунду не падающее бормотанье молотилки, такое знакомое и мирное.

Мунька, не чувствуя боли, впился ногтями

себе в руку. Да вдруг завизжал радостно порослячьим голосом:

– Это... это... мама мне читала... это – электричество... мама мне читала... в горах солнце светит, а... а на тумане тени от людей громадные... а тут электричество светит, а пыль от молотилки как туман, а на ней – тени громадные...

– Верно! – заорали ребятишки. – Вон это дядя Ферапонт, ишь волосья копной. А это Мотька, платок хвостами мотается.

Ребятишки весело понеслись. Эти страшные тени, плоские, но живые, были свои, родные, деревенские, только здоровенные.

Молотилка в гуле, дрожа и шатаясь, ненасытно пожирала запихиваемые в ее пасть Ферапонтом тяжелые пласты соломы с зерном, – и голова Ферапонта копной. И на Мотьке ушастый треплется хвостами платок. На вилах без перерыва, без отдыха подают пласты, а девки, понукая, почти рысью гоняют быков, подвозят все новые и новые громады хлеба. Парни, исходя потом, вскидывают его наверх.

Гудит и шлепает грозным шлепаньем несущийся громадный, не меньше тридцати

метров, ремень. Трясется и гонит его двигатель, пожирая нефть. Бешеная пыль рвется из молотилки: рот, горло, нос, глаза – все едко забито. Душит кашель, нестерпимый чих. Девки по самые глаза обвязаны платками, да все равно задыхаются.

И никто не видит, какая громада бархатного мрака обступила с боков, налегла сверху. Моргая от неровной работы ревущего нефтяного двигателя, стосвечка с нечеловеческим напряжением приподымает густой мрак упругим озарением, и рвущиеся в поту, задыхающиеся в пыли люди видят только: золотой льется ручей пшеницы в подставляемые и носимые чередой мешки.

Подбежали к бригадиру. Он, как командир, коротко распоряжался.

– Дяденька Фетис, дай, мы будем работать.

Он глянул запыленными глазами с серо-насевшей на бровях, ресницах мякиной, быстро прокричал:

– Становись... возите мякину... да не баловать!..

Ребятишки кинулись.

– Михаила, дай им, пуцай возють, а то на

скирд не успевают подавать. А ты, Мотька, ступай мешки подавай к рукаву – зарьяли девки-то.

Обжираясь тяжелыми пластами, трясется молотилка в гуле, в вихре. Рвется из нее серыми взрывами мякинная пыль, и люди все рвутся, как в тумане. И все заглушает скрежещущий рев нефтяного двигателя да смертельно грозное шлепанье чудовищно несущегося ремня. И всю степь покрывает неоглядный мрак, приподнятый на току напряженным озарением.

Ребятишки радостно гоняют лошадь от молотилки к высоко насыпанному мякинному кургану. Лошадь, влегая, тащит двумя расходящимися от хомута веревками длинную, поставленную на ребро доску, а она, сгребая, тащит по земле высокую гору изжеванной молотилкой соломы, и опять торопливо и весело волочит назад пустую доску.

Пахомка, белея незакрывающимися зубами, прокричал, одолевая рев двигателя:

– Теперя, хто в степе, ужахнется: мы агромадные тут ходим.

Уже серые ребятишки стали, а веки, ресни-

цы – пушистые от мякины. И все стоял колеблющийся рев двигателя, наполняя громаду озаренной пыли.

Вдруг Ипатка бросил лошадь и кинулся бежать. Топая рваными опорками, тяжело гнался за ним отец, волоча веревочные вожжи.

Ипатка путлял по току между скирдами, молотилкой, ревушим двигателем и, когда его нагонял отец, кидался под грозно несшийся, огромными губами шлепающий ремень, и ветер смерти трепал волосы. Ящерицей переползал на брюхе, а отец бежал кругом двигателя:

– Я тте!.. я тте!!.

Ребятишки летели, окружая отца, мешая ему бежать, и истошно орали:

– Не бей!.. Нельзя... убьеть... караул!..

Внезапно перестала шататься, смолкла молотилка. Перестал шлепать губами, обвис тяжелый ремень. Оборвал скрежещущий рев двигатель, и от него молча несло раскаленной гарью. В наступившем молчании померкло: беспредельная ночь надвинулась со степи, все поглотила. И такая же беспредельная почувствовалась людская усталость.

Тогда с замолчавшей молотилки, со скирдов, от мешков посыпались девки, парни, мужики и стали в черноте гонять Ипатку. Сквозь гогот, смех, взвизгивания девок мелькали желтые огоньки «летучей мыши».

– Дяржи, дяржи ево!.. Оттеда, оттеда забирай... гони к молотилке... к молотилке гони... перехватывай...

Бригадир кричал заветренным голосом:

– Какая сатана остановила движок! Это еще что за мода!..

Ребятишки бегали между взрослыми, кидались под ноги, истошно орали.

Ипатка, с оскаленными по-звериному зубами, бросался из стороны в сторону в темноте, а кругом гоготали, свистели, топотали.

– По местам! – орал бригадир.

Машинист побежал к двигателю. И двигатель опять заревел, зашатался. Опять вспыхнула стосвечка, померкли, ненужно желтея, «летучие мыши». Опять встали, бросая тени, скирды, горы обмолоченной соломы, а ночь приподнялась и расступилась над током.

Ипатка рвался из железных рук хохочу-

щих людей. Потом стоял неподвижно, с искаженным лицом. По лицам ребятишек ползли слезы.

Подходил медленно отец, взвешивая тяжелый, туго свитый жгут.

– Ну, сынок, теперя я тебе поучу. Ты мене учил, теперя я тебе поучу.

В потухшем смехе голоса задавили его.

– Не дадим бить...

– Теперя скотину и тую не бьютъ.

– За што бить-то?

– Ды он, дяденька, по-матерному, а Ипатка сказал...

– Э-э, это не модель... Иди, Федор, иди, лезь на скирду.

Федор швырнул жгут и пошел.

– Растуды вас всех!..

– Ты это чево же? Забыл постановление об-чего собрания: за курево на току и выражени-ями хто будет выражаться – штраф трешка, – сердито прокричал бригадир.

– Да всех вас... – выругался и полез на скирд.

Бригадир писал штраф.

Молотилка тряслась всеми суставами. Ре-



мень бешено неся, грозно шлепая оттопыренными краями. Двигатель ревел. Поднялся опять свод озаренной пыли, и по нему двигались несказанные тени. Люди, задыхаясь, рвались в работе.

Ребятишки с счастливыми, пестрыми от пыльных потеков лицами, понукая лошадь, тащили ехавшей ребром по земле доской громадные кучи отработанной соломы, поддерживая со всех сторон вилами, чтоб не развалилась.

Кругом лежала беспредельная ночь, и лишь слабо маячили далекие отсветы других токов.

Дни, налитые зноем, ползли через степь, через село, через речушку. И зной сам стал наливаться скукой.

– Пойду к батю, – сказал Ипатка с померкшими глазами.

– Нне ходи!.. Убьетъ.

– Пойду.

Ребятишки сидели на цыпочках рядком вдоль плетня и глядели в дырочки между прутьями.

Ипатка стоял во дворе перед отцом, опустив померкшую голову.

– Батя, може каурова напоить, – он уж сухой.

Ребятишки видели, как дядя Федор молча посмотрел на Ипатку неговорящими глазами и стал собирать на руку вожжи. Шагнул к плетневой стенке сарая, повесил на колышек.

– Своди, пора...

Ипатка, с осмыслившимся лицом, схватил мерина за недоуздок, повел.

Ребятишки гурьбой стали отворять скрипучие жердевые ворота.

– Потом запрягешь, отвези на ток трое вил. Скажи, отец из городу привез. Спросють, я в сельсовет.

– Скажу, батя, – крикнул Ипатка засветившимся голосом.

Ребятишки торжественной гурьбой шли кругом мерина.

## **Опять на работу**

Машина, пыркая и оставляя вихрем уносящийся хвост, ворвалась в изрытые колесами, поросшие травой улицы. Проносились одноэтажные, с палисадниками домики. Куры раз-

летались с отчаянным криком, а свиньи не успевали подняться с колен. Пронеслась площадь с огромным котлованом, из которого брали песок на стройки. Пронеслась старая тюрьма с крохотно черневшими из-за громады белой стены оконцами. Теперь знойно краснел флаг – сыпной пункт. Пронеслась новостройка в лесах. Пронеслась облупленная церковь без креста. В разных местах шофер придерживал, и товарищи, как зайцы, выскакивали на ходу.

Не доезжая до квартиры Дубоногова, шофер рванул руль. Машина с скрежещущим визгом занесла зад и замерла во взорвавшемся удушливом облаке. Человек, которого едва не раздавило, перед самой машиной махал кепкой:

– Стой!.. Стой!.. Стой!..

– Ты с ума спятил – под самую машину! Или горите вы тут... – раздраженно сказал Дубоногов, выхаркнув черную лохматку пыли, вытаскивая пальцем пыль из ушей и скрипя тонким песком на зубах.

– В райком, чтоб зараз ехали, – сказал тот, забираясь в машину, уже круто повернувшую

В боковую улицу.

– Что там такое?

– Я ведь к тебе бегал. Секретарь сказал: хоть из-под земли. А там жена твоя...

Дубоногов схватил, железно раздавливая, его плечо, близко глядя в зрачки:

– Приехала?!

– Ды там же... ждет второй д...

Пронзительный визг, и не успевший схватить за ноги Дубоногов видел, как мальчонок мелькнул с шедшей машины. Снова взрыв. Облако поредело, видно было – по улице бежит, прихрамывая, мальчик и все: «мама!.. мама!.. мама!..» и растирает по лицу пыль с кровью и все: «мама!.. мама!..», пока за угол.

Дубоногов было за ним, да постоял в машине, махнул рукой, сел. Машина тронулась.

В райкоме усталое опустился на стул.

– Чево?

– Здорово, Дубоногов!

Секретарь, щуплый, с молодым болезненно испитым лицом, посмотрел из-под очков усталыми глазами. Краснел стол, за которым сидел секретарь. Со стены смотрели Ленин, Сталин в больших рамах. У стен густо стояли

стулья, – тут же и зал заседаний, а от двери к столу – цветной коврик.

– Сейчас же бери машину, езжай в Усть-Пропойск. Упорно проваливают уборочную. Знаешь, гнездо...

Дубоногов недвижно сидел, глядя в пол. Потом сказал каменно-устало:

– Семь дней не вылезая из машины. Две недели в хуторах – не был дома.

– Знаю.

Дубоногов тяжело помолчал. И, сцепив зубы, уронил глухо:

– Жена приехала, полгода не видались. Десять дней всего отпуску...

– Слышал. Ну, поезжай. Положение не терпит. Всех разослал... один ты. Завтра сам поеду. Машину не забудь сейчас же назад прислать.

И как будто упало на каменный пол:

– Не поеду...

– Поставлю на бюро.

Дубоногов опять помолчал и, тяжело перебивая, сказал:

– Завтра поеду...

– Ты партиец?

– Утром чем свет выеду,

– Вылетишь из партии!

Дубоногов еще посидел, поднялся и тяжело пошел, вдавливая пол.

Через минуту ворвался шофер. Безусое девичье лицо, еще не отмытое от машинной черноты, густо запятнилось краснотой. Он навалился на краснеющее сукно, как будто хотел повалить стол на секретаря:

– Да это чево же такое, товарищ Куров? Что я – скот приبلудный, – только б обратать, али верблюд – ни исть, ни пьеть, одни котяхи в пустыне выкидает!..

– Да ты что, товарищ? – сказал спокойно секретарь, дочитывая бумагу, – ты комсомол?

Парень опал. Только лицо не пятнилось, а сплошь налилось краской.

– Товарищ Куров, руки на руле замлели. Какой день не вылезаю из машины... Ды не жравши...

Секретарь посмотрел на него усталыми добрыми глазами и сквозь посверкивающие очки:

– Видишь, товарищ Бедин, у нас в районе где-то кулаки орудуют, а где – не прощупаем

никак. Уборка книзу пошла. Сам понимаешь – день упустим, можем весь хлеб потерять – высыпется... Зной. Что тогда делать? Ну, вали!

Парень понуро сел, весь осунулся.

– Во! устал... – сказал он и жалко улыбнулся.

Секретарь немного подался к нему, прикашлянул, прижал к губам грязноватый, склеившийся платок и, глядя из-под очков, слегка развернул.

Бедин торопливо поднялся. Глаза округлились:

– Эх, товарищ Куров, это тебе доктора надо. Это как же... – И пошел.

Пока готовил машину, в глазах мерцало, наплывая, красное неровное пятно, задерживаясь на шине, на ободке, на запыленной черноте кузова, пока, ослабляясь, не меркло.

Машина запрыгала и опять поволокла за собой длинный крутящийся хвост. Побежали домишки, бывшая тюрьма с красным флагом, площадь с огромной песчаной ямой.

Каменно сидел Дубовогов. Нервно работал рулем Бедин, прожевывая хрустевший пылью

хлеб. По дороге насадились еще шесть человек. Ввалился на ходу председельсовета. На углу уцепился кооператор. А у самого выезда, загородив дорогу руками, подвалили еще трое.

Бедин проглотил хлеб и резко затормозил, все посунулись, пыльный хвост нагнал и окутал.

– Это чево же такое? Машина на пять человек, а вас навалилось семеро, со мной восемь. Не успеем выехать, сядем. Левая рессора вся обмотана... в проволоках. И пешком иттить за быками, тащить его. Не поеду!

А лицо в пятнах.

Все заговорили разом и ласково:

– Ну, товарищ Бедин. Куда же нам деваться? Сам знаешь... Ну, потихонечку поедем. Не пешком же. Всех на работу рассылают... сам знаешь. Как же быть-то?

Бедин молча рванул руль, и закрутился хвост. Через минуту понеслись степь, и овраги, и дальние увалы, и обжигал горячий ветер, и зачиликали в знойно мерцающей дали косилки. Чугунный говор доносили чернеющие тракторы. Семь районных коммунистов валились на выбоинах друг на друга. Машина



крякала, – долго ли выдержит?

В знойно побелевшем небе кругами плавали коршуны.

## **Муж и жена**

Они лежали, близко прижавшись, и все тоже распахнутое окно, и тонко и узко чернеющий тополь, и теплый запах пыли в тянущейся с улицы темноте – все сливалось с истомно сладостной усталюю.

И все позабылось – и долгая разлука, и тяжелые думы одиночества. Было только настоящее, да чернеющий тополь, да темнота, да наплывало сладкое забытье, с которым хотелось почему-то бороться, с ласковой улыбкой раскрывая отяжелевшие веки.

Она повернулась к нему и, поставив локоток под подбородок, другой рукой гладила его широкую мохнатую грудь. И такой близкий, такой неповоротливый, такой родной! И, точно отдавая себя всю, всю, всю, самое интимное, где-то в отдаленном уголке почувствовала, бежала между ними незримо тончайшая трещина, которая, к ее холодеющему ужасу, могла разрастись, и сказала:

– Еня, я разбиралась. Знаешь, как трудно

разбираться в фактах, в жизни. Ну вот, везде учат диамат. А как-то захватили его руками... понимаешь, вульгарное в этой трепотне... потными ладонями... Я хочу подойти к этому. Пойми, это – метод, метод разбираться во всем, во всем, что окружает. Ну вот, наша с тобой жизнь...

– Это другое, – сонно сказал он, – тут неприложимо.

– Как «неприложимо»?

Она приподнялась и перестала его гладить. Сорочка скатилась с матово светлевшего плеча.

Хриповато-сонно и устало:

– Это только в науке. Ну, там экономика, политика – вообще в книге, по-книжному в которой излагается. Партии в здешней работе нужны не белоручки, а революционные практики.

Она с ужасом села, подобрав под себя ноги и поправив сорочку. Испуганно прикрывая, прижала к груди оголенные руки.

– Что ты?!

Он виновато улыбнулся. Сон смахнуло.

– Ты, Еня, не читаешь, не растешь.

– Когда же это?

– ...не растет кто, это – смерть... Это – как без еды.

– Да я из машины не вылезая. Что ты, родилась только?

– Еня, партиец во всякой обстановке должен расти.

Он тяжело приподнялся. Хотел рассказать, как в слякоть ночью таскал сына, как у него не хватало времени в баню пойти. Да вдруг увидел, точно в первый раз, чудесные, огромные, мерцающие в темноте глаза. Ласковость, нежность тронули сердце. Хотел справиться с собой, да не справился: обнял, запрокинул жесткими губами ее побледневшее лицо.

Она долго лежала неподвижно, шевеля откинутой рукой его упрямо кудрявившиеся волосы. Во сне дышал сильно, спокойно, ровно. Потом отодвинула руку и лежала, глядя в черноту. Прислушалась к его дыханию, но услышала, как тоненько подсвистывал сын на сундуке.

Вдруг в этой иссеченной звездным сиянием ночи придушенно всхлипнуло. И еще. То,

чего смертельно боялась, встало, изменив и ночь, и тополь, и тишину, налитую запахом теплой пыли.

Да разве он не такой, как был? Не такой, как встретила? Разве не он сделал ее партийкой? Качается вагон. Ночь бежит в окнах. Рига осталась позади. И страшный маленький шкафчик в углу белеет, качаясь.

Проходит немец в каске, с винтовкой. Он сурово и подозрительно не упускает примечательным глазом, ничего не упускает: ни этих, разбросанных по лавкам, на полу, измученных, с окопными серыми лицами – бредят во сне, – ни качающегося в углу белого маленького шкафчика.

У нее схватило за сердце (на рукаве красный крест, косыночка сестры): остановился немец у шкафчика.

Стиснув сердце, улыбаясь, показывая широким жестом на мутно в скудном освещении разметавшиеся, сонно покачивающиеся фигуры, сказала, оттаскивая его глаза от шкафчика:

– Родина снится.

– О, ja, ja!

И пошел. Низенький шкафчик белел и покачивался. Ночь летела, вагон качался.

Постояла, прижимая потную ладонь к смертельно-холодному лбу. Прошла в конец вагона, сказала санитару:

– Товарищ Иванов, его надо напоить.

Санитар потупился. Поднял глаза:

– А как поймают?

– Только что немец прошел.

– Да ведь они какие: возьмет да вернется, – хитрая немчура. Тогда ему каюк: выведут на площадку – и готово.

– Но ведь вторые сутки, – он умрет.

Санитар посмотрел на шкафчик, головою покачал:

– Туда и семилетнего не впихнешь. Ну, я покараулю на одной площадке, а Санька – на другой, а ты, сестричка, поскорей.

Стремительно приготовила стакан чаю, – много положила сахару и... и отворила – со страхом оглянулась – дверцу: шкафчик был ниже пояса и узенький.

– Товарищ Дубоногов, выпейте чаю.

Молчание. В шкафчике белели бинты, вата, марля. Неужели под ними мог быть втис-

нут живой человек? Отстранила слегка бинты, просунула дрожавшую в руке и проливавшую чай ложечку:

– Выпейте.

Чай полился. Прислушалась.

«Неужели не дышит?»

В дальних дверях вагона кашлянули. Она быстро надвинула бинты и захлопнула дверцу. Немец медленно прошел, пристально вглядываясь. После каждой станции осматривали: не сел ли, не залез ли под лавку.

Его голова была оценена в тысячу рублей. По всей Риге выставлены его фотографические карточки. Напряженно искали в городе, в окрестностях, по всем поездам и дорогам. Тысяча рублей!

Когда поезд с обмененными на немцев русскими пленными тронулся, он вскочил в вагон, на площадке которого не темнел немецкий часовой. Собрались врачи, сестры, санитары.

– Укройте.

Главный врач сказал:

– Только я ничего не знаю... Делайте, я в

стороне... Я – официальное лицо, – и пошел.

Весь вагон, – сестры, санитары, – стали за-  
пихивать его коленками, локтями, кулаками  
в маленький, низенький шкафчик, где храни-  
лись бинты, вата, марля, с красными потны-  
ми лицами: каждую минуту мог войти немец-  
кий дозор.

Он втиснулся в шкафчик свернутый куль-  
ком, как младенец в утробе матери: колени  
прижаты к ушам; руки кругом ног; грудная  
клетка сдавлена – почти невозможно ды-  
шать.

Проходивший немецкий дозор подозри-  
тельно все осмотрел – все углы, полки, под  
полками, отопление, уборные, весь вагон,  
крышу вагона, задержался у шкафчика:

– Тут что?

Человек явно не мог там сидеть.

– Лекарства, бинты, – спокойно ответила  
сестра, краснея красным крестом на рукаве.

Кроме него, несколько беглецов было в ва-  
гоне, – за тех не беспокоились: одели санита-  
рами, поставили в списки обслуживающих  
Красный Крест.

Когда немцы слезли, поезд переехал грани-

цу, столпотворение: высыпали из вагонов, плакали, смеялись, обнимали пограничников, целовали родную советскую землю.

А из вагона никто не выскочил: все, давя друг друга, кинулись к шкафчику. Сорвали дверцы, выкинули бинты и, не вытащив, оторвали крышку, разломали стенку. Он лежал, как был втиснут. Расправили ему руки, ноги, положили на лавку. Лицо изжелта-синеватое, глаза закатились. Врачи, камфара, искусственное дыхание. Постепенно ожил. Потом полтора месяца в госпитале, и сестра ухаживала за ним...

.....

В окне, раскрытом во всю высоту, светлел край тополя. В углу пролезал тонко горбатившийся месяц. Если б уснуть!

Прислушалась к нему, белевшему возле белой рубахой, прислушалась, но слышала не его, а тихонечко-тихонечко носиком с тоненьким детским посвистом дышит сын на сундуке. Вздохнула: «Милый Муник, милый, милый!»



.....

Скупо рассказывал свою жизнь. Костромич. Деревня. Крестьянское хозяйство. Отец, мать, братья, сестры, и темная непроходящая бедность, и страшная батрачья жизнь на кулака, на помещика. С девяти лет в подпасаках, – гривенник в день; четырнадцать лет у кулака; от покрова до покрова – двадцать рублей и двое поршней. И так до самой до солдатчины.

Погнали на германскую войну.

Ничего не понимал, шел, как бык. Неграмотный. Смутно знал – бог, царь да деревенское начальство. А там – фронт, вши, унтера, офицеры и безбрежное смертное море.

Уцелел. Пошел на побывку. Подходит к деревне. По дороге навстречу – старик рваный, качается от голодного слабосилия. В дыры тело глядит.

– Батя!

– Чей будешь?

Эх, уж плохо видит старик.

– Аль не признаешь?

– Сы-ынок! Сы-ынок!

Руки тянутся, в тусклых, налившихся сле-

зой глазах непреходящая старческая усталость. Обнялись.

– Ну, иди, иди, сынок!

– А ты куда же?

– Иди. А я пойду. Все разбрелись. Одна бабка осталась. Пойду. Может, подадут. Помирать осталась... Иди.

Мать, когда разобрала: сын, – обняла слабыми руками и плакала, как по мертвому.

– Ну, посиди, посиди на лавке али ляжь на соломке, отдохни, а я пойду, может, подадут кусочек. Скажу, сын пришел. Может, подадут... сын пришел...

Он заскрипел зубами. Тяжелой, как холодный свинец, налилась грудь ненавистью.

К кому?

Мать, с трудом передвигая ноги, тащилась, перед избами останавливалась и подолгу стояла, неподвижно протянув сложенную лодочкой почернелую руку:

– Подайте Христа ради!..

Изредка выглядывали в разбитое оконце такие же почернелые, изможденные лица:

– Родная моя, сами помираем..

.....

Все больше светлеет тополь. В самом углу окна нестерпимо блестит крохотный осколок уходящего за крышу месяца.

.....

Что-то надтреснуло в армии, и лица офицеров поласковели.

Большевиком никогда не видел, не знал, что это за люди и чего им надо. Сроду не слышал: партия, социализм. Но, что до сих пор неразрывно обступало кругом, тоненько лопнуло, и побежала незримая щель. И хоть неуловима была, новое получилось. К какой-то другой, еще неизвестной жизни капельку прислонился.

Как-то послали с донесением в штаб. Познакомился со штабным писарем. Чудной, жердястый и всех щупает усмешливыми глазами. Ощупал и его. Поговорили.

И уже потом всегда, каждый раз, как приходилось бывать в штабе, забегал к писарю. А тот осторожно выпрашивал о деревне и чудные вел речи.

Офицеров то там, то там стали пристреливать. Полковника утопили в реке.

В Риге русские генералы, чтобы подорвать большевиков, предали русскую армию немецким генералам. Пленные русские солдаты сидели в старой казарме. Девять дней их совсем не кормили. Комендант позволил собирать дохлых лошадей: варили и ели.

У входа ходили немецкие часовые. Окна густо затянуты сеткой толстой проволоки. Гоняли разгружать всероссийские склады оружия, одежды и прочее. Незаметно унес наган и ножницы для резки окопной проволоки. Переводчик заметил, указал на Дубоногова. Наган нашли, ножницы успел спрятать. Комендант велел подвесить. Сняли без чувств.

Был заключен Брест-Литовский мир. Шел обмен пленными. Каждый день уходили в Россию эшелоны с пленными солдатами.

Раз вошел немецкий офицер, сказал что-то надменно. Переводчик закричал:

– Собирайтесь в баню, а потом повезут вас в Россию. Каждому выдадут по мылу и полотенцу на двоих.

Буйная радость забушевала по казарме. Разом собрались, построились. Выдали по мылу и полотенцу на двоих. Смеялись. Пришли из

бани чистые, раскрасневшиеся, даром что голодные. Пришел вечер, никто не мог спать. Смотрят, вошел немецкий солдат в каске. Отвел Дубоногова в угол и чисто говорит по-русски:

– Завтра вас повезут не в Россию, а в Восточную Пруссию, на шахтах работать.

Потом ушел.

Дубоногов собрал всех триста солдат в верхний этаж и сказал:

– Ребята, нас офицер обманул: завтра повезут не в Россию, а к немцам, на шахты, будем, как скоты, работать. Мы зараз бежим. Кто хочет с нами, оставайся тут, наверху. Кто не хочет, спускайся вниз, ложись и храпите побольше.

Сто спустились, побоялись. Двести остались наверху.

Целую ночь резали на полосы палатки и крутили жгуты. Дубоногов вынул из печки кирпич, достал оттуда ножницы. Разрезал в окнах проволоку, привязал палаточные веревки и жгуты. Потом построил всех колонной, взял в руки кирпич и стал пропускать к окнам по одному.

– Ежели без очереди кто сунется к окну, разломаю голову, – и взвесил на руке кирпич.

Солдаты в немой тишине и в строгом порядке исчезали одни за другими в окнах. Когда исчез последний, Дубоногов спокойно спустился. Обошел двор за забором и пробрался к кухне, где жил переводчик. Подобрался к окну. В небольшой комнатке у окна спал на кровати переводчик.

Дубоногов постучал по стеклу. Потом еще постучал. Спавший поднялся, приплюснуло лицо к стеклу, Дубоногов ахнул кирпичом в голову. Стекло разлетелось, человек перевернулся через постель и глухо лег на полу, недвижимый.

Дубоногов перемахнул забор, другой и пошел гулять по переулкам.

Залез на окраине в бедный дворик, прижался в сарае.

Утром вошла хозяйка, испитая и замученная. Увидала – и попятилась.

– Ничево... я ничево не сделаю, я солдат, русский пленный, голодный. Меня найдут, расстреляют.

Она была полька из России. Заплакала.

Принесла хлеб и кусок колбасы. Потом вынула середку в дровах. Он влез, заложил. Просидел пять дней. Она носила кушать. На шестой сказала:

– По всему городу искали тебя. Теперь меньше, – думают, убежал.

.....

«Я его люблю, – сказала она внутренне, серьезно и уверенно. – Я его люблю. Он нужен партии. Его не сломишь».

И, стараясь задержать вздох и не задержав, тихонечко вздохнула.

– Я его люблю, – твердо сказала она вслух, наперекор кому-то. Потеряла лунно блестящий с одного бока тополь, запах пыли, дыхание сына.

## Отъезд

– Ну, надо... – сказал Дубоногов, ходя по комнате с заложенными в карманы руками. – Надо... пора... лошадь давно стоит, еще опоздаешь.

Да вдруг прислушался, поднял палец:

– Во!

Далеко под горой утробно ревел пароход.

– Н-ну!

Каменное лицо дрогнуло такой странной на нем, виноватой улыбкой.

– Ну... подорожную... чтобы курочки водились...

Подошел к шкафу, налил себе большую, жене маленькую рюмку. Протянул:

– Ну... чтоб на мель не сел...

У нее странно засияли глаза. Тонко на бледности пробился румянец. Она взяла и, держа рюмку, потупилась. Румянец все гуще стонял бледность.

Мальчик стоял и смотрел, как будто перед ним разыгрывалась пантомима. Руки в карманах.

Она внезапно оставила рюмку, порывисто обвила шею. У него расплескалась рюмка.

– Еня!.. Еня!.. Родной! Нет... дай слово, обещаю: больше никогда не будешь, ты правдивый... обещаю... больше никогда не будешь... Это к гибели. Никогда... вылей!

Он, все такой же каменный, стоял. Растерянная улыбка сползла. Слегка отвел тонкие руки. Открыл шкаф, взял графинчик, хотел осторожно вылить в него, да поставил обрат-



но, закрыл дверь; подойдя, выплеснул в окно, где прощально стоял тополь. Повернулся и сказал медленно:

– Больше не буду.

Она взяла его большую руку своей маленькой, крепко-крепко пожалала. Глаза засияли.

Маленький девятилетний мальчик стоял спокойно и чуть скучно, как будто пантомима кончилась и нечего было делать. Руки в карманах. Пароход перестал реветь. Надо было ехать на пристань. Дубоногова сказала:

– Ну, мой мальчик, ну, будь здоров. Не очень шали, дружок, и пиши мне.

Ее глаза сияли не то от радости, не то от чего-то, чему она не давала воли.

Мальчик стоял вполоборота, и видно было – широкоплечий, в отца, и вырезанные отцовские ноздри – упрямы и настойчивы.

– Пиши мне почаще.

Она хотела обнять его. Он все так же – руки в карманах – отодвинулся, как взрослый.

«Весь в отца. И упрямый такой же».

– Ну, пойдёмте, – сказал Дубоногов, беря в руки чемоданчик и узелок.

Мальчик запнулся и вдруг сделался непо-

хожим на взрослого, а маленький, девятилетний мальчик. Неотрываясь обвил ее шею руками и быстро-быстро, тоненько заговорил:

– Ма-ма... мама... ма-ма!.. Я не хочу... я не могу... я с тобой поеду... я не хочу... он только с ними, только с ними разговаривает!..

– Дорогой мой, с кем?

– С ними... с колхозниками... а я... я один... Со мной... не хо-о-чет... Я всё... ма-а-ма!

Он спрятал лицо на ее груди. Он бился, как девятилетний маленький мальчик, а она его крепко-крепко держала и неотрывно целовала в глаза, в лоб, в кудри – «русые, как у отца», и глаза неудержимо сияли.

Отец подошел и сказал:

– Ну, будет! Сегодня на машине с тобой покатаемся.

Он завизжал пронзительно и тонко, и этот визг пронизал стены, в соседних квартирах слышали:

– Не хо-о-чу-у! Не хо-чу-у машину! Я ее терпеть не могу-у! Я в подшипники песок насыплю-у... Я – ра... радиатор разобью... я... я ум-ру-у!

Захлебнулся. Мать бешено целовала с со-

вершенно мокрым – неизвестно, от чьих: сына ли, своих ли слез – лицом.

Дубоногов постоял неподвижной глыбой среди комнаты. Крякнул. Пошел – руки в карманах, как у сына – к шкафу, пошел – широкий, кряжистый, не свернешь. Отворил, налил полстакана и медленно запрокидывал стакан, медленно запрокидывая кудлатую голову.

Закрыл шкаф, руки в карманах, а в комнате не было чемоданчика и узелка, только сын бился маленьким телом, а голова неподвижна на крашеном полу, как простреленная.

Внизу дожидалась машина.

## Черкес\*

Это – крохотный эпизодик, но ведь в капле отражается мир.

Давно это было, очень давно.

Зной, густой и тяжкий, убегал вместе с убегающими мимо окон степными просторами, и в качающемся вагоне нечем было дышать. Народу много, лица распарены, и все качались вместе с качающимся полом, стенками, качающимися окнами, мимо которых летела опаленная степь. Лишь на самом далеком краю ее синели горы, – неподвижно синели.

Так душно, что и разговаривать не хотелось.

На станции стояли высокие тополя. Вошел черкес, высокий, стройный, бедно одетый, но перехваченный тонким поясом, по которому крохотными блестками серебрились украшения. Он блеснул чернотой острых глаз из-под густых бровей. Глянул на чуждый ему вагон, на этих чуждых качающихся людей. Орлиный нос.

Он присел на скамейку, – некуда было отвернуться от них. Стал смотреть в окно, но

все равно, они были кругом; качаясь, касались его, смотрели в одно окно с ним на летящую, золотящуюся пшеницей степь. Далеко в мареве синели горы. Гибко поднялся, высокий и стройный, и поднял верхнюю полку для лежания.

Я сказал:

– Днем полки по железнодорожным правилам нельзя поднимать, – страшная духота. Полку можно поднять только с девяти вечера.

Он глянул на меня через плечо вниз с безграничной ненавистью и сквозь белые, как кипень, зубы бросил, отчетливо выговаривая, трехэтажное ругательство. С омерзением отвернулся, легко вскинул длинное тело на полку, заложил под голову руки, закрыл глаза.

Качались стенки и окна, летела степь, синели горы.

Я обратился к проходящему кондуктору и указал, что вопреки правилам днем поднимают полки. Тот глянул на лежавшего черкеса с закрытыми глазами, – злобно бросил:

– Слезть! Опустить полку!

Черкес секунду помедлил, потом гибко скинул свое тело и, ни на кого не глядя, опу-

стил. Столпившиеся пассажиры заговорили:

– Он, гололобый, матерно ругал этого...

– Что-о?! Вон из вагона!..

Черкес мгновенно пробежал по столпившимся пассажирам горящими глазами и вдруг бросил, с такой чудовищной непрощающей ненавистью, расставляя слова, что я попятился, а кругом замолчали:

– Тут... все – русски... я... я – один!..

Я обратился к главному:

– Оставьте его. Полку он опустил, чего же еще?

Главный презрительно пожал плечами, пошел.

Качались стенки, окна. Мимо летела золотая степь.

Черкес сидел в углу и слегка качался. Отгородился черными ресницами.

На одной станции влез русачок. Нос – картошкой, весь заляпан краской, с кистями, – маляр. Он сейчас же стал подымать полку. Я сказал:

– Нельзя подымать до девяти вечера. Правила железнодорожные.

– О-о, нельзя?! Правила? Ну-к что ж... – и

стал закуривать вонючую сигарку.

Под полом все так же неутомимо бежал гул. За летевшей степью все так же синели горы; но они стали ближе.

Что-то обожгло меня. Сквозь щелочки полуприкрытых глаз чуть качавшегося черкеса лилось на меня неподдаваемое изумление. «Так вот что! Так эти правила относятся не только к нему, но и к русским! И они должны им тоже подчиняться!..»

Он все так же сидел, чуть покачиваясь, отгородившись полуопущенными ресницами, и блестел узенькой полоской зрачок.

Мне нужно было сходить. Станция дышала жаром, и от высоких тополей лежали черные тени зноя.

Я стал снимать с полки свой чемодан. Вдруг чьи-то две длинные руки ловко протянулись над моей головой, и мой чемодан быстро поплыл к выходу.

Я поторопился за черкесом. Он вынес и поставил чемодан на платформу и, не слушая моей благодарности, молча исчез в вагоне.

Стояли высокие и острые тополя, от них лежали по горячей земле полуденные тени.

Кругом станции неуловимо дрожала под солнцем степь, а за нею чудесно синели синие горы.

Поезд увез моего нового друга. Я с ним никогда больше не встречался...

...Неправда, – я теперь с ним часто встречаюсь. Я с ним встречаюсь на съездах Советов, когда гляжу на делегации со всех сторон нашей чудесной страны. Я его встречаю, когда читаю в переводе литературу его и моих братьев из Грузии, Татарии, Таджикистана, Украины. Я с ним встречаюсь, когда читаю газетные сводки громадных строек, громадных побед хозяйственных, культурных.

И я с ним встречаюсь каждый раз, как приходит годовщина Октября, ибо он, чудесный Октябрь, сделал нас не только друзьями, но и братьями.



## Две встречи\*

Лесистые горы расступились, и река вырвалась на плоскость. Люди стояли черным морем мохнатых шапок, а по краям – лошадиные головы, и под ними чернели, расходясь, бурки. Это – в двадцать первом или втором году, когда в городах закаменелыми штабелями лежали на больничном дворе сыпнотифозные мертвецы. Еще постреливали в укромных местах, и, когда мы ехали на съезд, в машине аккуратно лежали под руками холодноватые винтовочные стволы, а у меня оттягивал карман браунинг.

Съезд – как съезд: оратор говорил; из-под мохнатых шапок на него глядели внимательные черные глаза, или не глядели, упорно опущенные в землю, и почему-то вселяли тревогу. Я невольно пощупал браунинг – тут ли?

Обо всем говорили – и о том, что беден народ, что нехорошо воровать у своих же. В таком-то ауле и в таком-то ауле у бедных женщин, у которых мужья убиты белыми, увели коров, и им с детьми умирать с голоду. И те-

перь по аулам одинокие женщины, у которых мужья погибли в боях с белыми, целую ночь сидят на корточках у своей коровы, накрутив на руку веревку от рогов. Разве это хорошо? И о многом разном говорили. И стояли те с опущенными глазами.

А я все время чувствовал: за этими коровами, около которых сидели на корточках измученные женщины, за разными бытовыми вопросами что-то стояло другое, непроизносимое, и опять пощупал браунинг. И подумалось, почему же воры крадут только у женщин, мужья которых погибли в борьбе с белыми?

Море мохнатых шапок колыхнулось пробежавшей волной. И те подняли глаза. Ненависть?

Подкатил автомобиль к самому краю толпы. Быстро вышли несколько товарищей. За ними – спокойно, небольшого роста, крепкий, в белой гимнастике, с темным, за которым внутренне-сжатая энергия и напор, лицом товарищ. И я уловил пронесшееся: Орджоникидзе... Все так же спокойно, но не теряющим времени широким военным шагом вошел он

в раздвинувшуюся толпу. Стал. Небольшой опустевший круг замкнулся.

Его голос зазвучал. Он потребовал, чтоб переводили фразу за фразой. И голос опять зазвучал повелительно, неотвратимо, над громадой толпы:

– Нет, вы – не честные советские граждане, – вы – укрыватели бандитов!..

«Ого-гого!..» Я полез было к жалкому браунингу. Да ведь если засверкают кинжалы, блеснут шашки, в несколько секунд все будет кончено. «Браунинг... Тьфу!»

И я спокойно стал слушать.

– Среди вас – бывшие офицеры. Среди вас – богачи, смертельные враги советской власти, – стало быть, и ваши враги, враги бедноты, всех трудящихся. Среди вас – отъявленные контрреволюционеры.

Переводили фразу за фразой, и толпа сомкнуто сдвинулась, – круг около Орджоникидзе тесный.

– Вы... если только вы не враги советской власти, сейчас же, сию же минуту должны выдать врагов советской власти!

Всё недвижимо замерло. Тяжело нарастало

ожидание непоправимого.

Вдруг волны пошли по толпе от краев к середине, – заколыхались мохнатые шапки. «Ага... все?!» Я взглянул на Орджоникидзе: он был спокоен и нахмуренно ждал.

Волна человеческая добежала до середины и поставила, шатая, перед Орджоникидзе несколько человек; глаза их пылали неугасимой ненавистью. Особенно врезался мне старик: борода – седым клинышком, в черкеске с газырями, наискось кинжал. Нет, я никогда не видал такой нечеловеческой ненависти.

Орджоникидзе молча повернулся, пошел, не оглядываясь.

Толпа за ним донесла до автомобиля этих задыхавшихся ненавистью людей.

Далеко за автомобилем покрутилась пыль и растаяла. Слева стояли лесистые горы.

Когда мы ехали назад, товарищ сказал мне:

– А ведь знаете, дело на ниточке висело, – могли искрошить шашками.

И второй раз встретился я с товарищем Орджоникидзе. И эта встреча тянется минуты,

часы, дни, месяцы, годы.

Выступаю ли на заводе машиностроения, – да ведь это же товарищ Орджоникидзе! Толкую ли о выработке с шахтерами, – да ведь товарищ Орджоникидзе! Наблюдаю ли за танками, самолетами, орудиями на маневрах нашей чудесной Красной Армии, – да ведь тот же товарищ Орджоникидзе! Куда бы ни пошел, куда бы ни поехал, откуда бы ни полетел – товарищ Орджоникидзе.

Я разворачиваю газету, одну, другую, третью – товарищ Орджоникидзе. Вот он заставляет снимать с единицы пода печи максимальную плавку. Вот он организует, вот строит, вот он ведет густые шеренги стахановцев.

Ну, ладно. Я включаю громкоговоритель – чудесно поют. Товарищ Орджоникидзе! Он не только дает черный уголь, въедающуюся нефть, увесистый чугун, он дает и продукты тонкой культуры. Нет, от него никуда не уйдешь, его всегда помнишь, его всегда видишь.

Он выковал громадину тяжелой промышленности. Да ведь это же грандиознейшая задача! Ведь тут нужны специфические сложнейшие знания, а ведь у него их не было. И

меня больше всего поражало, как такой человек, заваленный громадой дел оторвавшись, садился учиться. Он приобрел огромные знания и прекрасно разбирается в самых сложных вопросах.

У него жесткая рука, спуска не даст, но его любят. И удивительно оригинальна его манера обращаться с людьми.

Товарищ Орджоникидзе требует не только знаний, дела, работы, но и культуры.

Приходит к нему директор огромного, прекрасно работающего завода. Товарищ Орджоникидзе сидит за столом, работает.

Директор осторожно кашлянул: дескать, тут я. Но перед ним все та же широкая спина и наклонившаяся над бумагами черная голова.

Директор потоптался у кресла, опять, только погромче:

– Кхе, кхе!

Не оборачивается. Что тут делать? Осторожно говорит:

– Товарищ Орджоникидзе, вы меня вызывали?

А тот, не оборачиваясь:

– Пойди побрейся.

Директор вылетел, как из парной бани, по-  
несся в парикмахерскую, вернулся, и они в  
несколько минут порешили все вопросы. С  
тех пор директор как с иголки: гладкое  
приятное лицо, галстук, свежая рубаха.

Встречу с товарищем Орджоникидзе не за-  
будешь, потому что это – прекрасная встреча,  
потому что это встреча с могучим социали-  
стическим строителем страны.

## **Тракторист поневоле\***

**П**о степной речке длинно раскинулось бе-  
лыми хатами село. Село многолюдное –  
народу тысяч шесть в нем жило. Но сейчас ни  
на улицах, ни в хатах не было ни одного чело-  
века. Нигде не видно было и ребятишек.

Оказывается, весь народ собрался километ-  
рах в двух на пашне. Тут же юрко мотались и  
ребятишки. Над толпой висел говор, смех. Все  
глядели на чудную черную, с трубой, машину,  
которая приехала пахать. В первый раз виде-  
ло село такую машину. Слышались голоса,  
что эта машина, которую называли тракто-  
ром – неверная машина и пахать с нею нель-

зя. Вот пройдет она загон, начнет пахать и... запарится.

– Что ж он, трактор-то этот, какая от него польза? Только что дым, – говорил седенький старичок, постукивая палкой, – а с дыму пользы мало.

– Опять же долго ли он ехать может, – сказал сердито рыжий мужчина. – Проедет загон, и стоп. Это нам не с руки. На лошади пашешь с утра до вечера, и горюшка мало. Подбросишь ей сенца или овсеца подвесишь, и паши загон за загоном.

Тракторист хмуρο возился у трактора.

– Эх, вы, грибы деревенские! Сравнили машину с лошадьё. Эта устали не знает, а лошадь вся пеной изойдет и станет. Во, глядите!

Он завел трактор и пустил его. Машина, урча и застилая дымом, двинулась. Маши-нист вел по прямой, ловко правя рулем. Далеко обошел четырехугольник и направил назад. Подъехал, остановился.

Все окружили его. Кругом говор.

– Здо-рово ходит!..

– Так и прет!..

А старичок опять постучал палкой по зем-



ле.

– Толку-то с него – раз проехал. Нет, ты поезди как следует. А-а, то-то и есть! Поедет, поедет, да и станет, что с ним будешь делать?

Тракторист озлился и закричал:

– Кто тут из вас хочет сесть? Я заправлю и покажу, как управлять? Мудреного тут ничего нет. Ну?

Толпа затихла.

– Ну, что же вы? Мне сейчас надо сбегать в слободу – до зарезу дело. А вы кто-нибудь поедите.

Неожиданно, растолкав толпу локтями, выдрался вперед длинный, вихрастый четырнадцатилетний Петька Косоногов и испуганно сказал:

– Я!

Тракторист осмотрел его с ног до головы, сказал:

– Садись. Мудреного ничего нет. Берись за руль. Сюда повернешь, трактор сюда пойдет. Сюда повернешь – в эту сторону пойдет. Ну? Понял?

– Понял.

– Ну, я пуцу. Ты круга два-три сделаешь и

остановишься тут. А чтобы остановиться, вот этот рычаг нажми.

Петька нажал.

– Ну, вот так. Теперь завожу, держись за руль. Ну, пошел!

Трактор затрещал и двинулся. Петька вцепился в руль, держа его в одном положении. Трактор шел, как по линейке, удаляясь.

Страх у Петьки прошел. Ему очень хотелось глянуть назад, как на него все смотрят, но боялся шевельнуться. Вот и заворот, где тракторист заворачивал. Петька осторожно повернул руль, и трактор, все так же гремя, стал поворачиваться и пошел назад. У Петьки радостно забилося сердце.

– Научился!.. Научился!..

Стоявшая вдалеке толпа все ближе, все ближе. Вот уж видны лица. Вот мальчишки несутся со всех ног навстречу.

Петя подъехал к толпе. Все захлопали в ладоши, закричали «ура». Петя, с красным от счастья лицом, повернул и поехал назад. Сзади, удаляясь и слабея, неслось «ура».

Петя доехал до конца, повернул и опять поехал к толпе. И опять «ура» и аплодисмен-

ты, а он опять поехал назад. Так пять раз проехал. Ему стали кричать:

– Стой, Петька, стой!.. Остановись!..

А он доезжал, поворачивал и ехал назад. Так проехал десять раз. Потом одиннадцать, потом двенадцать.

Когда он проезжал в тринадцатый раз, толпа заревела:

– Стой, тебе говорят!..

У Пети лицо было красное от растерянности, и полны слез глаза. Он сказал, заикаясь:

– Не могу остановить... Забыл, куда крутить...

И поехал. Мать его громко заплакала:

– Заедит парнишку машина проклятая!..  
Сымите вы его.

– Да как его сымешь – задавит!

А Петя с мокрым от слез и красным от волнения лицом уже ехал в четырнадцатый раз. Тогда закричали:

– Да бегите за машинистом, – пропадет парнишка!

Стая ребятешек понеслась в слободу. А Петя все ездил да ездил. Ему кричали:

– Верти ты ее, окаянную, куда попало, мо-

же, остановится.

– Боюсь, – рыдал Петя, – боюсь, как бы брыкаться не стала, – и поехал в двадцатый раз.

Показался тракторист. Он бежал от слободы. За ним, как воробьи, летели ребяташки. Тракторист подбежал, когда Петя поворачивал в двадцать седьмой раз. Он на бегу схватился за рычаг, повернул. Машина смолкла, остановилась.

– Ничего, брат, хоть и поневоле, а показал всей слободе, как машина может работать, – не чета лошади. Из тебя будет толк, хороший будешь тракторист!

## Бригадир\*

**М**ы сидим с ним в горячей голубоватой тени наметанного скирда. Вдали недвижно стоят два комбайна. Земля голубовато парит. Комбайнеры, трактористы – кто раскинулся на еще сыроватой земле и тяжело, лицом вниз, спит, кто, полуголый, латает рубаху. Ждут, пока подсохнет хлеб после бурного ливня, чтоб опять закипела работа.

У него свислые усы и ослепительные зубы. А на бронзовом лице навсегда застыла не то непотухающая дума, не то навеки неизбывное воспоминание. Он – крепкий, умелый, никому не спускающий бригадир.

– Так что, товарищ Сарахвимыч, зубами от смерти отодрался.

Я глянул, зубы у него блеснули из-под усов. А лицо все такое же твердо застывшее, и никогда не смеющиеся глаза. Ему под пятьдесят.

– Как это? Когда?

Он поглядел вдаль. Степь все так же голубовато дрожала и волновалась.

– В восемнадцатом... Это каким оборотом... Усть-Медведицкую станицу белые брали. На-

валились с Усть-Хопра. Дон разлился, наши не могут подмоги подкинуть. Попы на колокольне Воскресенской церкви пулеметы вправили, белые строчат оттель. Из-под пирамиды ихняя батарея глушит. Наши на пароме ды на баркасах на ту сторону вдарились. А так и видать, ложатся, ложатся головы, и винтовки на пароме, как подкашивает, – с колокольни-то далече берет. Под энтим берегом не выдержали наши, стали сигать в воду. Много унесло. А какие добрались до земли, мокрые, без винтовок, побегли. Берег открытый, как на ладони, – тоже много полегло.

Нас, человек восемьдесят, за станицей к Брехунье прижали; хотели садами отступить. Да сам знаешь, сады в половодье до краев заливают. Некуда податься. Прикладами отбивались. Мне в голову приклад пришелся. Память отшибло. Очунелся, гляжу: на мельнице лежу, и товарищи, – паровая мукомольная на горе, возле кладбищенской церкви. Белые хлопчут округ нас, раздевают догола, вяжут проволокой парами рука к руке. А ночь. Ну, думаю, стало, решать нас будут. Наши тоже видят: конец приходит. Которые молчат, кто

матюкается, а есть и плачут.

Чуть посерело, стали выводить человек по двадцать. Слушаем. Застрочил пулемет, а потом замолчал. Екнуло... Эх! Ну, все одно. Тихо стало. Вошли белые, одни. Вывели другую партию. Опять протрещал пулемет. Так – три раза. Наконец того подошли к нам с товарищем. Мы в последней партии. Товарищ ослаб, – в ногу раненный был; рана нечижоловая, да крови потерял много. Вывели. Ночь хочь глаз коли. Только на бугре черная церковь признается, – небо за бугром сереть стало, вот и видать. Товарищ на руке почитай повис; тяну его на себе. А сзади белые казаки прикладами подбодряют. Подошли, стали. Попробовал ногой, чую, обрыв, – это пониже кирпичного завода. Холодный барак. Тут пулемет заработал. Я как рвану товарища, мы и полетели. Вдарились, аж в голове загудело; кругом стон, крики, хрип. А на нас все глину сверху сыпют. Я это все голову кверху подымаю, все подымаю, чтоб не засыпало. Слышу, голос наверху, – должно, офицер:

– Черт с ними, бросай. Завтра досыпем ды притопчем, чтоб не воняли, собаки.

Слышать – пошли.

Никто не стонет. А все видней да видней. Отгреб с себя глину, стал товарища тащить, а он не ворочается, и рука, которая к моей прихвачена, холодеет. Сгреб с его лица глину. «Ваня, говорю, а, Ваня!» Молчит. Ну, пропал! Подтянул я его руку к рту, стал грызть проволоку, прямо, как кобель. Грыз, грыз, в роте солоно стало, полон кровищи. А я все грызу, а над бараком[2] все светлей ды светлей. Видать, обрыв. По дну глина насыпана, иде рука, иде нога торчит. А, я прямо озверинился, рву зубами. Да проткнуло концом щеку, – разошлась проволока. Отвертел с руки, – свободный! Поднялся, шибануло, замлело во мне все. Полез по глине, по товарищам, а они холодные. Попробовал вылезть по обрыву, – прямо стена, сорвался. Ну, заспешил по бараку, а над бараком все светлей ды светлей... Кочета кричат, собаки брешут. Что есть силы бегу. Уж близко к Дону. Глядь, баба идет с ведрами к колодезю. Как глянула – бряк с коромысла ведра: человек не в себе, – в чем мать родила. Заголосила: «Ой, нечистый дух!» Ды вдавилась бежать. А я – себе. Прибег к Дону, бул-



тыхнулся, поплыл. Полая вода холодная, несет; не успел оглянуться, далече пронесло, станицы уж не видать. Ну, ды это хорошо: людей близко никого, а только слабнуть стал, насили-насилиу огребаюсь одной рукой, – другая от проволоки занемела. Солнце над лесом поднялось. Эх, увидит кто, – крышка! Выполз на карачках ды в лес.

До ночи лежал, все руку тер, – почернела. Ну, ночью по лесу крадучись пошел. Каждую минуту остановишься, послухаешь и опять. Два дня шел, не ел, только пил. На третьи сутки шататься стал, в голове все звон; думаю: «Ай заблудился». В церкви звонют. Под утро вышел из лесу; глядь – хата. Девка увидала, кинулась в дверь, щеколдой хлопнула. Вышел мужик, пронзительный глаз, такой сурьезный, черная борода. Долго глядел: «Ты, говорит, божий чоловик, шо ж в одной коже блукаешь, как Адам? Дэ ж тоби Ева?»

Я молчу. Ну, думаю, один конец. «Два дня, говорю, не ел». Он постоял, пошел в хату. Ну, думаю, пошел за топором али за вилами, – в станицу погонит. Выходит, несет ножик да мешок. А я попятился: «Неужто в мешок будет

загонять?» – «На, говорит, режь углы, для шеи вырежь дырку. Ишь, говорит, всю шкуру ободрал в лиси, як свежаванный баран, увесь в кровище». Вырезал я дыри, надел мешок, а он девке велел краюху отрезать. Принесла она полхлеба, фартуком закрывается, а сама вполглаза на меня дивуется. А мужик говорит: «Козаки из станицы конные швыдко по шляху пробигли, все яког-то нидоризанного шукалы. Ты, чоловиче, переправься на той бок Медведицы, тай тягны до чугунки, – красные пид Себряковой хронт держуть». Ну, к ночи я и к своим прибился. Отлежался в лазарете, а там – наступление. Попы опять с колокольни из пулеметов. Из, саду батарея бьет. Дон-то давно обмелел, мы его с маху. Ворвались в станицу, белые наутек, как мы весной. Ну, я минутку уллучил, в свой курень забег, отворил дверь, ды... ды... Что же это, брат ты мой!..

Он поднялся, постоял, как дуб, постоял, прямой, широкоплечий, потом сел. Я быстро глянул на его лицо. Оно было спокойное и неподвижно-бронзовое. Он сказал:

– Отворил в сенцы дверь, а на пороге жена

лежит, юбки задраты, ноги голые, одна рука отрубленная... А сыны в кухне лежать, одному – девятый годок, а старшему – тринадцатый. Соседи собрались, рассказывают – мучили их все время, с той поры как я убог, а когда мы ворвались в станицу, их и прикончили. С той поры пленных не брал. Сотней командовал, ссадили из-за этого самого. Два раза под суд отдавали, расстрелять хотели; нет, не брал пленных!

Он помолчал и спокойно сказал:

– Теперича у меня другая семья...

Долго смотрел на край степи, дрожавшей знойной дрожью, и вдруг оглушительно заревел и поднялся, – мне показалось – земля подалась под ногами:

– Ахвонька-аЭ распротак тебе перетак... Опять за свое?! Зараз запишу штраф... – и полез за записной книжкой. – Иде ж она?

Афонька, молодой парень, тракторист, черный как бес, от масла, сажи и металла, – только глаза и зубы блеснули, – торопливо затоптал черной босой ногой сигарку, подошел и, ухмыляясь белыми зубами, сказал просительно:

– Не пиши, Иван Семеныч, и так в штрафах весь, как в репьях. На получке ничего не достанется.

А тот опять загремел на всю степь:

– Кто курить будет на стану, разорву напололам!..

– Ну, прослабишься... – отозвался комбайнер, голый до пояса, и кожа блестела потом, чернотой, – кругом мокрота, а он...

– И тебе штраф!.. – загремело по степи. – Не сбивай народ...

Огромный, бронзовый, пошел в будку за книжкой. Трактористы, комбайнеры столпились.

– Вот сатана зубастая! Сам же видит: кругом парит, все волглое, и работать нельзя, – хлеб полег...

Бригадир вернулся.

– Марш по машинам! Проверить на ходу!.. – И, обернувшись, закричал стряпухе:

– Чтоб обед был зараз готов, на дуб сонце подымается, работать начнем, – и пошел, такой же стройно-тяжелый, спокойный, за расходившимися к черневшим машинам трактористами.

– У-у, сатана!.. – сказала стряпуха и поправила платок.

И вдруг ее потная и красная физиономия разъехалась до ушей.

– А осень придет, мы его качаем. Вот в прошлом году качали, ды чижолый какой...

– За что же качали?

– А как же? У всех трактористов премия за экономию горючего. У людей только приступают к уборке, а мы кончаем. У людей – потеря хлеба, а мы зернышка не упустили. Как же, качали! Я все руки пообломала – чижолый, окаянный, как медведь...

Она глянула на подходившего от машин бригадира, сердито поправила платок и побегала к печке под навесом, пробурчав:

– У-у, зубастый черт...

Бригадир сел на прежнее место и молчал, вслушиваясь, как пробно ревели моторы на месте. Потом сказал:

– Несознательная публика... Хлеб подсох, можно начинать.

Опять помолчал и сказал спокойно:

– Вот и я такой несознательный был. Верись, Сарахвимыч, как закрутились колхо-

зы, я ведь не думал, что работать лучше будет, машины... Думал: «Наши деды, отцы без колхозов жили, и не хуже жили». Но, между прочим, в колхоз вступил. А почему? А все потому же: все ждал схватиться с беляками. Даром что в Черное море их спихнули, а все думалось: как бы опять не пришли они к нам с тамошней буржуазией. А у мене замест мобилизации – колхоз. Прямо бери – видал, какие молодцы! Сажай на конь и в атаку. А то это покеда мобилизация, да сборы, да съедутся, много воды утекеть. А тут сразу все готово: мобилизованы, – колхоз...

Он вздохнул, в первый раз вздохнул:

– Несознательный был. Теперь все по-иному...

И, помолчав, глухо сказал:

– У меня теперича семья другая.

Поднялся, стройный, тяжелый:

– Пообедали. Ишь заревели. Пойтить...

И пошел. Жнивье хрустело. Голубоватость над степью пропала.

Струился зной.

## По родимой стране\*

**П**оезд катится среди заснеженных полей, среди лесов, отяжелелых от снега. Мелькают поселки и города с высокими дымящимися трубами.

Вот и Вологда. Когда-то захудалый губернский город, потом районный советский, теперь областной. Через область строится большая водная система с громадной будущностью. Вологда совершенно перерождается. Прежде ее съедал областной Архангельск. Теперь она сама – областной центр и расправляет крылья. Сколько в ней высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, техникумов, специальный молочный институт! Драматический театр и Театр юного зрителя. Отделение союза писателей. Прекрасная областная библиотека для взрослых и для детей.

Продукт исконной местной промышленности – чудесное вологодское масло. Российские купцы рассылали его под печатными этикетками: «Парижское сладкое масло». Теперь множество одиночных заводиков, кулацких

артелей с ручной обработкой заменены стадеяноста тремя заводами; из них двадцать три крупных маслодельных завода с импортным оборудованием. Ныне такое оборудование производится у нас. Породы коров быстро улучшаются.

И чего только не делается из молока! Разнообразнейшие сыры, сгущенное молоко, молочные консервы, пастеризованные сливки с убитыми микробами и даже шерсть – да, да, шерсть из молока! Каждая корова дает в год шестьдесят килограммов молочной шерсти. А из нее – всевозможные материи, костюмы. Из молока же – прекрасного качества пуговицы, расчески, брошки и прочее.

Огромная область под живительным руководством партии гигантски развивается. Проектируются большие заводы. Проводятся новые железные дороги.

А какие чудесные леса, кишасщие рыбой реки, озера! Все это ждет постройки санаториев, домов отдыха.

У нас сегодня выступление под Вологдой в Соколе. На станции Сухона пересаживаемся в слепую, без окон теплушку, – километра три



осталось. Пахнуло далеким девятнадцатым годом: морозец, стынет дыхание, дребезжит железная печурка, скамьи качаются.

Рядом со мной полная женщина, с удивительно приятными ласковыми глазами. Зябко кутается в белый пуховой платок. Разговорились. Она – депутат Верховного Совета РСФСР. Едет к себе в Сокол.

Спрашиваю:

– Кто к вам больше обращается – женщины вашего округа или мужчины?

– Ну конечно, женщины, – говорит она с милой улыбкой, – ведь женщина придет, все, все расскажет до ниточки – и горе и радость. То с детишками, то с мужем неполадки, то на заводе несправедливость; повздыхает, голову положит на плечо, поплачет. Ну, чем можешь, поможешь, – в совет пойдешь, в завком. А то придет иная, смеется, целует, – ну, стало быть, в семье радость, какая-нибудь удача, а поделиться надо, – куда же? Вот она ко мне.

Теплушка тархтела, подкидывала и качала нас, дребезжала железная печурка, и бежали в отодвинутые двери заснеженные поля,

деревья, а я с изумлением смотрел на немножко усталое милое лицо. Так вот что значит депутат Верховного Совета!.. Это – не должность, не звание, не формальное: «прием от 12 до 2». Это исторически поразительно быстро вросший в самую сердцевину жизни кусок быта, – свой, родной, близкий, которого ничем не оторвешь, не заменишь.

– Анна Романовна!.. Анна Романовна! – слышно кругом, – и все мужчины и женщины ласково, даже не замечая этого, улыбаются на ее милую, чуть усталую улыбку, как улыбаются близкому члену семьи, к которому лежит сердце.

Я спрашиваю кондукторов, сцепщиков, – со смены едут.

– А в других местах как?

– Как? Да так же... – отвечают они, чуть удивляясь вопросу, – ведь это же депутаты, наши депутаты.

Тепло стало на сердце. В депутатах нашли печальников своих и идут к ним и с горем и с радостью...

Сокол – это городок около Вологды. Кру-

гом – снега, леса, а в городке огромный целлюлозно-бумажный комбинат. День и ночь громяхают его гигантские машины. Он выбрасывает груды бумаги, обслуживая множество газет, типографий и спичечные фабрики. Девяносто процентов спичечных коробок оклеивает бумагой комбинат. Без оклейки спичечную коробку не сделаешь.

Мы идем по улочке. Надвигаются северные сумерки, глотая деревья, домики, громаду комбината. Снег все завалил, ждут наводнения Сухоны. Сухона – взбалмошная река: иногда ни с того ни с сего поворачивает назад, и воды громадно несутся вверх против течения, причиняя огромные разрушения.

Вдруг во мгле сумерек высоко, высоко вспыхнула – весь городок видит – красная пятиконечная звезда. Улица сразу преобразилась – оживление побежало по всему городку из улочки в улочку, из домика в домик. Домохозяйки, работницы ласково заулыбались. Рабочие, шевеля усами, сдерживают улыбку. Ребятишки что есть духу несутся по улочкам и верещат:

– Ай, зажглась!.. Зажгла-ась!.. А я думал,

сгасла...

И в домах, и на улицах, и за городом, и по реке, сколько только видно, весело и радостно повторяют одно:

– Зажгла-ась!..

Я думал, это – просто всегдашняя эмблема Советского Союза. Секретарь райкома объяснил:

– Нет, звезда не всегда горит. Она загорается, только когда комбинат выполнит дневной план. Как дело к вечеру, все с нетерпением глядят – загорится или нет. Как загорится, только и слышно и в городе и по соседним колхозам: «Зажглась! Зажглась!..» Просто сказать – радость у всех.

У меня опять потеплело на сердце. Население, все население следит, печалуется или радуется успехам своего громадного детища.

...Пошли в заводскую столовую. Чисто, уютно. Глядят со стен хорошие картины, белеют чистые скатерти, живут цветы. Спросил, сказали: «Картины местных сокольских и вологодских художников». Славно сделаны: местный быт, северная природа, колорит – свой: леса, озера, медведи, птица, охота. Все

свое, местное – и художники, и природа, и быт. И сколько я проехал, везде то же: местная жизнь начинает обслуживаться местными художниками, местными журналистами, местными писателями. Кануло в вечность время, когда царско-буржуазный центр высасывал из прежней провинции все соки, все силы, все дарования. Теперь жизнь в районах самодовлеет. Конечно, не везде одинаково – в иных местах полнее, в иных – с изъянами.

Перебывал я во многих клубах. Как они растут – и количественно и качественно... Особенно они хороши у железнодорожников. Выступали мы в Няндоме, Архангельской области, – крохотный городишко, пока еще смахивает очень на деревню. А какой прекрасный железнодорожный клуб: чисто, необыкновенно уютно, красиво, тепло, – невольно хочется посидеть, отдохнуть, почитать. Умеют железнодорожники любовно, умело, заботливо ухаживать за своим клубом и дать возможность своим товарищам отдохнуть после работы. Свои же самодеятельные кружки дают хорошие постановки. Ну конечно, в иных местах есть очень плохие клубы – гряз-

но, холодно, неудобно, поломанная мебель, – клубы вроде соломбальских в Архангельске, – но таких меньшинство.

Спросил я в сокольской столовой:

– Это столовая для инженерно-технического состава?

– Да нет же, рабочая заводская столовая. Рабочие приходят, приняв душ, в чистых костюмах.

Вечером мы выступали перед большой аудиторией. Прекрасный клуб, зал набит до отказа: рабочие (да их не отличишь от инженеров), техники, инженеры, педагоги, врачи, учащиеся старших классов, женщины – домашние хозяйки. Началась лекция. Сначала кашляли, слегка перешептывались, сморкались, оборачивались друг к другу, белели улыбки. Но по мере того как лекция разворачивалась, зал наливался тишиной. Давно перестали шептаться, наконец перестали кашлять.

Я рассказываю о том, как выбивались в писатели в царско-буржуазное время, – это было мучительно. Сколько даровитейших людей, чудеснейших писателей погибло. Царь Нико-

лай I убил Пушкина, Лермонтова, замучил Полежаева, Чаадаева. Воспитывались тогда честные писатели в ссылке, по тюрьмам, на каторге. Сколько погибло в нищете, в безвыходности!

А теперь, в советское время, как пристально следит наша партия за созданием кадров советских писателей. Сколько внимания, бережности, поощрения, ласки... И как мудро и осторожно выправляются ошибки теперешних писателей... Этого нет нигде в мире ни в одном буржуазном государстве, да и быть не может по самому существу.

Рассказываю о том, как работали в предреволюционное время лучшие тогдашние писатели в основанном и руководимом Горьким издательстве «Знание». Когда пришла Октябрьская революция, часть этих писателей сбежала в капиталистические государства и стала во враждебную позицию по отношению к своей родной стране.

Революция разрушила не только царский, но и буржуазный строй, потрясла мир. Предреволюционные писатели испугались. Они были в царское время совершенно отрезаны

от рабочих, не имели никакой с ними связи, не знали пролетариата, и поэтому не верили в его творческие силы, в его способности создать социалистический строй. Вот откуда черная измена своей родной стране части предреволюционных писателей.

А теперь наша литература – лучшая литература в мире. Она насыщена великими идеями социализма, насыщена правдой. Буржуазная же литература лжива. Она не может писать, что рабочие и их дети вымирают от нищеты, от голода, что их убивают нечеловеческой эксплуатацией, ибо эта правда убийственна для буржуазного строя, и он не позволяет давать ее.

Стояла тишина, такая тишина, как будто всю аудиторию занимал один человек и глядел не мигая: ни звука, ни шороха.

И у наших писателей, говорил я, бывают ошибки, даже провалы, но у советской страны есть могучая сила всенародного контроля трудящихся. Государственное литературно-художественное издательство на последней странице каждой выпускаемой книги печатает: «Товарищ читатель, когда прочитаете



эту книгу, напишите нам письмо, какое она произвела впечатление, укажите достоинства и недостатки произведения, государственное издательство и автор учтут это».

И я каждый раз спрашиваю у слушателей, пишут ли они такие письма. Все конфузливо молчат. А ведь это – долг, общественный долг каждого советского гражданина. Мы виноваты, мы, писатели, что не приучаем читателя к массовому социалистическому контролю над литературой: и литература росла бы, и читатель вырастал бы, и писатели росли бы. Нет, еще не умеем мы, писатели, завязать крепкие органические связи с читателем, да похоже – и попыток не делаем. А ведь теперешний читатель – это не читатель буржуазного времени, о котором Щедрин сказал: «Писатель пописывает, читатель почитывает». Советский читатель страстно хочет связать литературу с жизнью и жизнь с литературой.

...Кончилась лекция. Посыпались сотни записок, и на каждую надо было отвечать. Время шло, было уже за двенадцать, а слушатели все подносили записки, – хоть до утра готовы оставаться, а ведь утром на работу рано надо.

Если отвечать, так до утра, – так и говорят, готовы сидеть до утра. Необузданная жажда связать литературу с жизнью, с ее запросами, с ее противоречиями, с ее сложностью.

Писатель должен бы очень настойчиво поставить перед собой вопрос: раз ты приехал в область или в край для лекционных выступлений, необходимо познакомиться с жизнью этого края, этой области. Ведь вот на Урале и на севере – чудеса: как грибы растут заводы, города. Да города-то нередко на непроходимом болоте, на непроходимом болоте, не на столбах, не на сваях, а создают новую почву, метра в два, которая ложится на материк. А люди!

Мы, писатели, еще мало знаем родную страну. Она быстро изменяется. То, что вчера было ново, сегодня уже стало привычным. Жизнь могуче раздается вширь и вглубь, несказанно усложняется. За ней нужно непрерывно поспевать, – иначе отстанешь, иначе будешь видеть только прошлое.

## Клятва\*

Пришлось мне побывать в Курской области. Пригласили меня в село Беседино, центр Бесединского района, на праздник юных животноводов.

Нудно покрапывал дождик. На деревянной незамысловатой трибуне стояло руководство района, учителя, гости.

В разных местах большой площади около повозок толпились школьники, краснели галстуки.

В первый раз попал я на праздник шефства школьников над колхозными телятами, жеребятами, кроликами, гусями и пр.

Ребятишки нежно любят своих питомцев. Утром и вечером приходят перед школой и после школы их кормить, вычищают стойла, подстилают свежей сухой соломы, чистят скребницей, потом щеткой. И как эти сытые, с блестящей шерстью телки, овцы, жеребята привязались к своим шефам! Мальчуган спрячется среди товарищей и подаст голос. Телка приподнимает лопухие уши, кинется в толпу ребятишек и расталкивает лобастой

головой, а найдет – лижет ему шершавым языком лицо, руки, трется головой, а он ее обнимает, и стоят, прижавшись, два друга.

Я радовался, да вдруг приостановился: а какой ценой все это покупается? Что, если ребяташки понизили успеваемость, расшаталась дисциплина?

Я стал спрашивать, и все – учителя, колхозники, ребяташки, руководящие районные работники – с воодушевлением рассказали: успеваемость резко повысилась, дисциплина – полная. По району сто шестьдесят пять учеников отставали по учебе и были недисциплинированы, а теперь они – шефы, учатся на «отлично» и «хорошо», отличная дисциплина. Тем ребятам, у которых были пониженные успеваемость и дисциплина, не давали шефства. Это – огромное для них горе...

– Что это?! Что это?..

Все повернули головы, глаза потянулись к далекому перелеску. В смутной дымке покрапывавшего дождя вынесся из-за поворота полуэскадрон. Лошади стлались. Скакали по два в ряд.

Все радостно ахнули:

– Это ребяташки!..

Ближе, ближе... Скачут охлюпью без седел, но не подкидывают, как обыкновенно в деревне, локтями, не хлопают по бокам лошади пятками, – сидят как влитые. Подскакали, натянули поводья, лошади послушно стали как вкопанные. Да ведь это же готовые кавалеристы! Готовые, обученные кони! Ребяташки учат их еще маленькими жеребятами брать барьеры, канавы. Колхозники, гости обступили ребят и их питомцев. Кони слегка помахивают головами, ласково трутся о плечо.

Один из приехавших гостей говорит:

– Вот не думал встретить такое...

Старик колхозник вздохнул и виновато улыбнулся:

– Да мы сами думали: зря ребяташек смущают, не будут учиться.

Колхозники, колхозницы загалдели:

– А теперь радуемся...

– Учатся-то как...

– Дома его не узнаешь, – то, бывало, чего ни скажешь – огрызается, а теперь так успокоительно говорит – душа радуется.

Поднялся учитель Криволапов и, напрягая

голос, громко заговорил:

– Граждане и гражданки!

И слышно было по всей площади:

– ...Дети наши учат нас. По животноводству они выводят наш район в первые ряды. До шефства у нас был падеж молодняка, и не малый, много молодняка было с желудочно-кишечными заболеваниями, – теперь ни того, ни другого нет, растет крепкий, здоровый молодняк. Поклянитесь же, что вы всеми силами поддержите своих детей, и наш район даст прекрасных боевых лошадей любимой защитнице, нашей Красной Армии.

И вся площадь дрогнула от взрыва голосов, и лес рук встал над головами:

– Клянемся!

– Граждане и гражданки!.. Колхозники и колхозницы! Поклянитесь перед Красной Армией, перед всем нашим трудовым народом, что в самый короткий срок снимете и уберете с полей ваш урожай!..

И от взрывов голосов зашелестели деревья. Поднялись руки:

– Клянемся!

– Граждане и гражданки!.. Колхозники и

колхозницы! Все ребята, все школьники, все пионеры! Поклянитесь перед нашей партией, что отдадите все ваши силы, все ваше напряжение, а если понадобится, и самую жизнь, труду и борьбе за счастье, свободу и радость нашей прекрасной родины...

И грянуло неслыханное:

– Клянемся!.. Клянемся!.. Кляне-ом-ся!!

Это было недели за три до 22 июня 1941 года – начала войны. И когда хлынули в наши дивизии призывные, я подумал: родная страна их готовила... давно.

## Ребенок\*

**М**ы проехали железнодорожный мост через реку Иловлю. У нас был громадный эшелон: тысяча эвакуируемых из детдомов ребят и около трехсот красноармейцев.

Солнце невысоко стояло над голой степью. По вагонам собирались завтракать. Раздался сдвоенный взрыв. Потом еще и еще. Поезд остановили Дети, крича, посыпались, как горох, из вагонов. Дальше выскакивали красноармейцы. Все залегли по степи.

Белый дым зловеще стлался над железно-

дорожным мостом. Пятнадцать вражеских самолетов громили мост. Заговорили наши зенитки. Шрапнель падала с высоты трех-четыре-х километров. Попадись ей – насмерть уложит.

Я старался отбежать возможно дальше от вагонов, по крышам которых тарахтела сыпавшаяся шрапнель. Маленькая девочка пяти с половиной лет, нагнув голову, крепко держась за мою руку, торопливо мелькала бо-сыми ножками. На ней были только трусики: выскочили из вагонов в чем были.

Мы прижались к земле. Взрыв несказан-ной силы потряс всю степь. Было секундное ощущение, что вывернуло грудь. Если бы сто-яли, нас бы с силой ударило о землю воздуш-ной волной. Громадно протянулся через реч-ку, зловеще крутясь, волнисто-дымчатый вал. Моста в нем не видно было. Лежавший неда-леко красноармеец поднял голову, посмотрел на белый вал и сказал:

– Не иначе как больше тонны бомба, невероятной силы. Мост как слизнуло!

Били зенитки. Большинство стервятников кинулось в сторону и вверх и улетело. Штук



пять бросились на мирный рабочий поселок, и там сдвоенно стали взрываться бомбы. Черные густые клубы дыма все застлали, и огненные языки, прорезывая, вырывались вверх. Улетели и эти. Только один, черно дымя, штопором пошел книзу.

– По ва-го-нам!

Вся степь зашевелилась, быстро потекла к эшелону. Я тоже бежал, крепко держа за руку Светлану. Она, нагнув голову, изо всех детских сил мелькала босыми ножками. Добежали до полотна. Поезд шел уже полным ходом. Подымил вдали и пропал. Кругом – пустая степь. Мы одни. Слишком далеко забежали от эшелона. Черный дым густо клубился над поселком, разрастаясь, и огненные языки все чаще высывались, пожирая крытые соломой избушки.

Делать нечего. Мы пешком пошли по полотну на другую станцию, расположенную в одиннадцати километрах. В Иловле бушевал пожар, и было не до нас. Нестерпимым зноем дышал песок. Мучительно блестели рельсы. Вдруг Светлана села на обжигающий песок, и крупные, как дождевые капли, слезы про-

зрачно повисли на ее выгнутых ресницах. Она зарыдала, смачивая мою руку горячими слезами.

– Что ты? Что с тобой?

Я ее гладил по головке, вытирал слезы, а она плакала навзрыд.

– Да что с тобой?

Сквозь рыданья она едва выговорила:

– У нее головы нету...

– У кого, дружок мой?

– У нее, у девочки...

– Постой, что ты, где?

– Когда бомбили, знаешь, на Медведице мост? Дети потом, как улетели немцы, побежали смотреть, и я побежала. Мост крепко стоит, а где жили рабочие, все сгорело. А детишки в проулке играли; немцы бросили на них бомбы. А у детишек полетели руки, ноги, а у одной девочки нет головы. А мама ее прибежала, упала, обняла ее, а головы нет, одна шея. Маму хотели поднять, а она забилась, вырвалась, упала на нее, а у нее только шея, а головы нету. А другие мамы искали от своих деток руки, ноги, кусочки платица...

Она перестала плакать. Вытерла тыльной

частью руки слезы и сказала:

– Дедушка, я кушать хочу.

– Милая моя, да у меня ничего нету. Давай пойдём скорее, может, на станции буфет есть, что-нибудь достанем.

Мы торопливо шли, и она опять семенила босыми ножками, нагнув в напряжении голову. Зной заливал степь. Показался разъезд. Одиннадцать километров прошли. Несколько красноармейцев с винтовками, сменившись с поста, сидели в тени. Светлана с искаженным лицом вся затрепетала от ужаса, схватилась за красноармейца и обняла его и винтовку:

– Он опять, он летит!

– Где ты видишь? Небо – чистое.

– Я слышу: «Гу-у-у... Гу-у-у...»

Да, он летел очень высоко, вероятно, разведчик, посмотреть – что с мостом. Она верно передала тот мертвенно-траурный волнообразный звук, который враг тяжело влечет за собой. Чтобы как-нибудь ее успокоить, я повторил:

– Да нет же, никого нет. Небо – чистое.

– Фу ты! Ты, дедушка, глухой. Ты, дедушка, не велишь мне говорить неправду, а сам об-

манываешь. Он летит, чтобы сбросить на этот домик бомбу, и у меня головы не будет.

Она иступленно рыдала.

– Вот пожар, детишки валяются...

Красноармеец гладил ее головку, и она заснула, все так же обняв красноармейца и винтовку, по-детски жалобно всхлипывая во сне. Красноармейцу было неудобно сидеть, но он не шевелился, чтобы не потревожить ребенка. Тени стали короче. Красноармейцы, согнувшись, сидели молча, держа винтовки между колен. Постарше – у него на висках уже пробивалась седина – сказал:

– Вот что страшно: мы наминаем привыкать, ко всему привыкать: дескать, война, и что ребята валяются – тоже, мол, война.

– Ну, к этому не привыкнешь.

– То-то не привыкнешь... Думаешь, только те дети несчастны, что в крови валяются? Нет, брат, немецкие зверюги ранили все нынешнее поколение, ранили в душу, у них в сердце рана. Понимаешь ты, все эти немцы вместе с Гитлером сгниют в червях, и все. А у детишек наших, у целого поколения рана останется.

– Ну, так что же делать-то?

– Как, чего делать! Горло рвать зубами, не давать ему передыху. Их сегодня штук пятнадцать было, а сбили только один. Это как?

– Зенитки на то есть.

– Зенитки есть... Сопли у тебя под носом есть... Из винтовки бей, приучись, приучи глаз, Что же – мало, что ли, наши их из винтовок сбивают?.. Есть у тебя злость – собьешь. Вот малышка маленькая учит тебя, прибежала, а ты: «Зенитки».

У всех глаза были жестко прищурены и губы сжаты, точно железом их стянуло. Помертвело. Один красноармеец привстал, замахал рукой. Конный патрульный, ехавший по степи, привернул к переезду. Еще он не подъехал, а красноармеец закричал:

– Здорово мост разбомбили?

Патрульный молча слез с лошади и, кинув поводья на столбик, присел в тени, повозился в шароварах, достал мятую бумажку, расправил на коленях и молча протянул соседу. Сосед с готовностью насыпал ему табачку. Он с наслаждением затянулся и сказал:

– Мост целехонек. Давеча из-за дыма его не

видать было. Самый пустяк колупнули при въезде. А вечером поезд пойдет.

– Ого-го, здорово!

Глаза повеселели.

– Я говорю: они, сволочи, и бомбить не умеют.

Патрульный сдунул пепел.

– Мост-то они не умеют бомбить, а вот поселок рабочий весь дочиستا сожгли. Народу погибло, ребятишек... Сейчас все ковыряют в углях. Обгорелые трупы тягают. Кур, гусей, коров.

– Чего не разбежались?

– Они, зверюги, чего делают: все самолеты летают по краю поселка и зажигают, а потом – середину. Крыши соломенные, везде солома, сено, плетни, – как порох, вспыхнет, и бежать некуда. В конце и посреди – огонь.

Девочка проснулась, протерла глазки и сказала:

– А пожар?

– Пожар сгас.

– А детишки?

Патрульный только было рот раскрыл, красноармейцы разом загалдели:

– Никого не тронули, все в вербы убежали, к речке.

Девочка шлепнула в ладоши и сказала:

– Дедушка, я кушать хочу.

Красноармейцы завозились, раскрыли свои мешки. Кто протянул ей белый сухарь, кто – кусочек сахара. У одного конфетка нашлась. Маленькая сидела на скамейке, болтала ножками и по-мышьиному похрустывала белым сухарем. Красноармеец сказал, ни к кому не обращаясь:

– Теперь бы в атаку пойти!

Все молчали.

Составитель махал нам флажком.

– Никитин, садитесь во второй от хвоста вагон, на сене выпитесь.

## Веселый день\*

Последнее время на этом участке фронта в Верховьях Дона стояло затишье. И вдруг на рассвете после тяжелой темной ночи раздался залп фашистской артиллерии. Второй, третий – и пошла потрясающая пальба.

Что это! Наступление?.. По нашей линии все напряглось в ожидании, в приготовлении к отпору. Всех: и бойцов, и командиров, и артиллеристов, и минометчиков, – всех, кто ни находился на линии фронта в окопах, в дотах, и дзотах, и в тылу, поражала ничем не объяснимая вещь: фашистская артиллерия бьет не по нашим укреплениям, не по вашим огневым точкам, а по чистому полю, бьет по голому полю, которое раскинулось между нашей и вражеской линиями. Поле – пустынное. Кое-где темнеют голые кустики да виднеются небольшие ложбинки, а в них и котенок не спрячется. Но с потрясающей силой бьет фашистская артиллерия в чистое поле как в копеечку. Гигантские глыбы черной земли страшной тяжестью взлетают в черных облаках дыма и пыли, и после них зловеще ды-



мятся глубокие провалы. Поле разворочено, как будто плуг нечеловеческой громады прошел по нему.

Бойцы безбоязненно высовывались из окопов, с изумлением оглядывались друг на друга.

– Да что за черт!

– В чистое поле как в копеечку...

– Это же денег стоит...

– Фриц сбесился!..

– Без ума жил, с ума сошел.

– Рехнулся...

Бойцы ничего не понимали.

Долго враг бил по пустому месту, разворачивая все новые места на чистом поле, долго глядели и удивлялись бойцы.

...Прошлая ночь была черна и туманна. В этой тьме стоит тишина одинаково над нашими и немецкими окопами. И одинаково прислушиваются в тех и других невидимые часовые. Да вдруг посыплется во тьме пулеметная очередь или высоко вскинется ракета, осветив мертвенно-голубоватым светом дымчатый туман. И опять – мутная тьма; ни звука.

В глухом, не выделяющемся во тьме блиндаже судорожно шныряют по стенам уродливо дрожащие тени от коптилки. Командир говорит:

– Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Кто-то из них с автоматом в руке открыл люк, видимо хотел стрелять по немцам. В открытый люк влетела граната подобравшегося врага. Наши товарищи все от взрыва погибли. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищ, павших смертью храбрых, с честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня. Нужно послать человек десять, пятнадцать. Надо вызвать добровольцев.

– Товарищ Якименко, поговорите с бойцами. Да чтоб не курили...

Якименко вышел, осторожно притворив дверь. Тени судорожно бродили по стенам. Командир, опершись подбородком на руки, глядел красно набрякшими от бессонницы

глазами, не мигая, на разложенную по грубо сколоченному столу карту. Минут через десять бойцы толпой осторожно протиснулись в дверь.

– Ну, подобрались?

– Вот пятнадцать человек бойцов пойдут.

Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец. По лицу бегали тени.

– Товарищ командир, разрешите доложить?

– Ну?

– Я доставлю танк. Мне не нужно этих пятнадцати. Куда такую ораву! Все равно катить такую махину не сдюжаем, а суматоху надеваем на всю округу.

– Так чего же тебе? Один, что ли?

– Двух товарищей, шоферов, разрешите, товарищ командир, взять.

Командир поднял отягченные веки, тяжело посмотрел на него:

– Как только заведете, заревет немецкая артиллерия, сейчас же разобьет – под самым носом ведь у них, и пристрелялись.

– Нет, товарищ командир, тишина будет нерушимая.

– Как же это?

– Разрешите доложить, когда выполню задание.

Командир подумал:

– Ладно, ступай. Ответственность на тебе.

– Есть, ответственность на мне.

Трое вышли и потонули в недвижимой мгле. Человеческого дыхания не было слышно. Не зашелестит помятая трава – все тот же непроницаемый мрак. Трое осторожно, по-кошачьи, ступали согнувшись или ползли на брюхе, останавливаясь и прислушиваясь – беспредельный мрак, океан молчания. Но пробиравшиеся бойцы знали: в этой беспредельности – напряженное внимание. И вдруг вспыхнет мертвенно-голубоватым светом ракета, посыплется короткая пулеметная очередь. Трое бросаются на землю и лежат не шелохнувшись. И опять тьма...

Они скорее почувствовали, чем увидели, черный сгусток среди ночи. Ощупали: да, танк. Сдерживая дыхание, один влез в танк. Пахнуло могильным холодом. Вывернул в моторе свечи. Теперь компрессии не будет, мотор не заведется, не заревет. Потом включил

задний ход – невидимой пушкой танк глядел на невидимые вражьи окопы. Потом вылез и вдвоем взялись за заводной ключ, стали тихо и напряженно проворачивать вал мотора. И танк неосяземо двинулся задом от окопов, но так неуловимо, как будто, не слушаясь ключа, стоял на месте в молчавшей темноте. А те все так же медленно и напряженно крутили, задерживая дыхание, и горячий пот бисером проступил на лбу. Когда сердце больно стало стучать, один переменялся, и так же беззвучно медленно стали крутить. Если бы посмотреть на танк днем, его движение было бы так же неуловимо, как движение минутной стрелки часов, которая, кажется, стоит на месте. И все покрывала ночь своей непроницаемостью. Как ни незаметно, ни неуловимо двигался танк, к рассвету, когда едва обозначились края черных туч, он дополз до нашей позиции. Юнец с озорными глазами явился к командиру.

– Разрешите, товарищ командир, доложить?

– Ну, говори, говори. Как?

– Задание выполнено. Танк доставлен це-

лым и невредимым.

– Как же это вы ухитрились?!

Боец рассказал.

– Молодцы ребята! Будете представлены к награде.

Только он это сказал, на вражеской позиции грянул артиллерийский залп. Потом еще, еще.

Все засуетились.

– Наступают, что ли?

Прибежал запыхавшийся боец.

– Дозвольте доложить, товарищ командир. Артиллерия ихняя бьет не по окопам нашим, а по пустому месту, где стоял танк. Все место изрыли.

Командир вышел, стал смотреть в бинокль. Залпы сотрясали поле.

– А ведь сбесились!..

На другой день наша разведка привела двух «языков». На допросе они согласно показали: когда утром совсем рассвело, немцы глянули, ахнули: танк исчез. Немецкое начальство сейчас же арестовало часовых. Стали ломать голову, куда же делся танк. Уехать

на нем не могли, мотор бы ревел, гусеницы бы лязгали, поднялась бы тревога. Откатить на руках не могли: такую махину не сдвинешь. Взять на буксир тоже не могли, буксир поднял бы рев. Долго ломали головы. Один из офицеров сделал предположение, единственно приемлемое: русские – хитрый народ... они просто замаскировали танк. Поле местами покрыто кустарником, кочковатое, в ложбинах. Русские подкопали танк, он опустился. Сверху накидали земли, натыкали кустов, и танк исчез. Начальство немецкое приказало обстрелять из орудий поле, где можно было предположить замаскированный танк, чтобы обнаружить его. Заревели орудия.

Когда наши бойцы узнали, как опростоволосились немцы, грянул такой ядреный хохот, что поле опять задрожало: хохотала пехота, хохотали артиллеристы, хохотали минометчики, улыбались командиры. Веселый был день.

## Творчество\*

Какая строгая река Ока! Какие у нее богатства! Стройные, вознесшиеся по берегам суровые сосны, с темными верхушками под бегущими облаками. Могучие поля. Здесь живут люди, не знающие старой затхлой нищеты, убогости, тьмы, невежества.

Мы подъезжаем к совхозу «Зендиково», по имени соседней деревни Зендиково, под самой Каширой. Но что это?! Или я не туда попал? Я знаю историю этого совхоза. Он был – полная чаща: тысяча свиней, коровы, телята, лошади, постройки для рабочих, для скота, для фуража, полеводство, огороды, парники, сады. Стали подступать в 1941 году к Москве немцы, стали бить из орудий по Кашире, по совхозу. Вошли в совхоз. А когда, бежали под ударами Красной Армии, совхоз был пустым местом – ни построек, ни корма, ни продовольствия, лишь стоял старый с белыми колоннами дом (совхоз помещается в старинной помещичьей усадьбе). Красные раны его кирпичных стен от орудийного обстрела и черные безглазые окна далеко были видны



по старинной липовой аллее.

Надо было собирать совхоз наново и возможно скорее, ибо продукция его идет в Красную Армию. Но откуда же взять денег, материал, поголовье, транспорт, машины? Ведь у правительственных организаций каждая копейка, каждый станок, машина, доска на счету, – война. Каждый это понимал. А надо было из положения выходить. И вышли.

Все рабочие, все служащие, все специалисты, все, от уборщицы до директора, трудились, не зная ни сна, ни отдыха. Бросались во все стороны, всеми правдами и неправдами стали добывать свиноматок. Но кто же даст хороших маток? Набрали с бору да с сосенки костлявых, с нищенским приплодом. А за год сумели из их все улучшавшегося приплода создать стадо свиноматок в тысячу голов с приплодом в десять и больше отличных поросят.

Я хожу по свинарнику. Чистота, а когда разговариваешь со свинарками, чувствуешь их уверенность в себе, уверенность в своих знаниях, которые приобретены тут же, во время работы.

– Как же вы умудрились за год так улуч-

шить породу?

– Что ж тут такого? Мы достали очень породистых производителей, а главное – уход и отбор приплода. Видите, какие поросята упитанные, крупные, а послабее – мы их на откорм, потом режем, приплода от них не допускаем. С кормами плохо, прежде вдобавок к нашим кормам нам еще подвозили, а теперь, как война, нам ничего не дают; спиртовой завод, с которого мы получали барду, закрыт. Тут уж трудно стало. Директор наш, товарищ Пронкин, бьется как рыба об лед, сам ежедневно составляет рацион свиньям: то одно, то другое, какая пища полезнее из того, что есть, – все опытом. Оттого и большой привес. Уж в лепешку разобьется, а корма достанет. Ну, поросята и прирастают сверх плана.

Встречаюсь с пчеловодом. Сын крестьянина. Морщины труда, трудовой заботы легли на худое лицо. Он пчелу знает насквозь, она ему послушна и трудолюбива. Она наполнила полторы сотни ульев, обильно дала государству мед.

Вечером я сижу в кабинете агронома, Антона Ивановича Очкина. Какой там каби-

нет, – просто холодная комната, холодный стол да несколько таких же холодных стульев.

У Антона Ивановича такое худое лицо в морщинах, которые старят его. Очки на заострившемся носу придают ему еще более старческий вид. Но это первое впечатление тотчас же меняется, как только узнаешь его работу, его чудовищную настойчивость, напористость. Он весь поглощен своей специальностью, – в ней его жизнь, радость, счастье, в ней у него весь мир.

Кругом сидят женщины, с закутанными в платки головами. Все – полеводы. Есть кончившие семилетку, есть малограмотные, а есть совсем неграмотные, но все сжились со своей полеводческой работой, прекрасно работают.

Антон Иванович, близоруко и ласково глядя сквозь очки, разговаривает с бабушкой Урыловой. Она неграмотная, и зубов нет, – ей семьдесят лет. Когда еще девчоночкой работала у помещика, ее осенью заставляли жать камыш: вода холодная, пиявки поприлепятся и сосут кровь, и однажды она еле выбралась

на берег и упала без сознания, – много высали. Антон Иванович ласково и ехидно спрашивает ее:

– Как у вас с фекалиями? И зачем они вам?

– Да как же! Надо же подкормить растения, а там азот.

Бабушка с фекалиями, с фосфатами, с подкормкой растений – запанибрата, дает рассадку всему колхозу и перевыполняет план в два-три раза. Когда пришли немцы, бабушка Урылова ухитрилась спрятать, помимо других семян, две тонны одного луку, а когда их прогнали, принесла Красной Армии в подарок тонну луку и остальным луком сумела обсеменить все парники и обеспечить огороды. Бабушка училась обращаться с растениями у Антона Ивановича, а теперь Антон Иванович в затруднительных случаях бежит к бабушке советоваться.

И все женщины, сидящие здесь, так же напряженно, просто и умело работают, и полеводство, огородничество в совхозе удивительно растут. Да и как не расти? Антон Иванович спрашивает их, все так же ласково глядя сквозь стекла:

– Ну, а как насчет второго урожая картофеля?

– Да как, обыкновенно. Посадишь, вырастет, подкопаешь куст сбоку, выберешь крупные клубни, которые уж созрели, тут же польешь подкопанную ямку, подсыплешь туда же подкормку, либо биологическую – навоз, либо химическую – суперфосфат и другое. Ну, зарываешь, окучиваешь куст. А в кусте-то, как показывает опыт, образуются новые завязи до восьмидесяти штук на куст. В тысяча девятьсот сорок втором году, несмотря на позднюю подкормку, план сбора картофеля перевыполнили. А теперь, чтоб раньше собрать первый урожай, будем садить по утепленной почве: при посадке, наряду с удобрением, подкладываем под посадочную картофелину навоз, он и держит повышенную температуру, пока солнце не согреет всю землю.

Объяснявшая колхозница замолчала и поправила платок на голове, потом вздохнула: у нее убит муж на фронте.

Антон Иванович доволен своими ученицами. Но его уже осаждают другие мысли, проекты, начинания, опыты. Вот установлено: в

Каширском районе по климатическим, почвенным, метеорологическим и другим условиям нельзя сеять ячмень. А ячмень, смешанный с овсом – прекрасный корм. «Как это нельзя сеять!» С этих пор Антон Иванович не знал ни покоя, ни отдыха, не видел ни людей, ни обстановки. Одержимый! С карандашиком и бумажкой все подсчитывал. И задачу решил вдвойне. Он посеял ячмень в смеси с овсом. Овес посеял чуть-чуть раньше, так что, когда овес созрел, он был выше ячменя на два-три сантиметра и тенью своего колоса покрывал колос ячменя, не давая ему окостенеть и ломаться и сваливаться при уборке. И теперь получает отличные урожаи ячменя с овсом, которые при уборке комбайном смешиваются.

Антон Иванович ходит с невидящими, куда-то устремленными сквозь очки глазами. «Ну, ладно, картофель у нас с двумя урожаями, на полях – отличный урожай. Ну, а дальше что? А дальше... дальше урожай должен быть еще великолепнее. Что же сделать? Да ведь...»

Антон Иванович мчится к начальнику по-

литотдела, и очки у него скачут по носу.

– Николай Сергеевич, слушайте: что могли, мы все сделали, ну, а про организацию труда забыли. Нужно осуществить звеньевую систему. Звено – вот основная ячейка труда. И у нас надо. Как же иначе? Так везде.

Как бы ни были творчески заряжены работники совхоза, никогда их творческая работа не слилась бы в один общий поток, если бы отсутствовала направляющая, объединяющая все их усилия рука. В совхозе есть такая рука, это – Николай Сергеевич Филатов, начальник политотдела, мягкий, ласковый, но с железной рукой. Он непрерывно следит за каждым работником и работницей совхоза, следит за свинарником, за огородом, за пчелами, за садом, за полеводством, за развлечениями, за бытом рабочих, за их политическим ростом, за их творческим ростом. Он, как опытный дирижер, ведет оркестр совхозной жизни, работы, совхозного творчества, и оркестр звучит согласованно и могуче. Он не упускает ни одной возможности, чтоб не поднять в той или иной форме работы в совхозе.

Но кто же изумительно быстро восстано-

вил этот великолепный свиноводческий совхоз, разрушенный немцами? Женщины... Девяносто процентов рабочего состава в совхозе – женщины. Это они творчески работают, непрерывно подтверждая свою работу опытом. Кто же они, эти не покладаящие рук работницы? Это – веселые, смеющиеся, румяные, брызжущие радостью жизни девчата. Это – жены рабочих, которые на фронте. Это – пожилые домохозяйки; это – вдовы; это – старухи, не уступающие молодым в работе, а часто они и учат молодых и делятся своим опытом с молодежью.

И как глянешь, везде по совхозу озабоченно мелькают платочки, и редко-редко встретишь черный картуз. И все результаты своего труда они отдают Красной Армии.

Да разве работницы совхоза «Зендиково» одиноки? Вся страна, вся родная страна полна могучего творчества. Это она родила Красную Армию, полную громадного творческого напряжения в этой страшной борьбе, неповторимого ни в одной стране мира. Это она, родимая страна, ломает и ломает окончательно хребет подлому, залившемуся кровью вра-



гу.

Совхоз «Зендиково» – маленький, затерявшийся в необъятных просторах страны светоч, но свет его творчества сливается с озаренно-бушующим океаном творчества всей социалистической страны.

За прекрасную работу по восстановлению хозяйства коллектив совхоза получил Красное знамя Государственного Комитета Оборона и первую премию – незабываемая награда.

## Юная армия\*

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.

Большак круто перегибается в глубокий овраг, на мост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса поглядывая на него. Вокруг в беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам –

от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчишки и девочки.

После некоторой паузы один сказал:

– Думал, думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя – услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а...

– Да где ты пистолет возьмешь! – с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.

– Фу, да у дяди Вани скрал бы! Да слышать выстрел, и на морозе порохом воняет.

– Как же ты сделал?

– Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец остро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва – старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота... Ну, я.

– Знаем, знаем! – закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам раздумывавшееся на морозе лицо.

– Знаем! Ну? – дружно откликнулись мальчишки и девочки.

Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали как

НОВУЮ.

– ...а возле вербы тропочка – к колодезю в овраг фрицы за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило...

– Знаем, знаем! – опять радостно закричал маленький.

– Ты-то чего кричишь! Глухие, что ль!.. Ну, рассказывай!

– Ну, я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет – кто-то лез. Зачнут стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва да с обрыва и сиганул в овраг. А в овраге ветром наметло снегу – лошадь утонет. А я по дну под снегом-то поперек оврага ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну, руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фрицы, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру – фриц идет в маминой кацавейке да в соломенной обуви.

– Эрзац называется.

– ...а на голове мамин платок...

– Ни мужик, ни баба!

Все захохотали.

– Ну, я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву...

Охнули все...

– Промахнулся?..

– Ды он, сатана, как раз повернул голову, высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.

Хотя и в двадцатый раз слышали все это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.

– Прибежал фриц назад, а за ним пять фрицев с автоматами. Глянули, а на этой стороне, где я из кустов сиганул в снег – весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на тот край оврага, и только я слышу: «Партизан!» «Партизан!» А у этого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.

Все опять радостно захохотали, захлопали в ладоши. Потом замолчали.

Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.

К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:

– Ты куда идешь, гражданин?

Ребята толпой обступили.

– А тебе что?

– А то, неизвестных надо ловить и доставлять.

– А тебя кто уполномочил?

– Документы у тебя есть?

– Есть.

– Покажи!

– Вот приду в деревню, кому следует – покажу.

– А ты в какую деревню идешь?

– В Овражную.

– Да это наша деревня!..

– Вот и хорошо.

– Ну, пойдём, гражданин.

Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.

«Вот странное положение, – радостно подумал Курмаяров, – ребяташки меня арестовали, никогда бы этого себе не представил», – и так же радостно прятал улыбку в усы.

– Вы, что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?

– Зачем всех? – сказал старший. – По дороге ходят из нашей же деревни либо из соседских, а мы всех их знаем. А как незнакомый, да чужой, да еще ночью – тут уж держи ухо востро.

Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребяташки все так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.

– Ну, как же вы караулите? Чай, храпите ночью – ходи кто хочет!

– Ишь ты, на-кась выкуси! – протянул старший кукиш. – Караулы ставим. Ночью – возле нашей деревни в овраге, на мосту, его не обойдешь, а днем – в лесу возле поляны.

– Почему такая разница ночью и днем?

– Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково темно и над лесом, и над поляной. Ся-

дешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высокие и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь – убьешься. Вот они только днем...

Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:

– Они спустились, а мы их поймали.

– Да били дубинками, – звонким голосом закричал торопливо маленький, боясь, что его перебьют.

– Одному голову разбили, а другому глаз.

– А он скривел! – закричали девочки.

– А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.

– Куда же вы их дели? – спросил Курмаяров.

Ребята опять дружно закричали:

– А мы их связали и в сельсовет представили. А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.

– А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.

Дети вдруг замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и оттого, что слабо, мрачно чернели

остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.

– Вот наша деревня, – тихо сказал самый маленький.

И Курмаяров спросил то, о чем не решался спросить раньше:

– Дом против школы уцелел?

Ребятишки дружно ответили:

– Это Марфы Петровны-то? Нет... И печей не осталось.

– Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.

Курмаяров шагал, опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.

Один из них показал на огонек:

– Вот наша школа.

Среди кладбищенского покоя сгоревших жилищ вдруг приветливо мигнул огонек. Курмаяров вздохнул.

– Пойдем туда, – сказал старший. – Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!

И, помолчав, опять сказал:



– У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа и сельсовет, остальное все сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

– Как же вы живете? – спросил Курмаяров. – Холодно же...

– Так строится народ, шибко строится – двенадцатый дом кончаем, всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой, – их немцы не занимали – трех коров пригнали и помогают строить... Ну, вот и пришли...

Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход внизу. Курмаяров подумал: «Молодцы ребятишки, боятся, как бы их „гражданин“ не смылся за угол».

Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребятишки привалились к столу, а двое остались у двери, прижав ее потуже.

– Ну, что? – сказал человек в ушанке, не

поднимая головы.

Ребята гурьбой прокричали:

– Вот гражданина на мосту словили, по дорогам ночью блукает...

– Документы? – сказал человек, все так же не поднимая головы.

– Да то-то вот, не хочет показывать документов! – закричали ребята.

– Документы! – сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.

В вонючем махорочном дыму – молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке наконец поднял голову и остолбенел. Запинаясь, сказал:

– Да... это... вы! А мы вас ждали на машине, все прислушивались, нам по телефону сказали со станции.

Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:

– Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.

Курмаяров сел и увидел, что у человека в

ушанке одна нога, а вместо другой – деревяшка.

– Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.

– Ой! – всплеснула руками девочка. – А я думала: известные писатели – молодые.

Ребята испуганно загалдели:

– А мы его арестовали! Смотрим, своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайти, повалить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет палить в нас из пистолета.

– Вот еще растрепы-то! – сердито сказал в ушанке.

– Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой, – конфузливо оправдывались ребята.

Курмаяров слегка улыбнулся.

– Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел...

Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.

– Ну, вот что, – сказал человек в ушанке, – гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.

Ребят как ветром сдунуло.

– Ну, я в суматохе забыл вам представиться: я – новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председатель колхоза – ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так на бумажке пишет.

Через двадцать минут большой школьный зал был до отказа забит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики и инвалиды.

Молоденькая комсомолка, с милыми конопатинками, открыла собрание:

– Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам...

– Пришел своими ногами, – дружно поправили ребята.

– Он еще мальчиком в царское время

уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных, местах, а теперь приехал... навестить родину...

– Пришел своими ногами... – опять упрямо зашумели ребятишки и девчата.

– Не хулиганить! – заревел председатель сельсовета.

– Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.

Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами и обычным голосом сказал:

– Читали вы, товарищи, Тургенева «Бежин луг»?

Все удивленно молчали, переглядываясь.

– Помните ребят в ночном: они стерегли лошадей, а Тургенев подошел – на охоте был, – подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.

Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:

– Да мы на все поля вывезли на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалии, устраивали снегозадержание. Урожай во какой бу-

дет!

Пожилая женщина подала голос:

– Да как им, ребятам, не быть нынешними!

Замучил зверь-немец! У ме... ня сы...сы-нок...

Она зарыдала.

– Мама, мама!.. Пстой!.. Я им лучше прочту.

Тоненькая школьница шестого класса поднялась в президиум, достала измятое письмо и стала читать:

*«...Мамочка, дорогая моя. Я тут много работаю, а ем меньше, чем даже в Курске, когда там с тобой под немцем были. Нас двое: Ване тоже четырнадцать лет, он с Украины. Один преподаватель собрался отсюда бежать, он отлично знает немецкий язык. Я отдал ему это письмо, не знаю, дойдет ли. Мамочка, я теперь тебе уже не кормилец. Хозяйка фермы, когда узнала, что ее муж убит на Восточном фронте, схватила топор и отрубила Ване руку, потом кинулась ко мне и выколола вилкой правый глаз...»*

Девочка захлебнулась, слезы бисером покатались по ватнику. Пожилую женщину по-

несли на воздух.

– Да ведь что же это такое! – охнул зал задыхаясь. – Силосную яму у нас немцы всю набили мертвяками.

Курмаяров опустил голову. У всех одно большое горе – горя реченька бездонная! Глухо сказал:

– Спешил сюда... Матушку, сестренку обнять... – и чуть слышно добавил: – Обеих нет...

Из зала донесся голос:

– Матушку вашу, Марфу Петровну, замучили, а Ньюшу увезли, ироды...

– И у меня мать загубили...

– И у меня...

– А у меня сы-ы-ночка...

– Доченьку мою...

– У меня брата...

И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос мести и страстной, исступленной веры в победу.

– Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай мы тут одни женщины и ребята – мужики на вой-

ну ушли, – но мы все сделаем! Мы перервем глотку врагу!

...Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов и среди них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

## На хуторе\*

Немцы заняли хутор. Он лежал в бескрайней степи возле глубокого, густо заросшего оврага. По дну, сквозь заросли, извиристо сверкал ручеек.

Хутор начисто был разграблен. Сопrotивляющихся и «подозрительных» расстреляли. Скот собрали для отгона на железную дорогу, а там – в Германию. Девушек и молодых женщин согнали в школу для солдат. Двух самых молоденьких – одной шестнадцать, другой пятнадцать лет – повели к офицеру. Шестнадцатилетняя – черноглазая, нос с горбинкой, вырезанные ноздри – отчаянно сопротивлялась, царапалась, кусалась – ей связали руки. Она ни за что не хотела идти, падала, тащилась – солдаты озлобленно понесли на руках.



Маленькая шла с остановившимися, по-детски голубыми глазами. Нежное личико просило пощады.

Их доставили к хорошему куреню на краю оврага. Вышел офицер, холодно глянул, кивнул, ушел. Старшая девушка, с ненавистью оглядываясь, как волчонок в тенетах, старалась незаметно развязать себе руки.

Офицер ушел в горницу, побрился, вытерся одеколоном, тщательно сделал пробор в рыжих волосах, посмотрел в походное зеркало, закурил сигару. Походил по комнате. Подошел к окну, прислушался: будто далекие, ослабленные расстоянием выстрелы? Еще прислушался – ничего.

Это был боевой, считавшийся храбрым, немецкий офицер. Когда шли в атаку широкой цепью, он шел позади и стрелял в солдат, если они начинали отставать, а стрелок он был отличный. Перед ним шла вторая шеренга, но коротенькая – она прикрывала его. Ему везло: до сих пор и ранен не был.

Офицер позвонил в походный пружинный звонок. В горницу вскочил денщик, вытянулся и покорно уставился собачьими глазами.

Офицер молча сделал знак. Денщик покрыл стол маленькой вышитой скатеркой, достал из погребца вина, закусок, аккуратно расставил и исчез. Около крыльца началась борьба: шестнадцатилетняя отбивалась, как могла, плевала в лицо, била ногами, кусалась. Солдаты внесли ее в горницу и вышли. В горнице началась снова борьба.

Взбешенный голос офицера:

– О, русский девка!.. Шволочь!

Пистолетный выстрел... Все успокоилось. Денщики насторожились. Звонок. Солдат кинулся и через минуту выволок за ноги оголенную девушку. Когда тащил, голова мертвой билась по ступеням, разбрызгивая кровь.

Девочка с остановившимися, по-детски синими глазами прошелестела «Ма-а-ма!..» – и стала дышать коротко, поверхностным дыханием, а по лицу потекла бледность смерти. Ее повели в комнату.

– Мама!..

Денщик дотянул мертвую до оврага и сбросил с обрыва. Тело, желтея, скатилось в заросли. Зашелестели листья, закачались ветви. Денщик побежал к крыльцу, вытирая пот со

лба. Его товарищ уже принес ведро воды. Оба засучили рукава и стали чистой тряпкой быстро и умело смывать со ступеней кровь. Потом так же расторопно подмели перед крыльцом и тщательно посыпали песком.

Уже гораздо ближе посыпались за куренями винтовочные выстрелы, и сыпались с перерывами очереди пулемета. Денщик глянул и обомлел: его товарищ бешено неся к машине. С искаженным лицом, поминутно озираясь, шофер заводил машину, и, когда мотор заработал, оба вскочили в машину, и она понеслась, оставляя длинный крутящийся хвост пыли. А опоздавший все бежал и бежал...

Где-то далеко-далеко, точно в тумане, слабо отпечатались последние выстрелы, и все стихло.

Офицер крикнул из комнаты:

– Генрих!

Молчание. Офицер вышел на крыльцо с злыми глазами и сразу осекся – никого! Но страшнее всего – не было машины. Быстро и гибко, как мальчик, офицер спрыгнул с крыльца и побежал за угол. «Да, машины нет». Лишь от того места, где она стояла, кру-

то загибаясь, побежал по улице рябой, как змеиная чешуя, след от шин.

Он бросился к оврагу, а оттуда подымался, трудно опираясь на заступ, высокий старик с изрезанным темными морщинами лицом. Старик подошел, остановился – никак не отдышится. Офицер бросился к нему, протянул руки:

– Спасайт меня! Спасайт... Я много денег отдай... много... много... Я тебя буду спасайт... немцы опять придут... Немец всегда назад, когда уйдет, опять придет... я тебя буду спасайт, а теперь ты меня прятайт... Много денег тебе... Много денег...

Опять вдали отпечатались выстрелы и погасли.

– Спасайт меня!.. Прятайт меня!..

Старик стал задом отступать. Офицер в ужасе кинулся к его ногам, охватил его колени и, глядя снизу по-собачьи, как в бреду, повторял:

– Спасайт... спасайт меня... прятайт...

Старик, с трудом отдирая ноги от его рук, все пятился. А тот тянулся по земле и в самозабвении, с пробивающейся ноткой зверино-

го озлобления шипел:

– Спасайт... прятайт... золото... все... все отдам.

Старик вырвал ногу.

– Уйди, сучий сын, пусти!..

Тот схватился за другую:

– Забирайт... забирайт все!..

Дернул за шелковый шнурок висевшего на поясе небольшого замшевого мешочка, и оттуда потекло струйкой золото. Все так же вцепившись в дедову ногу одной рукой, другой судорожно срывал с себя знаки офицерского отличия. Он неотступно тащился за стариком длинно вытянутой рукой, вцепившейся в дедову ногу, а по пыли извилисто обозначилась тоненькая желтеющая золотая дорожка.

Темные морщины деда стали пергаментными. С неожиданной силой дед с маху развалил ему заступом череп. Мозг вывалился на дорожную пыль, и она быстро стала впитывать оплывавшую кровь. Из-за угла выскочили наши бойцы. Остановились около деда. Офицер все так же лежал лицом в пыли, протянув по земле руку к деду.

– Кто его?

– Я.

Командир показал ногой:

– Это что?

– Его. Купить хотел.

– Ты где прятался?

– В буераке. Бабы с давна глину брали, вырыли в стенке глубокую нору, ну, туда залез. Был там двое суток, ночью за водой выползал. Нонче тихо стало, постреливают, да где-то далече. Вышел, а он выскочил из горницы, глаза вылезли, как у рака, упал на коленки, обхватил мне ноги и давай чирики рваные на мне целовать – никак ноги от него не отдеру. А как вытащил золота, тычет мне, не пускает, дюже обрыл – я развалил ему голову.

Постояло молчание.

– В овраге много народу прячется?

– Есть. Ды теперь вылазиють.

Командир обернулся к бойцам:

– Человек шесть в оба конца оврага пройдите, может, где немцы укрылись. Настороже будьте. А наши пусть вылезают – отогнали.

– А с этим что делать?

Боец кивнул головой. Немецкий офицер все так же лежал лицом в пыли с протянутой

по земле рукой.

– Смешнов и Карпухин, подберите золото, перепишите, заверните в бумагу и в сумочку с остальным золотом – в штаб. Расписку возьмете, мне принесете.

Два бойца разостлали газету, стали собирать золото и, сдувая пыль, осторожно клали на бумагу. Тут были и царские червонцы, и старинные серьги, и брошки в алмазах, и браслеты, и лом золотых часов, перстни, особенно много обручальных колец, некоторые в черной засохшей крови – с пальцами рубили, лом золотых зубов.

Все это завернули в бумагу, засунули в замшевый мешочек и опять в бумагу.

Дед и бойцы хмуро глядели на овраг, отвернувшись от лежащего офицера с протянутой рукой.

– Вот что, старина!.. Теперь зарыть надо. Закопай его.

Старик в судороге передернулся.

– Да ни в жисть!..

– Как это так?

– Ды так...

– Ведь это – зараза! Тут и бойцы, и колхоз-

ники, и дети, всякие болезни могут...

– Мы понимаем... Ну только не буду закапывать. Не нудь ты меня, товарищ командир, как гляну на него, воротит из души. Не боюсь я мертвяков, а как гляну, лезут кишки в горло. Бывалыча, скотина падала в старые годы от сибирки, когда еще Советская власть не приходила, дохла скотина. Так, бывалыча, засучишь рукава, выкопаешь яму в овраге, ухватишь за ноги, за рога и в овраг тягаешь... А ведь сибирка, она и на человека прилипчивая – так энта, животная, понимаешь ее, а энтого не могу, ну вот как перед истинным... Не нудь ты меня, товарищ командир, не нудь. Гляну на него, а кишки лезут к горлу, вот-вот выблюю. Что ты будешь делать!.. – развел он руками.

Командир повернулся к бойцам:

– Двое стащите офицера в овраг. Вырыть поглубже, потуже затоптать.

Боец сбегал во двор, выдернул длинную слегу. Другой срезал в овраге сук, привязал к слеге, зацепили этим крюком мертвеца и поволокли, не дотрагиваясь и не глядя на него.

А из оврага подымались женщины, стари-



ки, дети. Они окружали бойцов, навзрыд плакали, прижимали к груди, не могли оторваться.

– Родные вы наши, близкие, сердце свое вам бы отдали, жизнь вы нам опять принесли...

Ребятишки гладили у бойцов автоматы:

– Много убили немцев?

– Хоть бы раз выстрелить в немца!..

– Ему в пузо надо стрелять, а то промахнешься...

– Вот дуреха. А дед заступом и то надвое немецкую башку раскроил.

– Ничего, ничего, ребята, успеете. Ну-ка, пропустите.

Четыре бойца несли мертвую девушку, завернутую в одеяло. Возле девушки-ребенка, держа ее маленькую холодную руку, шла исхудалая бледная женщина. Она не плакала, она только говорила:

– Дитяtko мое ненаглядное, зернушко мое золотое, чего же ты молчишь! Думала ли я, такая твоя будет жизнь, такая будет мука?.. Все думала – счастье будет в твоей жизни, а вот смерть пришла, не успела ты и доучиться

в школе. Доктор все говорил: сердце твое слабое, надо беречь тебя, а как подрастешь, поправишься. Я сберегла тебя как глаз свой, а вот пришли лютые, все съели и тебя съели... а я... а я... плакать не могу... в две жизни не выплачешь...

Женщины поминутно вытирали слезы. Бойцы мрачно смотрели перед собой. Листья тихо шелестели в овраге. Извилисто поблескивал ручей в глубине.

– Пойдите, вот мой курень, – сказала мать. Лицо ее было смугло, как у дочери, и нос горбинкой, как у дочери.

Все остановились.

– Похороните мою доченьку. Тут бабка ее живет, моя мать. А я уйду, уйду к партизанам. Прощай, доченька, прощай! Не пришлось нам с тобой пожить...

Она поцеловала ее холодные губы и пошла, не оглядываясь, да остановилась.

– А вы что, как теляты, стоите, немцев, что ли, дожидаетесь, чтоб глумляться стали над вашими детьми?! Ишь глаза набрякли у всех, только и знаете реветь...

– Чего же делать-то? – всхлипывая, говори-

ли женщины.

– Как, чего делать? Кто не может к партизанам, идите в тыл, будете мыть белье, чинить одежду бойцам, ступайте в санитарки. Эх, квелые!..

Она пошла, шагая по-мужски. И лицо, смуглое, как у дочери, еще больше потемнело.

Далеко, далеко за сизым краем степным слышалось ослабленное орудийное уханье. Фронт передвинулся далеко.

## **Это – не чудо\***

### **В семнадцатом году**

... Это было в Лефортове 31 декабря, в канун 1918 года. Окна бывшего Алексеевского училища, изъеденного снарядами, ярко светились: рабочие встречали Новый год. Я глянул: направо, налево тонуло без конца в синеве море человеческих голов, без конца, потому что манеж тянулся, теряясь, направо и влево. Стоял тяжело вздымающийся, мерно падающий говор людского волнующегося моря.

В середине, у самой стены, – эстрада крас-

ная. На ней – красный стол. Несколько молодых солдат с безусыми лицами застыли в почетном карауле у полыхающих красным шелком полковых знамен. Львиная голова Маркса глядела из-за зеленой хвои со стены.

В двенадцать часов поднялся председатель:

– Товарищи, на рубеже Нового года даю слово представителю нашей революционной армии...

На эстраде – высокая фигура чернобородого командира. И как только появился он, гул непрекращающихся приветствий наполнил всю громаду манежа.

– Товарищи! – раздается крепкий голос командира. – Новый год начался не сегодня, не сейчас, не в эти двенадцать часов. Новый год начался с Октябрьской революции, когда власть перешла к рабочим и крестьянам. Много еще работы впереди революционному народу, революционной армии – много борьбы. И для этой большой, великой борьбы нужно создать новую армию, на иных, революционных началах. И эта армия создается сейчас, она создается на всех фронтах молодой на-

шей республики. Мы с вами празднуем сейчас здесь Новый год, а наши братья сражаются, побеждают и умирают там, на Дону, в борьбе с Калединым. Ударит час, и мы пойдем этим борцам на смену. Пойдем и победим – к этому призывает нас Родина.

И опять потрясающе гремит манеж из края в край...

Сейчас, двадцать восемь лет спустя, мне вспомнились эти первые дни рождения нашей славной армии.

Молодая Советская республика и рожденная ею в боях и сражениях Красная Армия, скудно снабженная вооружением, душила врагов революции и побеждала их этим скудным вооружением и силой своего морального превосходства, страстной верой в свое правое дело. Наша армия – ведь это были те же рабочие и крестьяне, измученный, истерзанный трудовой народ. Этот народ захватил власть и боролся за нее. Поднялась армия освобожденного народа, широко раскрывшего на мир глаза, впервые заговорившего во весь голос, во всю мощь своей богатырской груди.

Чудесное это было время: и тяжкое, и ра-

достное, и мучительное! В муках, в крови, в боях, в лишениях, но на долгую и счастливую жизнь рождалось новое государство трудящихся и верный страж его – единственная в мире истинно народная Советская Армия.

Не прошло еще и трех десятилетий, а как неузнаваемо изменилась наша родина, как вырос и возмужал ее верный страж!

В результате мудрой политики партии наш народ, наша армия оказались во всеоружии перед лицом грозных испытаний Великой Отечественной войны. Выросло все: и вооружение, и боевое мастерство, стратегия и тактика ведения войны, и люди – наши бойцы.

## **Боевая зрелость**

Осенью 1936 года я несколько дней пробыл на тактических учениях войск Московского военного округа. На полях учений мне пришлось столкнуться с командирами и бойцами всех родов войск – летчиками, кавалеристами, танкистами, артиллеристами. Побывал в танковых, авиационных частях, в кавалерии. Всюду красноармейцы с большим увлечением и энтузиазмом действовали на маневрах,

забывая условную обстановку. Каждый из них соревновался на лучшее проявление своих боевых качеств: выдержки, военной хитрости, инициативы, мужества, быстроты в решении трудных и сложных тактических задач.

Исключительное впечатление оставила выброска «красными» более чем двухтысячного десантного отряда в глубину расположения «противника».

Бойцы-парашютисты сыпались как из мешка. Это было великолепное зрелище. Появление такого воздушного десанта в тылу для любого противника явится самым неожиданным и опасным сюрпризом.

Танкисты с исключительным искусством преодолевали сложные заграждения и препятствия. Атака танков оставила неизгладимое впечатление. Нужно было взять реку. Танкетки переплывали, бойцы переходили вброд. Всюду быстрота действий, высокая мобильность, искусство управления и единство действий на всех этапах пронизали учения войск Московского военного округа.

В самых сложных ситуациях бойцы и ко-

мандиры показывали прекрасные образцы отваги, находчивости.

Я наблюдал, как колхозники, трудящиеся района маневров с неослабным, напряженным вниманием следили за учениями. Их лица выражали гордость и радость за наших бойцов и командиров, овладевающих боевой техникой. Трудящиеся могут спокойно работать. Вооруженные силы нашей страны крепко стоят на страже.

Тактические учения дали мне большую творческую зарядку.

Я воочию убедился, как далеко шагнула вперед наша родная Красная Армия. Я знаю царскую армию, видел ее маневры, хорошо знаком с революционной армией – армией гражданской войны. Ничего похожего нет! Наша современная Красная Армия насыщена самыми разнообразными техническими средствами борьбы, люди большевистского мужества руководят ею.

Прекрасный разбор тактических учений войск дал народный комиссар обороны, маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов.

Пребывание на маневрах показало мне



еще в 1936 году все величие, всю мощь и стройность рядов Красной Армии. Такая армия сумеет любое препятствие преодолеть. Такая армия непобедима!

## **Бойцы**

В 1943 году я приехал в армию гвардии генерал-лейтенанта А. В. Горбатова. Побывал в разных частях, знакомился с жизнью и настроением бойцов. Из-за леса глухо и редко били орудия, А в лесу спокойно и мирно потрескивали костры с навешанными котелками. У костров грелись бойцы.

Было это под Брянском. В пяти километрах от нас сквозь густые леса шла трудно уловимая линия фронта. Невдалеке на пеньках присели два бойца, достали табачку и закурили. Я подошел к ним – они и меня угостили табачком.

– Да нет, братцы, не курю.

– Как же не курите? На войне без курева нельзя. Такое дело, сами понимаете.

Я смотрю на их бравую молодцеватую выправку. На справные шинели, ловко заправленные под ремень, на бережно уложенные на коленях отлично вычищенные автоматы,

на их славные, серьезные, молодые, полуребячьи лица...

Немало исколесил я по нашей земле в годы гражданской войны, побывал на многих фронтах, а таких бойцов в те времена не встречал. То есть это были отличные люди, это были те же герои, но не на многих были такие шинели, и валенки, и рукавицы. И оружие было не то. Беден был наш народ, и бедна была его армия. Помню, как в Таганрогском округе крестьяне со всех сторон везли красным советским войскам с трудом собранный печеный хлеб, муку, сало, пшено, кое-какую одежонку и не брали за это ни копейки: ведь это везли для своей армии. Бывало, устраивали крестьяне и рабочие между собой сборы, привозили и передавали Красной гвардии по двести – триста рублей.

– Як вы уйдете, паны нас сжують, – говорили крестьяне...

И вот как выросла ныне наша армия!

– Вы, товарищи, где учились? – спрашиваю я молодых бойцов, присаживаясь рядом с ними на поваленные деревья.

– Да я восемь классов... – небрежно бросает

один. – У нас в селе десятилетка, но я добровольцем пошел. Вот война кончится, доучусь.

Смотрю, другой как-то сжался, пожевал хвост своей самокрутки, глянул на меня смущенно, швырнул самокрутку и встал:

– А я, – он растерянно улыбнулся, – у меня так семейные обстоятельства сложились, что я только три класса начальной школы кончил, – сказал он, покраснел и, отвернувшись от нас, медленно пошел прочь по тропинке.

«Уж не обидел ли я его?» – подумалось мне. Но мой собеседник, боец, окончивший восьмилетку, сказал, что его товарищу было просто неловко сознаться, что он так мало учился. А вообще-то у них в роте почти вся молодежь – комсомольцы, и почти все окончили неполную среднюю школу. Многие даже десятилетку кончили, другие работали квалифицированными рабочими на заводах и фабриках, третьи были в колхозах трактористами, комбайнерами. А многие ребята полюбили военное дело, стали младшими командирами и мечтают теперь попасть в офицерские школы.

Как бы невзначай, мой собеседник, по-

правляя шинель, расстегнул воротник, и серебряные кружки медалей тихо звякнули.

– Вот и я уж теперь навсегда в армии останусь. Мой отец еще красногвардейцем был. Ну, а я – по наследству... Будьте здоровы! – сказал он и, ловко отдав приветствие, пошел вслед за своим товарищем.

Я поднялся и направился в свой блиндаж. Радостные мысли нахлынули на меня. Я бывал на фронтах во время первой мировой войны. Бывало, спросишь солдата: «Много ли вы учились?» Ответ самый безрадостный. А впрочем, и спрашивать было не нужно: по лицу, по разговору, по манерам ясно было, что он неграмотен. Ныне, в советское время, бойцы Советской Армии краснеют, что окончили три класса начальной школы.

Побывал я в танковых, в артиллерийских подразделениях, беседовал с летчиками... Куда б я ни пришел, где б ни побывал, – всюду новая, смелая, сильная, культурная, деятельная молодежь. Не удивительно, что когда во взводе, в отделении командир выбывал из строя, его место занимал рядовой боец, умело и толково ведя команду и с честью выполняя

боевое задание.

Да разве было что-нибудь подобное в царской армии?

А когда я попал к артиллеристам, разговорился с ними, – так ведь это – математики... Ниже восьмого, девятого класса среди них нет ни одного.

То же самое и среди танкистов. А летчики – это настоящие профессора.

Да какую военную специальность ни возьми в нашей армии, наш теперешний воин проявляет огромную зрелость, огромную способность учитывать обстановку, огромную способность умело сосредоточивать свои силы, ибо наш воин – со светлым умом развитого человека. Он строго выполняет приказы командования, и выполняет их творчески. И он весь пронизан идеей победы.

Где, в какой армии найдутся такие герои, как легендарный Николай Гастелло?! Да ведь он не один. Русские летчики не сдаются: они предпочитают погибнуть. Но, ринувшись в гибельную бездну, они увлекают за собой врагов, врезаются в их транспорты и в колонны.

Где, в какой стране боец, чтобы дать воз-

возможность продвинуться своей пехоте, собственным телом закрывает амбразуру, из которой бьет вражеский пулемет?

Да, русского бойца нельзя повалить. С удивительным упорством бьется он теперь за свою великую родину, бьется за братьев и сестер, бьется за великий советский строй, приносящий стране счастье и радость, счастливую, радостную жизнь. За все это бьются не только русский боец, но и бойцы всех национальностей нашей родины. Ибо, темные, забитые, замученные в царское время, они теперь широко открытыми глазами увидели радость и счастье, ради которых стоит жить.

Нет, это не «чудо», что Советская Армия ломает фашистскую военную машину, гонит немецкие войска из пределов нашей страны.

## **Среди командиров**

Наша машина быстро несется по восстановленной дороге, которую немцы глубоко изуродовали перед своим бегством. По бокам мелькают черные полосы сожженных деревьев. Так – километр за километром.

Вот и Третья армия. Она раскинулась в лесах. В километрах пяти-шести за синеющим

лесом изредка ухали немецкие орудия. Им отвечают наши.

Я знакомлюсь с стоящими здесь частями.

...Какой же славный народ офицеры Третьей армии – простой и задушевный! Отношения между бойцами и офицерами – глубоко товарищеские. И в то же время дисциплина – неукротимая. Вот письмо бойца к своему командиру:

*«Здравствуйте, дорогой отец Карпов, все командиры и бойцы 912 а. н.! Пишет вам ваш сын, ваш воспитанник Савченко Иван Петрович. Со дня рождения полка я находился у вас в 6-й батарее. В этой батарее – моя семья, с которой я бил врага, в этой семье я рос и учился бить кровожадного зверя. С этой семьей я 24 мая ходил вместе со своими боевыми товарищами: Морозовым Аркадием, Макаровым Сергеем, Хорошавцевым, Берязовым и другими боевыми товарищами украсть немца (за языком), чтобы узнать, какие силы врага перед нами стоят. С этой задачей я справился хорошо. Враг почувствовал на себе слабость и начал беспорядочно бежать. Из-под города*

*Мценска мы его гнали и загнали на ту сторону реки.*

*26 июля мы заняли высоту левее Пахомского оврага и там поместили свой наблюдательный пункт, на котором меня и командира батареи ранило. По ранению я попал в город Тулу в госпиталь. Сейчас хорошо заживает рана, скоро обратно пойду бить вшивого гада. Так вот, дорогой отец, так вот я воспитался и учился бить врага у вас, в своей родной семье, 6-й батарее 912 а. п., так я и хочу вместе со своей семьей и помереть за честь всего командования.*

*Дорогой отец! Прошу вас, возьмите меня в свою семью.*

*Ваш сын Савченко Иван Петрович».*

Как видим, отношения командира и бойца – это глубокие, кровные отношения сына и отца.

Да, полк, батальон, рота, батарея – это нерасторжимая семья командиров и бойцов.

Вот почему наша спаянная кровным родством армия ломала холодную бездушную армию железа и стали фашистов.



Кровная спайка идет сверху.

Студент второго курса Петербургского политехнического института Гуртьев пошел добровольцем в армию в империалистическую войну и жестоко дрался с немецкими варварами. В нашу Великую Отечественную войну генерал-майор Гуртьев стал командиром дивизии Третьей армии и дрался под Орлом.

Пораженный осколком снаряда, он упал на руки командующего Третьей армии гвардии генерал-лейтенанта Горбатова и слабеющим голосом прошептал:

– Кажется, я умираю...

И умер.

Генерал Горбатов любил его, как брата. Генерал Гуртьев смело и инициативно выполнял планы наступлений, планы прорывов вражеских армий. Его дивизия одна из первых вошла в Орел и беспощадно громила фашистские дивизии.

Генералу Гуртьеву Указом Верховного Совета СССР посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Два его сына, лейтенанты, тоже сражались

на фронте.

...В нашей Великой, Отечественной войне все стороны русского народа развернулись с чрезвычайной яркостью. Глубочайшая связь командного состава с массой бойцов, неодолимые упорство и стойкость, живая сметка и находчивость в кровавой борьбе и неоглядная преданность своей матери-родине делают Советскую Армию смертельно грозной для врага.

## **Советский командарм**

Я помню генералов старой царской армии. У подавляющего большинства – рыкающий голос, великолепная фигура, величие. Всякий, кто с ними разговаривал, чувствовал этакую незаметную мелкую дрожь. Очень многие вышли из помещичьей среды и сами были помещиками. Нельзя сказать, чтобы они особенно себя утомляли изучением военных наук. К офицерам относились часто свысока.

В дни Отечественной войны я побывал в Третьей армии в разных частях, знакомился с жизнью и настроением бойцов. Как-то меня пригласили к командующему армией гвардии генерал-лейтенанту Александру Василье-

вичу Горбатову.

Маленькая комнатка в сохранившейся избе. Наскоро сколоченный стол, дешевенькая чернильница. Единственное украшение – много телефонов и радиопередача. На столе аккуратно сложены бумаги, приказы.

Генерал – худощавый, высокий. Голое, выбритое лицо, ласковое, не для приема, а всегдашнего настроения.

Это – образованнейший советский генерал. Окончил высшие академические курсы. И непрерывно совершенствует свои военные знания. Прослужил в армии более тридцати лет. Начал в старой царской армии рядовым. Участвовал в войне с поляками и уже тогда обратил на себя внимание смелостью, находчивостью и неожиданным для неприятеля оборотом действий.

На Отечественной войне он с первого дня. Под Ярцевом (Смоленской обл.) был ранен и, не дождавшись полного заживления раны, оставил госпиталь и вернулся в строй.

В битве под Сталинградом он участвовал уже в качестве заместителя командующего армией. А под Орлом сам командовал армией,

и ему принадлежит честь прорыва и взятия Орла.

Генерал всегда проявлял способность к быстрому решению и к рассчитанному, хорошо обоснованному риску. В решительный момент, когда брали Орел, он снял с флангов крупные части и поставил их в центр, рассчитывая, что немцы не посмеют снять у себя части с флангов, боясь, что русские накинутся. Это дало нам перевес в центре. Немецкий фронт был прорван.

Мне очень хотелось знать происхождение генерала, который еще в царской армии получил два Георгия, имеет еще две медали, и за время Отечественной войны получил за Сталинград орден Кутузова, а за Орел – орден Суворова 1-й степени. Я прямо спросил:

– Кто ваш отец? Какого происхождения?

Он сказал, чуть усмехаясь глазами:

– Мужик. Крестьянин. Занимался еще выделкой овчин...

Потом помолчал и, опять усмехаясь, стал рассказывать:

– Бедно жили. Всё богу молились, чтоб из нищеты вывел. Я помогал отцу. Мне было лет

десять. В нашем лесу стояла часовня; двери ее и окна были забиты. Службы в ней не было. Но народ, проходя по дороге, заворачивал к часовенке и молился там. Меня страшно тянуло заглянуть внутрь часовни. Однажды я обошел ее несколько раз, – все забито. Вгляделся, в одном забитом окне была оторвана узенькая планка. С большими усилиями я подтянулся, заглянул в дыру и – обомлел: на полу валялись медяки и сребреники. Очевидно, богомольный народ, проходя мимо, бросал в дыру. Там лежало целое богатство. Но как его достать? Я бросился на колени и стал умолять бога помочь мне достать деньги, а я ему за это поставлю свечку. И бог помог. Меня озарило – я вскочил и пустился бежать к местному сапожнику. Потихоньку стащил у него небольшой кусок вару, приклеил его к концу длинной палки и помчался назад к часовне. Подтянулся, просунул в дыру палку и концом, на котором сапожный вар, нажал на рассыпанные деньги. К моей великой радости, пятаки хорошо приклеивались к вару, гривенники – еще лучше. Целый час я выуживал серебряные монеты, пятаки, трехкопееч-

ники, копейки, даже полушки – и набрал их с горсточку. Я был самый счастливый человек на свете и самый богатый.

Генерал опять ласково засмеялся. Да вдруг – телефон. Лицо стало напряженным, смех исчез. Я подумал. «О-го-го! Да у него железная рука...»

– Так немцев сбили в лес? – говорил он в трубку с суровым лицом. – Бейте их, продолжайте атаку!.. Не смущайтесь, что надвигается ночь и в лесу ночью трудно.

И – положив трубку – мне:

– Наши загнали немцев в лес, да вздумали отдыхать... а их надо перебить, ничего, что темно...

Лицо его опять стало ласковым, и он продолжал рассказывать о своей жизни, о юности, о военной службе. Его супруга приготовила чай, и мы уже за чаем коротали время.

В деревню, где рос будущий советский командарм, приехал передвижной театр. Мальчик мучительно хотел насолить местному кровососу – богатею Щеколдину. Щеколдин всегда садился в театре в первом ряду и сидел там один: никто не мог купить такой дорогой

билет. Да и не смели сесть рядом. А мальчик во что бы то ни стало решил сидеть рядом с богатеем. И вот на деньги, выуженные из часовни, он купил билет первого ряда.

Приходит в театр и торжественно идет в партер к первому ряду. Капельдинер тотчас же поймал его за ухо, рванул:

– Ты куда-а, оборванец? Пшел вон!..

Мальчик обжег его полным ненависти и презрения взглядом, вырвал свое больно ущемленное пальцами ухо и тоном, полным достоинства:

– Мне – в первый ряд.

– Я тебе покажу первый ряд, голоштанник!..

– Да у меня билет первого ряда, – сверкнул глазами мальчик.

Капельдинер взял билет, с великим изумлением смотрел на него, повертел, пожал плечами.

Как раз торопливо проходил один из администраторов. Капельдинер – к нему:

– Вот голодранец лезет в первый ряд.

– Как, в первый ряд?! А билет у него есть?

– Есть.

Администратор тоже посмотрел, повертел, развел руками.

– Ну, раз билет есть... пропусти.

Мальчик торжественно прошел в первый ряд и уселся в кресло рядом с богатеем. Тот вскочил:

– Пшел, драная орясина, – и зашипел на весь зал.

– У меня билет, – с вызывающим спокойствием сказал мальчик.

Богатей подозвал капельдинера.

– Убери эту вонючую скотинку!

Капельдинер развел руками.

– Никак не возможно... Велели пропустить... У него билет.

– Что-о?! – зарычал богатей, выкатив глаза.

– У него билет... – виновато повторил капельдинер, вздернув плечами.

Богатей, полный бешенства, торжественно поднялся и ушел из театра...

...Да, это не рыкающий царский генерал. Бойцы его любят, идут за ним.

## **На освобожденной земле**

Москва!.. Вот она, отодвигается все дальше



и дальше, задымленная синевой. Чудесный город – город мысли, творчества, силы – уносится в синюю даль. А под машиной, слегка покачивающейся, несется асфальт шоссе, по обочинам мелькают дорожные знаки, проносятся необозримые поля, деревни, села. Мелькают здания школ, музеев, клубов, больниц, детских учреждений.

И вдруг все оборвалось; непрерывная черная полоса траурно проносится мимо. Задымленные развалины, почернелые печные трубы, сожженная земля; мертво и пусто. Людей утнали. Немногим удалось укрыться по лесам и оврагам. Жили в землянках, в шалашах, бледные, замученные, голодные.

Солнце коснулось синеющих лесов. Небольшой городок, весь в почернелых развалинах, густо, в рост человека, зарос чернобылом. Из него выглядывают три-четыре сохранившихся домика.

Но – пришел день. Красная Армия погнала зверей. Все преобразилось и стало так, как может стать только в нашей стране: из государственных запасов выдают отборные семена, скот, сельскохозяйственный инвентарь;

колхозы, где не было немцев, везут в помощь освобожденным зерно, кур, поросят, гусей, молодняк. И расправляются на мертвенных лицах морщины, начинают светиться померкшие глаза. Колхозник говорит:

– Лишь бы засеять озимые, а там все образуется.

Заведующая районным здравотделом женщина-врач с такими же блестящими глазами говорит:

– Немцы принесли с собой не только гибель, убийство, смерть, разорение, но и эпидемии: корь, дифтерит, дизентерию, тиф и славу немецкого офицерства – сифилис. А ведь больница, наша прекрасная больница, сожжена. Амбулатория – в развалинах; дом матери и ребенка – в развалинах; аптека сожжена. Вы не можете себе представить, с каким ожесточением, с какой страстью наш медицинский коллектив принялся за работу, за восстановление. Женщины, девушки, недоходя, в страшной усталости, прямо горели на работе. Разыскали не совсем разрушенный дом, день и ночь работали, восстановили, – и опять у нас больница. Правительство присла-

ло медикаменты. Наш коллектив стал объезжать район и бороться с эпидемиями. Все подавили: ни дифтерита, ни дизентерии, ни тифа, ни немецко-фашистской болезни – сифилиса.

Девушка-библиотекарша. У нее живые глаза и такая же радостная непотухающая улыбка победы.

– Я всех писателей, что с вами едут, знаю по снимкам в газетах. И Всеволода Иванова, и Федина, и Симонова, и Пастернака, и Антоскольского... Трудно с книгами, но понемножку собираем. Вот если б нам помогли в Москве – всю бы библиотеку восстановили. Глотают ребятишки книги: не успеваешь выдавать.

Возле, нахмурившись, стоит мальчик лет четырнадцати. Рваные рубаха, штанишки; бо-сой. Он понизил голос и полусшепотом спрашивает библиотекаршу:

– Это кто такие?

– Да писатели же!

Мальчик прыгнул за угол, и оттуда слышно:

– Мамка, давай чистую рубаху.

Везде виден возвратившийся из лесов народ: строят землянки, восстанавливают полуразрушенные дома, откапывают взорванные немцами колодцы, пригоняют в помощь пострадавшим овец, коз, молодняк, птиц, везут зерно. Смотришь: какая это неохватимо-буйная сила восстановления! Это возможно только в нашей стране, ибо в ней от края до края живут братья, живут кровные.

Но вот среди почернелых, мертвых развалин бывших домов, среди буйного, выше роста человека, чернобыла высится большое пятиэтажное здание. Все окна целехоньки, блестя стеклами. В красных кирпичных стенах ни одной пробоины, ни одной раны. Кажется, здесь живет много народу, и сейчас услышишь говор, смех, в окнах мелькнут лица. Но нет, громадное нетронутое здание стоит немо: ни звука, ни движения, а снаружи кругом – легкая огородка и на столбе надпись: «Не приближаться! Здание минировано, может взорваться каждую минуту».

Милиционер попросил отойти. Мы отошли, и около нас сейчас же столпились жители. На лицах лежала еще неизжитая блед-

ность голодной лесной жизни. Зато у всех были ожившие глаза.

– Да ведь они какие кровососы-то! – говорит старик, с нависшими седыми бровями. – Все жгут, разваливают, убивают, но этого им мало. Им надо еще после себя смерть оставить. Вот уйдут, но так сделают, чтоб люди мучительно умирали и после их ухода – и женщины, и ребятишки, и мужчины, и старики.

– Как же это?

– А вот как. Видите это здание? Оно минировано, никого туда не подпускают. Где оно минировано и как, никто не знает, но минировано наверно. Ведь ясно, не иначе как с подлой целью немцы оставили это здание целым, нетронутым. Взрыв может произойти через день, через два, через десять, через сорок дней, – когда хочешь. Вот и жди. Наши минеры, рискуя каждую минуту жизнью, напряженно ищут, где замурована мина.

– Долго вы были под немецким игом? – спрашиваем.

Толпа все растет вокруг. Смотрят, слушают. Так хочется этим измученным людям рас-

сказать о своей тяжелой жизни, из которой вырвала их Красная Армия, заговорить наконец полным голосом, как не говорили уже давно.

– Да ведь ежели б убили – и все, а то ведь глумятся, – сказала истомленная женщина, и не разберешь, старая она или замученная. – Пахали на нас, бревна возили, запрягут и порют плетьюми. Девушек всех – солдатам... – Она вытерла концами платочка скупую слезу... – У меня дочка... – и закрыла глаза опухшими, полопавшимися руками.

– Ну, зато мы им и дали, будут помнить! – сказал мальчик в белой – для писателей – рубахе.

И он стал страстно рассказывать нам следующую историю.

...По дороге немцы гнали громадную, в шестнадцать тысяч, толпу, и они шли, в Германию угоняли: наступала Красная Армия. На много километров растянулись толпы. Медленно двигались повозки, запряженные в них лошади, коровы, люди. На повозках – скарб, продовольствие, детишки. И над всем беспредельно плыла непроницаемая пыль.

Старые люди, изнемогая, тянули повозки. Ослабевших расстреливали из автоматов и приказывали живым оттаскивать их тела с дороги. Если женщина, несшая ребенка и провизию, останавливалась, измученная, чтоб передохнуть, ребенку разбивали голову и бросали возле дороги... Гнали к железнодорожной станции, – там погрузят людей в скотские вагоны, запрут. Скот, лошадей, продовольствие, скарб – все немцы, как правило, забирают себе. Красноармейская разведка выследила немцев, перестреляла из засады часть охраны; остальные побросали оружие, в панике становились на колени, залезали под повозки, кричали: «Гитлер капут». Некоторые еще угрожали... Но женщины, старики, подростки пришли на помощь бойцам. Они сами выламывали палки и били гитлеровцев изо всех сил. Всех забили, вдоль дороги валялись немецкие трупы. Девчата, – сколько их тут ни было, – все кинулись к бойцам, обнимали, целовали, плакали, смеялись.

Старик вел за собою корову. Он подошел к молодому бойцу, низко поклонился, сказал:

– Товарищ, ну, спасибо тебе, спасибо вам,

милые! На, возьми корову за твою доблесть...

– Дедушка, да куда я ее возьму? Что ты?

– Нет, сделай милость.

Старик поклонился, кряхтя, стал на колени:

– Сделай такую милость...

Боец кинулся к нему:

– Да что ты, что ты, дед!.. – и стал поднимать.

Старик совал ему в руки конец веревки.

– Бери, бери... молочка похлебаешь, товарищей угостишь...

– Да куда нам!.. В разведку, что ли, на корове поскачем?

Старик постоял, покачал головой, дернул веревку и пошел с коровой к дальней повозке. Люди стали расходиться, поворачивали повозки, выводили лошадей на траву подле дороги. Глядь, старик ведет телушку.

– Сделай милость, возьми хоть эту!

Боец не выдержал и расхохотался. Улыбались бескровными губами женщины. Смеялись, блестя глазами, девчата. Визжали ребятишки.

...Мы несемся по восстановленной, глад-



кой как скатерть дороге, проезжаем по возрожденным местам. Странное ощущение возникает в груди: как будто нет войны, как будто мирно расстилаются поля, белеют платочки женщин, напряженно засевающих озимь. Могучий, мирный, все восстанавливающий труд!

Но война есть! Вон за тем лесом, в далекой синеве, траурно возникают и мрачно и глухо рокочут орудийные удары.

Я ехал по орловской земле, ходил по Орлу, видел громады вражеских укреплений, развороченных русской артиллерией. Подлый враг бежал, оставив за собой руины. Прекрасные здания старинного города были превращены в груды дымящихся черных кирпичей. Несколько оставленных целыми большими зданий вероломно глядели нетронутыми окнами, тая в себе смерть, – они были заминированы.

Мосты, дороги, колодцы, электростанции, водопровод – все было взорвано: ни воды, ни света, ни проезда. В этих руинах нельзя было жить. А жизнь разгоралась. Тихонько вился

дымок над землянками и над отремонтированными на скорую руку маленькими, не совсем разрушенными домиками по окраинам. Тянулись с котомками, с ребятишками, с ручными повозочками люди; они старались узнать места, где провели целую жизнь.

Команды быстро и напряженно расчищали улицу, восстанавливали водопровод, электростанцию. С тем же упорством, с которым бойцы дрались за Орел, восстановительные бригады возвращают город к жизни. С неменьшим упорством орловские колхозники поднимают землю, постепенно налаживают свое хозяйство. Из неоккупированных немцами районов подгоняют скот, овец, везут в плетенках гусей, кур. Много надо труда, работы, материалов, чтобы город ожил. Но он встает и встанет из развалин.

Нет, это не чудо! Советский народ несказанно упорен в битвах. Он несказанно упорен и в восстановлении всего, что разрушено подлым врагом.

## **Это – не чудо!**

Я вспоминаю, как в старину один из русских отрядов поднимался по ущелью длин-

ной цепочкой. Узкая дорога была вырублена в отвесной скале. С другой стороны дороги далеко внизу бурливо клокотала горная речка. Дорога была до того узкая, что пришлось выпрячь лошадей, и солдаты, надрываясь, на себе тянули лямками орудие. Снизу из-за реки метко стреляли из винтовок, и то один, то другой солдат со стоном падал на дорогу или, сорвавшись, долго летел вниз и скрывался в бело-кипучей реке.

Вдруг впереди орудия зачернелась на дороге выбоина. Если колесо орудия попадет в выбоину, орудие остановится, остановится и весь отряд, который тянется за ним цепочкой, – свернуть и объехать негде, и враг перебьет из-за реки всех. Один из солдат, тянувший лямку, быстро перекрестился и лег на выбоину. Орудие перекатали через выбоину и потянули дальше.

Король прусский Фридрих II, крупный полководец, которого разгромила русская армия, сказал как-то:

– Русского солдата мало убить, его надо еще повалить.

Он очень метко выразил удивительную стойкость русского солдата, то есть русского народа, из которого набираются солдаты. Это черта – национальная.

Когда стала отступать в начале Великой Отечественной войны Красная Армия под напором дико и вероломно напавшей на нас фашистской орды, фашисты с изуродованными звериной радостью мордами ревели на весь мир, что Красная Армия уничтожена, что Советское государство вот-вот будет разгромлено, что советские люди получают то, чего они заслуживают, – рабство, потому что они – низшей людской породы.

Почему же этот звериный рев фашистского ликования вдруг прервался? Почему сейчас они в своих газетах, радио юлят и пятятся, несут ахинею о «гибкой обороне», к которой они будто бы прибегают? Да потому, что Красная Армия страшным своим напором надломила военную машину фашистов. Это было до того неожиданно, что во всей мировой печати раздался крик:

– Это же чудо! Явное чудо, что русская, отступавшая вначале армия вдруг повернулась

и погнала «непобедимую» немецкую армию.

Нет, не чудо! Это вытекает из всего внутреннего строя русского солдата. Если русские солдаты умели замечательно драться за Россию, в которой их чудовищно эксплуатировали заводчики, помещики, плутократы, и этого солдата нужно было не только «убить, но и повалить», то как же возросла после революции эта неохватимая народная сила!

## **Им – нашу нежность!**

В безумном грохоте, в кровавом дыму бьются наши чудесные бойцы, бьются и гонят озверелого врага. Тысячами, десятками тысяч своих трупов устилают фашистские звери советскую землю, поруганную, истерзанную ими, залитую кровью советских людей. Приходит страшная расплата.

Почему же так дерутся, так безудержно дерутся красные бойцы, отдавая все силы, всю свою мощь, отдавая свою кровь? Потому, что они бьются за свою родину, за свою родную социалистическую страну, за свои семьи, за своих жен, матерей, за своих старых отцов и за милых сердцу детей.

Наши бойцы знают: их ребятишки, их се-

мы, что бы ни случилось, не останутся без помощи.

Недавно я был на Дону, в городе Серафимовиче. Там высился на горе великолепный детский дом – немцы сожгли его. Сейчас же, как только выгнали немцев, маленький городок, несмотря на тесноту, отдал детям-сиротам целый квартал.

Заведующая детдомом товарищ Федорова прекрасно обставила жизнь детей, в подавляющем большинстве детей фронтовиков. Их отлично кормят, они хорошо одеты (область прислала одежду и обувь), прекрасно выглядят. Маленькие бегают за товарищем Федоровой и, держась за платье, говорят: «Мама...» Столько ласки и нежности для детей! Комсомольцы, пионеры несут свои заботы детям.

И я вспоминаю старую дореволюционную армию. Семья солдата, сложившего голову за свою страну, шла побираться. Бывало, в зной и холод, в грязь и мороз можно было слышать тоненькие детские голоса, просившие милостыню, и видеть протянутые посиневшие ручонки.

Ответственной задачей комсомола – по-

мочь по всей стране организовать ласковую, полную сердечной теплоты жизнь маленьким ребятам, потерявшим на фронте родителей.

## В гостях у Ленина\*

Я не раз слышал Владимира Ильича Ленина на съездах и конференциях. Меня всегда поражало, что по количеству времени Ленин говорил обычно меньше ораторов, выступавших и до и после него, но впечатление от его речей оставалось всегда колоссальным.

С глазу на глаз я разговаривал с Владимиром Ильичем только однажды. И мне хочется рассказать об этом единственном незабываемом дне, – дне, когда я был в гостях у Ленина.

Как-то под вечер в моей квартире раздался звонок, вошел человек и сказал:

– Товарищ Ленин прислал за вами машину.

Минут через пять я был в Кремле. Молодой красноармеец провел меня в верхний этаж, где была расположена квартира Ильича. Очувшись в маленькой полутемной передней, я стал раздеваться и тут же услышал быстрые

и легкие шаги: из внутренних комнат вышел Ленин. Он разом окинул меня взглядом с ног до головы и, горячо пожимая руку, приветливо сказал:

– Ну-с, пойдете, пойдете...

Мы вошли в столовую. Это была тесная, но удивительно опрятная и уютная комнатка, заставленная простой, довольно потертой мебелью. Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, обставленных значительно богаче. Видимо, в частной жизни, в быту Ильич строго придерживался принципа жить в тех же условиях, в которых живут сейчас трудящиеся массы.

– Как живете? С кем больше встречаетесь? С рабочими или с интеллигентами? Расскажите, – спросил Владимир Ильич, не спуская с меня глаз, как будто боялся, что я убегу.

– Да понемногу и с теми и с другими...

Я был смущен: «Ну, что я буду рассказывать Ленину, – думалось мне, – ведь все, о чем я могу рассказать Ильичу, он давно уже знает, и едва ли это будет ему интересно».

Владимир Ильич чутко заметил мою растерянность и, чтобы дать мне время прийти в



себя, попросил Надежду Константиновну:

– Ты бы нам чайку...

Я не мог представить себе другого человека, который, стоя высоко над людьми, был бы так чужд честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

В тот памятный вечер я увидел Ленина совсем иным, не похожим на вождя и трибуна, каким встречал его ранее на съездах и конференциях. Передо мной явился новый Ленин – прекрасный товарищ, веселый человек, с живым неутомимым интересом ко всему миру, удивительно мягко и любовно относящийся к людям.

– Пишете что-нибудь? – спросил он.

– Трудно сейчас писать: очень много организационной работы.

Ильич нахмурился.

– Да, организационной работы у нас сейчас в стране много. А вам, писателям, необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться. У вас в журнале рабочие помещают свои вещи?

– Маловато, Владимир Ильич, видимо, зна- ний, культуры не хватает.

Он поглядел на меня смеющимися прищу- ренными глазами.

– Ну, это ничего, научатся писать, и будет у нас превосходная, первая в мире пролетар- ская литература...

Была в этих словах яркая вера в человека, в русское искусство, неугасимая действенная вера и любовь к рабочему народу.

На столе появился самовар: он был помят и выглядел поношенным; стаканы, чашки, блюда – все было сборное, а угощение отли- чалось удивительной скромностью.

Неприхотливый, занятый с утра до ночи сложной тяжелой работой, Владимир Ильич совершенно забывал о себе. И сейчас, сидя за столом Ильича, мне казалось, что мы «чаев- ничаем» где-то в глухой деревне, пьем, обжи- гаясь, горячий, из бурлящего самовара, чай, осторожно и экономно покусывая сахар.

Улыбаясь, глядя прищуренными глазами, Ленин все ждал от меня рассказа.

«Да ведь надо, – думал я, – рассказать Вла- димиру Ильичу о рабочих; ведь затем он и

пригласил меня, чтобы заглянуть в тот мир, от которого он порой бывает отодвинут своей колоссальной работой».

– Недавно я был на станции Лосиный Остров, – собравшись с духом, начал я, – там находится крупный арсенал, и в нем работает более тысячи рабочих.

Владимир Ильич придвинулся и наклонился ко мне, ласковый и внимательный. С поразительной, присущей ему живостью, ясностью и интересом он стал подробно спрашивать о жизни рабочих арсенала, об их зарплате, о работе, о школах, об отдыхе. И по этим метким, острым вопросам я почувствовал в Ильиче какое-то особое чутье, глубокое органическое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс. Речь Ленина была скупа словами, но обильна мыслями.

Чувствуя заинтересованность Ильича, я рассказал в тот вечер о том, как рабочие-арсенальцы задумали выстроить у себя клуб. Ни средств, ни стройматериалов у них не было. Райисполком не смог прийти на помощь. Тогда на специальном собрании арсенальцы ре-

шили приспособить под клуб... конюшню.

Ленин внимательно слушал мой рассказ. С висков на углы век набегали морщинки, глаза засветились юмором и добродушием.

– Позвольте, это как же из конюшни клуб? – спросил Ильич, полный живого неутомимого интереса.

– В Лосином Острове жил прежде богатый помещик. Он держал первоклассных скаковых лошадей, а для этих лошадей была выстроена огромная конюшня. Вот рабочие, засучив рукава, принялись переделывать конюшню в театр: вычистили помещение, побелили, прорезали окна, настлали полы, возвели сцену, понаделали мебель, провели электричество, а когда все было закончено, – отправили в Москву делегацию за артистами. Артисты с радостью откликнулись на призыв. Весь поселок пришел на открытие нового театра. Это был чудесный праздник.

Ильич восторженно слушал, и глаза его сияли.

– Ну-ну, – поторапливал он мой рассказ.

Краткому, характерному «ну-ну» Ленин умел придавать бесконечную гамму оттен-

ков – от осторожного сомнения, от едкой иронии до одобрительного поощрения, доступно-го человеку очень зоркому и понимающему все «превратности» судьбы.

– ...И вот рабочие своими силами из конюшни построили, так сказать, фешенебельное «дворянское собрание».

Глаза Владимира Ильича вспыхнули непо-тухающе ярким светом. Он вскочил, корена-стый и плотный, и, держась за лацканы пи-джака, залился чудесным ленинским ребя-чьим смехом. Никогда я не встречал челове-ка, который умел бы так заразительно сме-яться, как смеялся Владимир Ильич. Было да-же странно, что суровый реалист, человек ве-ликих исторических дел может смеяться по-детски, до слез. А Ильич, захлебываясь сме-хом и с трудом преодолевая его, проговорил:

– Только рабочий умеет построить из ко-нюшни «дворянское собрание»; а то ли он еще построит – дайте срок...

Если бы я никогда прежде не слышал об Ильиче, не видал бы его, не знал бы, как отно-сится Владимир Ильич к рабочему классу, – эти слова, а всего более душевный отцов-

ско-ласковый смех открыли бы мне всю глубину его любви, веры и гордости за создателя жизни, рабочего-творца.

Мысль Ленина, точно стрелка компаса, всегда обращена была в сторону классовых интересов трудового народа.

Стирая слезы смеха, уже серьезно, с большой силой, негромко Ленин сказал:

– Страшно дорого заплатили рабочие за свое право быть хозяевами жизни, но в конце концов выиграют они. Это – воля истории.

Надежда Константиновна прислушалась к шуму в коридоре и торопливо вышла. Вернувшись, она шепнула что-то Владимиру Ильичу.

Словно пеленой подернулось его лицо. Взор стал ровным, холодновато-насмешливым, а взгляд твердым и непреклонным. Это был уже не веселый собеседник, а вождь рабочего класса, гениальный полководец пролетарских сил.

– Вы меня простите, – сказал Ленин, – но сейчас получено известие, что белые выбили наши войска из Ростова. Я должен идти работать...

На этом наша беседа окончилась. Я откланялся, с трудом отрывая глаза от Владимира Ильича.

Через два дня было получено сообщение о том, что белые выброшены из Ростова, что Красная Армия гонит их к Новороссийску, а еще через несколько дней страна узнала, что полчища белых сброшены в море.

## **С высоты восьмидесяти пяти лет\***

Скитаюсь, бывало, по горным кряжам. Идешь и идешь, поднимаешься все выше, выше, в гору. Перед глазами кусты, камни, змеистая тропа. Болят ноги, тревожно и напряженно бьется сердце; на лбу – испарина и набухшие жилы. Тяжел и труден подъем. Хочется сесть или лечь, а то и отказаться от подъема к манящей вершине. И вдруг оглянешься и ахнешь: какой простор открывается с вершины! И радостно вздохнешь... И почему-то грустно, и рой неосознанных дум и образов волнует сердце.

Так вот и сейчас – с высоты своих восьмидесяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть:

– Друзья! А жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!

...Шалит сердце; какие-то колесики и пружинки внутри поскрипывают; отяжелевшие ноги подгибаются и тянут прилечь и забыться. А оглянешься на пройденное, вдохнешь густой аромат нашей жизни – и хочется опять продолжать подъем, преодолевать все препятствия, лишь бы еще... ну хотя бы вот до этой вершины подняться и там, оглянувшись, порадоваться голубым бескрайним просторам нашей жизни, ее многоцветной и ароматной радости...

Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но – непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадываешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути.

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив,



что из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось хоть краешком глаза заглянуть в будущее нашей Родины, наших людей. И хочу по-стариковски сказать молодежи напутственное слово:

– Жизнь пахнет упоительно! Жизнь наша – необъятный голубой простор моря! Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!

# Статьи и выступления

## Кружковое занятие рабкоров\*

**В** 1919 году Владимир Ильич Ленин дал задание «Правде»: во что бы то ни стало привлечь рабочих писать в газете. Ленин говорил, что никакое революционное строительство не может быть доведено до конца, если рабочие, не отдельные из них, а всей массой, всей своей громадой не войдут в советскую печать.

Время-то было чрезвычайно тяжелое.

Ленин своим гениальным глазом увидел, что, как бы ни было страшно кругом, а втянуть рабочих в газету надо... И он дал задание газете «Правда» разделить своих сотрудников по районам, по фабрикам и заводам, где мы должны были убеждать рабочих, что надо писать.

Мы отправились. И вот, как сейчас, помню одно из таких моих посещений. Это было, кажется, в Кировском районе, а может быть, и в Бауманском районе Москвы, хорошо не пом-

ню. Я да еще один товарищ приезжаем в райком. Смотрю, сидят человек 25–30 рабочих, смотрят угрюмо, видно, голодные, усталые, измученные...

У нас было определенное задание, пришлось их всячески убеждать, что вот, мол, рабочим нужно писать.

Они сидели молча, слушали, но на изможденных лицах их было написано:

– Да когда же, наконец, вы нас отпустите?

Но вот подымается один рабочий-металлист. Щеки втянулись, глаза запали, от грязи весь черный, и сердито так говорит:

– Хорошо это вам соловьем-то распевать. Вы поди и в гимназиях учились и знаете, как там писать, а я вот возьму карандаш-то, а у меня и пальцы не гнутся. Да еще вот придешь с завода домой измученный, усталый, восьмушка хлеба лежит на столе, лопать хочется, а ее не знаешь, что: целовать, что ли, или глядеть на нее, да и холодно в хате... а вы говорите – писать.

В сущности говоря, положила руку на сердце, прав он был – от первого слова до последнего. Но все же Мы начали им рассказывать о том,

как трудно сейчас на фронтах и т. д. Словом, пели, действительно, соловьем, а на самом деле у нас на сердце тоже щемило, знали, что он прав.

Тогда мы с товарищем полагали, что долго придется дожидаться, пока рабочие, не отдельные, а целой массой, научатся писать.

И вот прошло три года. И в Доме Союзов я смотрел на громадный Колонный зал, залитый рабочими от станка, объединенными в целую организованную армию рабочих-писателей. Их насчитывается по Советскому Союзу до ста тысяч. Это, товарищи, чудо! Когда я глядел на них, то я невольно вспоминал, как мы улещали тех рабочих на собраниях. Вот вам и толстые пальцы, которые карандаш не могли удержать! Стали выходить эти рабкоры и селькоры и рассказывать о своей работе, о своей организации и высказывать свои мысли. Это были здоровые, ядреные мысли, это не те общие места и слова, которые мне раньше, в дореволюционное время, очень много случалось слушать на разных собраниях. Несмотря на страшно короткое время, организация среди пишущих изумительно как

хорошо поставлена.

Пишущие рабочие и крестьяне совершенно стихийно, но вполне естественно тянутся друг к другу. В буржуазное время, в буржуазных журналах каждый был сам по себе и каждый друг в друге видел врага, потому что шла жесточайшая конкуренция. А пишущие рабочие... они чувствуют, что им еще надо многому учиться и что между ними нет врагов и конкурентов, а есть друзья и помощники.

И вот на этом съезде и выявилась эта организованность, удивительная спайка. Конечно, рабкоры поставлены в лучшие условия, чем селькоры. У тех это налаживается очень трудно, и нам надо отсюда протянуть им дружески руку и помочь. Это будет иметь огромное значение. Ведь помните, когда началась революция, буржуазия постоянно нам бросала упрек: куда, мол, ваша революция годится, и кровь тут, и ошибки у вас нагромождены одна на другую. Но им тогда резонно отвечали, что революция делается не на паркете и не на бархате, что это – борьба. То же самое относится и к селькоровскому движению. Разумеется, и сейчас среди нас попадаютя ли-

ца, которые пользуются своим положением во вред общественности. Такие случаи, к несчастью, встречаются...

Но громадный зал съезда рабкоров переполнен, и в высшей степени отрадно на это глядеть.

Но еще что я заметил, и довольно печальное: рабкорок мало, всего десятка полтора – два. И то из больших городов. Они, видно, рождаются в таких городах, как Москва, Ленинград и т. д., а вот в провинции их совсем мало.

Вы являетесь ласточками весны, так давайте же проторять дорогу для своей сестры по всему Советскому Союзу.

## Предисловие к «Мятежу» Дм. Фурманова\*

«Мятеж» – это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью. Рассказано просто, искренно, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно.

Перед вами встает страна, далекая страна, о которой мало кто знает, – Семиречье: ее степи, горы, ущелья, горные равнины.

Встают живые люди, расслоенные на классы, национальности. Русские крестьяне, казаки, в силу обстановки, созданной царским правительством, жестоко эксплуатирующие киргиз, несчастных, забитых, замученных, темных и бесконечно нищих. Баи, манапы, киргизские кулаки, мироеды, муллы жадной сворой сосут своих единокровных, держат в железных когтях и непроходимой темноте.

И вот в этой богато родящей, пестрой и сложной стране идет революционная борьба, строительство.

Революционная борьба велась в разной обстановке, в разных условиях – у Ледовитого

океана, в дымном Петрограде, на черноземных центральных равнинах, на знойном Кавказе и в Крыму, в далеком, полном ярких восточных красок Туркестане.

И всюду партия, наша РКП, проявила удивительную приспособленность, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих, незыблемых коммунистических положений, – и этим победила.

В «Мятеже» удивительно правдиво и ярко даны эти свойства партии в обстановке полуэкзотической, совершенно отличной от нашей российской, не говоря уж об обстановке промышленных городов, где рождалась, росла и крепла партия. Оттого эта книга может многому научить.

Читается с захватывающим интересом, хотя в ней строго вставлены подлинные документы, приказы.



## Умер художник революции\*

**Ч**то от большевика нужно? Чтоб он был закален и тверд, как сталь. Чтоб в принципиальных вопросах он не умел поддаться ни на волос.

Таков был т. Фурманов. Таков он был всю свою молодую жизнь.

Что нужно от большевика? Чтоб он был гибок, как тронутая синью пружинная сталь.

Таков был т. Фурманов. И когда читаешь его «Чапаева». «Мятеж», с удивлением наблюдаешь эту большевистскую гибкость, гибкость во имя спасения революционного дела, удивительную способность учета и приспособления.

Что нужно от большевика? Чтоб он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же – революционным работником, революционным борцом.

Таков был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским столом. Один и тот же: революционный боец, революционный строитель, одинаково не

поддающийся и одинаково гибкий.

И если в гражданской борьбе гибкость его проявлялась в том, что, где нужно, он был великолепно дипломат, – на поле его последнего поприща, в писательской деятельности его гибкость драгоценно проявлялась в другом.

Значимость писателя, художника, творца – не в размерах его дарования в данный момент, а в размерах его роста, в способности его к этому росту. Бывали крупные художники, разом проявлявшиеся, застывшие и умершие как творцы задолго до своей физической смерти. Не таков был т. Фурманов.

Когда я прочитал первые два рассказа т. Фурманова, бледные, серенькие, беспомощные и наивные, я подумал: «Нет, этот не выделится».

Когда я прочитал написанный им в дальнейшем «Красный десант», передо мной вдруг блеснула черная южная ночь, шелест камыша и таинственность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в черноте баржами, – люди плыли на заведомую гибель в самую глубину, в самый тыл врагов, –

площадки не будет. И мне вдруг стало трудно дышать. «Да ведь это ж художник!»

А потом я подумал: «Могла просто случайно вырваться небольшая художественная вещь».

А когда я читал «Чапаева», передо мной художественно развернулась гражданская война – так и с таких сторон, с каких и как я не умел ее увидеть своими глазами.

Потом... потом я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты, – я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это – художник. Художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих.

И его гибкость, его драгоценная гибкость художника – в этом непрерывном внутреннем, органическом росте. В том, что он с каж-

дой вещью, с каждой картиной становился выразительнее, ярче, глубже, больше. И это не случайно: это его природа, это его естество.

...И он ушел. Ушел – и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел – и говорит нам своим художественным творчеством: берите живую жизнь, берите ее, трепещущую, – только в этом спасение художника. И не бойтесь. Все, что есть старого в писательстве, все, что есть в нем забвенного, все это с кривым лицом бросит в вас обвинение в фотографичности, в мемуарности. Не бойтесь. Выдумку всякий дурак сумеет обобщить, – живую жизнь сумеет синтезировать только истинное художественное творчество.

И еще: истинное творчество тогда не мертво, когда оно глядит на жизнь, на борьбу революционными глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом уходящего в забвение.

## Федор Гладков и его «Цемент»\*

Я не помню, как и где я познакомился с Федором Васильевичем. Помню только, что при одной встрече он сказал мне: «Александр Серафимович, приходите ко мне, я прочитаю вам мою вещь, над которой сейчас работаю».

Пошел. Он жил в полуподвале один, – семья еще не приезжала. Даром что по-холостяцки, а в комнате было чисто, порядок, даже уют. На столе рукописи, книги.

– Одну минуточку, я только вздоху чайку.

Первое, что бросилось, пока он возился с чаем, это – нервное, трепетное напряжение, присущее ему самому, а когда стал читать, это трепещущее напряжение разлилось во всем его творчестве.

Со страниц летели выпуклые, острые черточки, замечания, определения, характеристики, местами, может быть, чуть-чуть более яркие, чем нужно, но я не делал замечаний, чтоб не спугнуть автора. Да и некогда было: на меня наплывало широкое полотно, на котором мелькали люди, характеры, людские отношения, борьба, события. Опять-таки не со

всем я был согласен, но я опять не делал замечаний, чтоб не спугнуть этой страстности творчества, которая пронизывала все его существо и захватывала меня.

Пролетарская литература тогда только нарождалась. Она еще делала детские шаги. В ее рядах было немало попутчиков, которые туго втягивались в круг идей пролетариата. И были, как плевела, вкраплены враги народа.

И вот из этой не сложившейся, не оформившейся еще литературы скалистым углом поднялся «Цемент».

Чем же он так привлек читателя? Широкой картиной реорганизации человека, широкой картиной реорганизации хозяйства. Появился хозяин обобществленного хозяйства – это внутренне преобразующийся пролетарий. Картины, где работает в своем хозяйстве рабочий, великолепны в «Цементе». И это *первые* картины в нашей литературе.

Федор Гладков, один из первых организаторов пролетарской литературы, в высшей степени честный автор; то, что пишет, он пишет так потому, что так чувствует, так видит. Он не подыгрывается, ибо ему нет в этом на-

добности, – то, что он пишет, это кусок его сердца, он выстрадал его еще в своей горькой молодости, в царской тюрьме, в царской ссылке, в незаслуженной нищете, которую навязал ему царско-буржуазный строй. И как же он рад в широких картинах рисовать это великое преобразование людей, преобразование хозяйства, преобразование строя.

Но ведь кто-то организует эти преобразования? Партия... И Гладков удивительно умело рисует значение, влияние партии в небольшом эпизоде: на партийном собрании исключают из партии одного из членов. Он вытаскивает пистолет и молча пускает себе пулю в висок, – без партии он жить не может и не хочет.

У Федора Васильевича Гладкова – тяга к широким картинам, к широким просторам. Но и в отдельных небольших картинах он отличный мастер. Вот, например, «Старая секретная». Да ведь это же прекрасно! Ведь это же мастерство! Но вот странно, критики толкуют, обсуждают его большие вещи, а мимо таких прекрасных, как «Старая секретная», проходят молча. Товарищи критики, чего же

вы молчите? Молчите? Молчание знак согласия: вы неправы.

...Партия высоко оценила творчество Гладкова: на груди его сияют ордена.

Чем же привлекает «Цемент» Ф. Гладкова?

Да ведь это первое широкое полотно строящейся революционной страны. Первое художественно обобщенное воспроизведение революционного строительства зачинающегося быта.

И картина дана не осколочками, не отдельными уголками, а широким, смелым, твердым размахом.

Но в чем же правда этой вещи?

Правда – в простоте, внешней грубоватости, пожалуй, корявости рабочего напора. И говорят-то – маленько лыком вяжут. Правильно: по гимназиям, по университетам не образовывались, самоделковый все народ.

И под этой корявой глыбистостью какой чудовищный упор, – как будто, медленно переворачиваясь, неуклюже скатывается по целине откол горы, а за ней – глядь! – дорога, как водоем, прорытая. И это – правда, ибо нигде не подчеркивается, а разлито по всей ве-



щи.

И быт новый строят кособоко, по-медвежьи, – слышно, как черепки хрустят, а строят.

Приехал Глеб, плечистый, громадный, приехал из трехлетнего огня пулеметов, шрапнелей, беспощадности, гражданской войны, сгреб Дашу, – ведь это же его *собственная* жена. И очень удивился, расставив впустую руки: она вывернулась, засмеялась – и была такова, вспыхнув красной повязкой. И каким-то иным, незнакомым до этого чувством к жене пронизалось сердце Глеба, чудесным чувством, когда он увидел ее как общественно-партийную работницу.

И что дорого: эта перестройка сердца, взаимоотношений не навязывается в романе, а сама собою ткется в громоздящихся событиях, в нечеловеческом напряжении работы, в дьявольском напряжении борьбы. Глеб и ревнует жену и, как бык с налившимися глазами, готов всадить пулю в противника, – и все-таки его сердце насквозь озарилось неизвестным дотоле, новым озарением. Новым озарением к Даше, к жене, к милой подруге, к товарищу по работе. Они не анализируют своих чувств,

новизны отношений, – они просто борются, работают, живут, любят. И в этом – правда.

И Бадьин, предисполкома Бадьин... Да ведь знакомая фигура. Громадный, чугунный; этого не сдвинешь, и куда идет – проламывает дорогу. Чугунное лицо, чугунная воля. Громада революционного молота выковывает таких. И если Глеб – вспыхивающая революционная инициатива, революционный энтузиазм, пожаром зажигающий, без которого невозможна была бы борьба и победа, то Бадьин – тяжкий многопудовый молот, разрушающий и выковывающий. И такими революция проламывает пути.

И он любит, по-бадьински любит. Бычьи, налитые глаза, бычье сердце, и тяжело бьется во вздувшихся жилах густая темная кровь. Он берет женщин просто, тяжело, мимоходом – не до сантиментов. Он весь в колоссальной громаде работы, которая все покрывает, все собой окупает, оправдывает, и женщина для него – только одно из необходимых условий работы и жизни: перевернулся и сейчас же забыл.

Только Даша, только милая Даша не может

погаснуть в его чугунном сердце и, может быть, против его собственной воли теплится тоненьким ласковым огоньком.

Лишь тонкий художник мог дать удивительно верную психологическую зарисовку: Даша, отчаянно отбивавшаяся от Бадьина, когда спасла его от смертельной опасности, отдалась ему.

А вот великолепная фигура инженера Клейста, надменная, сухая, замкнутая в своем высокомерии; он себя чувствует созидателем, а кругом – невежественные, грубые разрушители, безответственные перед столь дорогой сердцу Клейста культурой. И этот надменный останавливается в изумлении перед чудовищным, грубым, неотесанным рабочим напором созидания. Как в водовороте, подхватило и поволокло бессильного сопротивляться инженера Клейста. И Клейст отдал своим бывшим врагам все свои знания, всю свою культурную силу, отдал за совесть, а не за страх, и стал одним из кирпичей пролетарского творчества. Это – яркая, правдивая история спеца.

Все фигуры в «Цементе» отчетливы, запо-

минаются, разнообразны, живы.

Гладков сжат, экономен. Нет лишних слов, растянутостей, многоговорения. В своей манере писать он так же суров, как и его персонажи.

Его великолепный пейзаж своеобразен и красочен.

Яркие черты романа с лихвой покрывают, может быть, местами излишнюю приподнятость, цветистую взвинченность диалога. Может быть, несколько сгущена мягкотелость партийных интеллигентов. Не то что они не правдивы, – нет, они яркие, живы, убедительны, но для верности перспективы надо было дополнить фигурой интеллигента крепкой складки, ведь революция ж богата ими.

Но я повторяю, – это тонет в прекрасных, сверкающих образах.

По-своему написан роман, – у Ф. Гладкова свое лицо, ни с кем не смешаешь.

И не странно ли? Критики, которые особенно шумно носились с некоторыми писателями, вредя им этим шумом, проходят молча мимо «Цементы». Либо, оттопырив надменно губу, глаголют: «Сказать неложно, тебя без

скуки слушать можно, а жаль...»

Но читатель, пролетарский читатель произведения т. Гладкова оценил, ибо чует правду, – собираются, читают, обсуждают.

## **Вечера рабочей критики\***

Это были конюшни, и в них стояли лошади великих князей, которые приезжали в модный загородный ресторан по Каменноостровскому, пьянствовали и развратничали.

Теперь стены выбелены белой краской, стоят нетолстые белые колонны – клуб ленинградских металлистов.

Я – за красным столом и смотрю на лица рабочих читателей, желтеющие вплоть до задних окон и боковых стен.

Нет, я не за тем здесь, чтобы прочесть отрывок из своих вещей, раскланяться и уйти.

Ведь дают же отчет перед рабочими массами, отчет о своей деятельности, о своей работе партийные, советские, профсоюзные работники, наши хозяйственники. И разве художник не должен дать отчет о своей деятельности, о своей работе рабочему читателю?

Но почему же раньше об этом никто не за-

икался? Да потому, что в начале революции было не до того, – бои, голод, разруха. А второе – рабочим массам надо было подтянуться к литературе, да не отдельным единицам, не тонким читательским прослойкам, а нужно было появление массового читателя.

И он появился, этот читатель, – сотнями тысяч. И он предъявил свое право, право требовать отчета от своего работника в художественной области.

Я стою у красного стола; сотни глаз напряженно не отпускают меня. Мне не нужно излагать содержание своих произведений, – товарищи библиотечные работники союза металлистов организовано, умело и стройно провели подготовительную кампанию. В библиотеках союза – их тридцать – каждый раз, как рабочие приходили менять книги, им предлагали перечитать к вдуматься в произведения писателя, вечер которого подготавливается. Роздали крохотные листовочки-памятки с портретом, краткой биографией, очень сжатой, толковой оценкой. Опрашивали читателей, каково их мнение об этом писателе; причем помечали, какого завода, сколько лет, ра-

ботник или работница. В «Металлисте» – статьи о писателе и о вечере.

И теперь эти сотни глаз уверенно и спокойно смотрят на меня, – знают, кто я, что дал и чего от меня можно требовать.

Читатель, рабочий с Балтийского завода, кратко говорит о значении «вечеров рабочей критики». Приглашенный специалист по истории литературы очень сжато дает для тех, кого миновала кампания, мою биографию и характеристику работ.

Потом я рассказываю, как строил «Железный поток». Их все интересует: и какие задачи ставил себе (отразить в эпизоде отношения крестьянства к революционной борьбе – анархическая, беспорядочная вначале масса через невыносимые страдания, кровь, слезы, отчаяние приходит к организованности, пронизанной преданностью советской власти); и насколько близко совпадает изложенное с действительностью; и как я собирал материал (перекрестный допрос участников); и были ли сам в тех краях, знаю ли население, быт, страну; верно ли передал пейзаж.

Указывали на неверности, противоречия:

матросы были самой революционной частью прежних войск и в революции самыми яркими бойцами, а у меня – бандиты. Кожух собрался драть солдат за грабеж, а штаб свой, одетый во все новенькое, очевидно, снятое с грузин, не тронул.

Сыплется ряд вопросов, записок. Устные вопросы товарищи-устроители записывают, систематизируют, чтобы легче было отвечать. Записки нумеруются и тоже систематизируются с исключением повторных вопросов.

В зале с колоннами, наполненном желтеющими лицами, звучит низкий, густой, без напряжения, всюду слышимый, спокойный, уверенный голос металлиста.

– Я, товарищи, представитель литературного кружка...

– Какого завода? – перебивают устроители. Как и в анкетах, здесь заносятся опять-таки незаметно для опрашиваемого все о нем сведения.

– «Электросила».

– С «Электросилы», – несутся, помогая, голоса со скамей.



– Наш литературный кружок поручил мне зачитать наш отзыв о произведениях писателя Серафимовича. Ну, мы читали и обсуждали его «Железный поток» и нашли, что очень хорошо написан и образы такие, будто сам там побывал и сам все испытал. Ну, только есть одно, и мы это обсуждали; на каждой странице у него мат. Нам и так это надоело, куда ни сунься, все загибают: и на улице – мат, и на заводе – мат, и домой придешь – мат, и в книгу заглянешь – мат. Нам надоела эта чубаровщина. И мы желаем, чтобы в книге этого не было.

Он смолк, тишина наполняла бывшую конюшню с белыми колоннами. Да вдруг сорвался с передней скамейки в линялом пальтишке (а за стенами мороз) и замазанный, видно, прямо с производства.

– Так что, товарищи, неправильно, – заговорил он страшно торопливо, захлебываясь воздухом, – так что неправильно! Ды я сам был на фронте. Дык во, прямо наступают... Схватишься за пулемет, ах тты... заело... – он необыкновенно торопливо, слегка присев, замотал руками над самым полом, с страшным

напряжением выправляя заевшую ленту, – ну, никак!! а энти во, тут!.. Ахх тты мм... стало быть, это как даванешь энтим словом, лента сразу на место и...

Он весь изогнулся, страшно вытянул шею, глядя на врага одним правым глазом, и повел над полом пулеметом.

– ...Та-та-та – па-а-бежали! – проговорил он с засветившимся лицом, выпрямляясь.

Зал охнул, все облегченно заворочались и зааплодировали.

Вышел молодой:

– Товарищи, это неправильно тот товарищ говорил, не знаю, как по фамилии, с «Электросилы». Ежели бы автор смаковал, дескать, эх-мма, просто, чтоб подковырнуть, просто для куражу, ну, тогда так... Есть такие писатели, за каждым словом погибает и без всякой надобности, читать противно. А тут сущую правду пишут. Возьмите этих крестьян, которые отступали около моря, – он те загнет без всякой злобы, в быту у него, вот его надо правильно описывать, а то много ли радости в брехне? Крестьянин – как есть крестьянин, ты и пиши.

– Правильно! Верно!

Тогда приходит записка:

«А когда крестьяне, которые в этом походе столько страдали и где через кровь и страдания организовались, опять сядут на землю, будут ли они такими же организованными или опять обрастут самоварами?»

Да, рабочие в художественном производстве ищут не только удовольствия, отдыха, но и учебы, разрешения социальных, экономических, бытовых запутанностей.

И когда кончился вечер, рабочие настойчиво и сурово выносили:

– Писатели должны дать нам такую же широкую картину нашей жизни, быта, как мы работаем, обращаемся с женами, детьми, как выпиваем, чего мы добились, – такую же широкую картину, как те, где описывается крестьянство.

В Ленинграде эти вечера проходят наиболее умело, организовано. Но и на вечерах в Москве, в Харькове, хотя там и не так стройно, рабочие предъявляют свои читательские требования.

«Пишите понятно, а то у вас не русский

язык, а какой-то бестолковый». «Пишите про рабочих, а то все про крестьян». «Очень короткими строчками пишете, не успеешь раскусить, глядь, ан она уже кончилась, и не понял». «Нам нужно большие книги, – взял человека с начала и веди его до конца. А то что тоненькие, – и обернуться не успел, а конец. Так мы лучше старых будем читать».

Наконец, наконец-то создается широкая читательская среда для писателей – своя классовая среда, без которой жизнь и здоровое творчество невозможны.

## **Читатель и писатель\***

**Т**оварищи, перед вами часто выступают с отчетами политические и общественные работники, хозяйственники и др., и вы контролируете их работу, указываете на их ошибки и всегда держите их, так сказать, под своим контролем. Но вот впервые перед вами с таким же отчетом выступает художник-литератор.

Может быть, вам покажется странным, как это литератор будет давать отчет.

А вот буржуазия отлично знала, что нужно

художника держать под таким же контролем, под каким она держала своих общественных и политических работников.

В дореволюционное время буржуазия влияла на литературу и прямо-таки требовала от писателя тех или других тем. Конечно, это влияние проводилось очень тонко. Не надо себе представлять дело так, что вот буржуазия приходит к художнику, берет его за горло и говорит: «Пиши, мол, о том-то и о том-то». Картина была другая; вот пишет человек о крестьянстве, а критика говорит: «Мужиком заполнили всю литературу, в литературе дегтем воняет, пора наконец кончить», – и буржуазный читатель не читает и не покупает таких книг.

Рабочие и крестьяне и темны были и безграмотны, царь их накачивал водкой, они поддержать близкого им писателя не могли. И получалось: писатель вертится-вертится, и приходится ему в конце концов писать о высокой любви, о том, как «она» и «он» сидели на бархатном диване, о том, какие утонченные и сложные были у них переживания и

т. д. Так буржуазный читатель создавал нужную ему литературу.

В начале нашей революции глубоко треснула русская литература, и у вновь поднявшегося класса почти ничего не осталось. Отдельные одиночки-писатели были, появилась и масса начинающих, зачастую малограмотных писателей из рабочей и крестьянской среды, а литературы не было.

Почему? Да потому, что для создания литературы недостаточно иметь писателей, – нужно, чтобы эти писатели имели поддержку, имели идейное питание, а такую поддержку, такое питание может дать только класс. Но прежний класс, питавший свою литературу, великолепную литературу, мировую, сошел со сцены, а пришедший к власти пролетариат в этом отношении не успел организовать с самого начала. И хотя появились отдельные писатели, они еще не окрепли, масса рабочих не могла им создать той питательной среды, в которой они могли бы жить, развиваться и художественно расти.

Вот вы только первый раз собрались в этот зал, чтобы проверить художника, как он пи-

шет, как он работает, как он выполняет задания своего класса. А вот раньше вы не собирались. А писатель вне своего класса существовать не может: он хиреет, сбивается. Это мы видим на примере некоторых наших писателей.

Эти писатели погибли, как только они отошли от рабочей массы; так и пошло одно за другим: ушли из партии, чтобы уж заодно партийная работа не мешала писать, порвалась у них связь со своим классом, с партией – и стали они хиреть.

Итак, в начале революции пролетариату было не до литературы, во-первых, – а во-вторых, тогда у массы пролетарской не было подготовки, не было пролетарской литературной среды, и поэтому было чрезвычайно трудно работать пролетарскому писателю, было почти невозможно расти пролетписательскому молодняку.

И вот только теперь собрались рабочие читатели и позвали к себе писателя, стали писателя контролировать.

Теперь разворачивается целая полоса бесед читательской массы с писателем. Подобные

собрания происходят в Москве, в Харькове.

Стало быть, это не искусственное и не единичное явление, а это общее явление. Эти вечера показывают, что поднимается рабочий класс в массе, что в массе его вырастают читатели-критики, что уже настало время, когда рабочий класс почувял силу создать свою литературу, направлять ее, корректировать ее, — словом, дать ей жизнь.

Конечно, процесс этот совершался медленно, но совершался непрестанно. А теперь мы сразу увидели его потому, что он всем бросается в глаза.

У меня лично слабые внутренние связи с пролетарским читателем были и раньше, но этих связей, которых часто даже не проследишь, было недостаточно; не было у меня раньше прямых видимых связей, и только теперь они устанавливаются.

Только теперь класс стал забирать писателя под свой контроль, и теперь пролетарская литература с новым успехом начнет развиваться.

Это, милые товарищи, не беда, что сейчас нет таких звезд, какие были раньше среди



буржуазных писателей. Ведь за буржуазной литературой – столетия, а революционному пролетариату, как строителю своего государства – без году неделя, десять лет всего! Но тяготение пролетариата к созданию своей литературы так же бурно, как его тяготение к переработке всех общественных отношений, всех областей хозяйства. Вот и не беда, что пока нет у нас такой блестящей литературы, как в старое время. Важно, что мы над нею работаем, – значит, она будет.

Товарищи спрашивают меня: «Что дают вам вечера рабочей критики?»

– Очень много, очень много, очень много! На этих вечерах я встретил своего читателя, я почуял связь с ним, я, так сказать, поглядел на него, я выслушал его требования, я выяснил ту правку, которую он вносит в мою работу, и это для меня, как для работника пролетарской литературы, драгоценно.

Это как раз и есть та смычка писателя с читателем, которая заставляет писателя расти, которая наполняет его нужным классовым содержанием, которая дает ему классовую ди-

рективу. Все, что вы говорите мне, я продумаю, и скажу вам прямо, в чем вы меня двинули вперед, а в чем вы и сами ошибаетесь.

Пролетариат уже научился выковывать себе работников в военной области, в области политического руководства, в области хозяйства, и вот наконец наступило время, когда пролетариат делает усилия, чтобы и в области художественной выковывать своих работников и влиять на тех, которые остались нам от прошлого. Такие вечера в известной мере также помогают выполнять эту задачу.

Один товарищ здесь спрашивал: почему в нашей литературе жизнь рабочих не описывается, почему не описывается работа на заводе, отношения рабочих друг к ДРУГУ, отношения их ко всему окружающему.

Правильно товарищ делает это замечание.

Нужно показать рабочий быт, а до сих пор этого не было сделано. Нет ни одного, в сущности, произведения, где бы жизнь рабочих во всех ее проявлениях была ярко дана.

В старой литературе чудесно дана жизнь помещиков, жизнь буржуазии, жизнь интеллигенции, а жизни рабочих нет ни в преж-

ней, ни в нашей литературе. Показан разве только крохотный, маленький осколочек, да и тот очень не типичный.

Причины этого явления лежат глубоко. До революции писатели жили в буржуазном обществе, в интеллигентской среде. Эти писатели крестьян еще могли наблюдать: они ездили в деревни, либо на дачу, либо к помещику репетитором и видели, как живут крестьяне. Приедет писатель в деревню, видит: солнышко светит, пойдет гулять, к крестьянам зайдет, молочка попьет, с крестьянином потолкует. А к рабочему в подвал писатель не ходил: там негде гулять, там сливок не покушаешь. А на фабрику до революции, если бы и хотел писатель, нельзя было попасть: сию же минуту загребут.

Поэтому-то вся русская литература и была оторвана от рабочих, особенно от заводских и фабричных.

Теперь же дело в том, что за десять лет советская литература просто не могла перестроиться; она перестраивается, но очень медленно, сравнительно с запросами. Вот чем объясняется, что даже пролетарские писатели или

совсем не уделяют места описанию быта рабочих, или уделяют очень мало.

Вы задаете мне вопрос: почему вы, писатели, наш быт не описываете? Этим вы нас, художников, толкаете на определенную работу, этим вы до известной степени осуществляете тот контроль, о котором я говорил.

Теперь этот контроль рабочих-читателей разрастается, собираются читатели и дают директивы, задания писателю. И я думаю, что этим путем художника и можно привлечь к быту, к жизни рабочего класса.

Я думаю, что жизнь рабочих глубоко и всесторонне будет описана прежде всего самими рабочими, когда они создадут писателей из своей среды.

Я, грешный человек, думаю об этом написать, но, признаться, написать очень трудно. Не трудно написать, как за станком стоит рабочий, можно описать и семейную жизнь рабочих, но теперь этого мало. Теперь нельзя давать отдельные картины, как бы они ярки ни были: они потеряли свою ценность. Теперь нужно дать большое полотно, нужно жизнь рабочих связать со всем теперешним

строительством. Такое произведение должно говорить не только о жизни рабочих, но связать эту жизнь со всеми жгучими вопросами нашего времени, а это страшно трудно. Это неизмеримо труднее, чем было дать «Железный поток». Трудно потому, что люди изменяются чрезвычайно быстро, изменяется и характер событий, постоянно сталкивающихся. Из этих столкновений тысячи противоречий вылезают.

Возьмите дореволюционный быт рабочих: этот быт был определенный, устоявшийся. Посмотрите на рабочий быт теперь: сколько в нем расхождений и противоречий, которые объясняются сложными внешними причинами, глубокой социальной перестройкой.

В Москву я повезу от вас наказ себе и всей пролетарской литературе. Правильны ваши слова. Надо наконец, взять эту почти нетронутую, невспаханную черноземную землю – рабочий быт и рабочую жизнь. Я сказал, что у меня нарастает потребность отразить рабочий быт в большом художественном произведении, назревает она и у других пролетарских писателей, я это наблюдал. Сегодняш-

ний вечер меня особенно на это наталкивает. Попробую написать из рабочей жизни и строительства, а уж что выйдет – не знаю.

Товарищи! Здесь многие касались большого вопроса об отрыве писателя от рабочего читателя. Да, мы оторваны, и это для нас – самая опасная вещь.

И отрыв этот есть не только у старых писателей, связанных с прошлым, но и наша молодежь в значительной мере страдает этим. Вопрос этот очень больной, для писателя такой отрыв очень опасен, ибо если такая оторванность вклинивается в его жизнь надолго – он мертвый писатель, он ни для читателя, ни для рабочего класса совершенно не нужен, ибо жизнь-то ведь идет, строится и строится обновляющимися, растущими людьми, и как только писатель оторвется от этой жизни, сядет за стол и начнет высасывать, – с этих пор он и становится никому не нужным.

Я повторяю, что этот вопрос очень сложный, и я останавлиюсь только на одной стороне этого вопроса.

Я думаю, что и читатель мог бы в этом деле помочь писателю, сам читатель мог бы до

известной степени выправить положение, – и вот это сегодняшнее собрание – это кусочек такой выправки. Но читатель может еще и в иной форме к нам подойти. Прежде всего, товарищи, не нужно смотреть на писателя как на икону, как на что-то такое, чему нужно удивляться. Мы, писатели, из такой же кожи сшиты, как вы все, и простое, товарищеское, самое обыкновенное отношение – оно для нас чрезвычайно важно. Читатель, как только он встречается в той или иной форме с писателем, должен ему говорить, что он находит у него верного или не верного со своей точки зрения: мало этого, он должен идти к нему со своими запросами, со своими размышлениями, со своей оценкой жизни. Конечно, самый правильный путь связи с читателем заключается в том, чтобы писатель работал среди масс, но это не всегда осуществимо, и поэтому мы должны устанавливать смычку писателя с читателем всяческими путями и фермами.

Товарищи, массовый читатель подходит с разными требованиями к писателю. Одни, например, говорят, что вот «Цемент» Гладкова – великолепная вещь, а другие говорят: ничего

не понимаем, потому что язык трудный. И это не только к «Цементу» относится, но и к другим вещам. Как разобраться в этих противоречивых отзывах?

Читательская масса не одинакова, в ней есть, несомненно, разные прослойки: это – один момент, который объясняет эти противоречивые отзывы. А другой момент состоит в том, что нельзя заставить писателя, чтобы он держался только старых форм. Язык – ведь это живая штука, ведь он развивается, поэтому появление новых форм – это неизбежное движение жизни. Конечно, и тут есть уродливости, как и во всем, но это читатель должен отметить, он должен сказать: «Да, здесь форма, стиль растет, а тут коряво, тут неправильно».

Итак, я думаю, что нельзя предъявлять общих требований, а тут нужно известное деление. Вы посмотрите, как ни гениально просто писал Толстой, но и он проводил такое деление. Ведь, скажем, он дал «Войну и мир», «Анну Каренину», а в то же время он для крестьянина написал гениальные по форме, но уродливые по идеологии маленькие вещи, например «Два старика», «Трое нас, трое вас» и т. д.



Он чувствовал, что пока рабочая и крестьянская масса культурно не поднимется и в целом не будет предъявлять одинаковых требований писателю, приходится в известной степени идти навстречу различным слоям. Это остается верным и для нашего времени.

Но тут горе вот какое: писатель думает, что ежели он пишет большой роман или рассказ для толстого журнала, то это и есть художественная литература, а если он пишет для крестьянок и работниц, которые только начинают читать, так это какая-то черная работа, которую приходится поневоле делать. Такое отношение – глубочайшая ошибка.

Толстой над своими крохотными вещицами работал с большой тщательностью, и у него получались истинно художественные произведения, а мы, работая над такими вещами, халтурим, мы стремимся поскорее их сделать да с рук сбыть. Вот тут ваше дело, читатель, нас одернуть и потребовать, чтобы мы одинаково, с одинаковым творческим напряжением работали над романом и над такими крохотными вещами, которые писатель дает для начинающего читателя.

# Откуда повелись советские писатели

\*

Пришел Октябрь. Задымилась Москва. Заурали орудия.

Пулеметы, дробно перебивая друг друга, зататакали бездушно и суетливо. Юнкера стреляли из окон, с крыш. Рабочие и солдаты в одиночку и группами проползали к воротам, к подъездам тех домов, откуда стреляли юнкера, притулялись в уголку, терпеливо ждали и винтовкой или маузером снимали неосторожно высунувшегося врага.

Но и юнкера не дремали и иной раз били наверняка, и долго у ворот или подъезда, свернувшись, серела или чернела на застывающей октябрьской земле неподвижная фигура в заношенном пиджаке, пока в темную, холодно моросившую ночь не пробирались товарищи и не уносили тело.

Так тянулись мутные дни и сырые ночи.

И вдруг все смолкло, и потекли по улицам толпы победившего пролетариата. И было голодно, и было холодно, и хрустела под ногами отбитая штукатурка, и не было одежды, но за-

кипела работа. С ввалившимися лицами рабочие среди развалин, саботажа, заговоров, подпольной злобы воссоздавали организации, учреждения, здания, снабжение, школы, лекции, санитарию, печать, литературу – среди чудовищной разрухи. И литературу...

Да надо создавать печать свою, литературу свою...

Московский Совет поручил мне издание журнала. Трудно было. Представители старой литературы отвалились. Новых не было. Да и не до литературы было – голод, холод, неукротимая борьба. Сидел я на пустом месте и с отчаянием выискивал, чем наполнить журнал.

И тогда пришел солдат. Рваная шинель, и был он испитой и замученный. Лицо ввалилось, да и лица-то не было, бескровное, землистое, – были одни глаза. Светились они, – и я не мог разобрать, – не то лихорадкой, не то неизбывным горем, не то неуместимой безбрежной радостью.

Ах, да что это! Как будто уж некуда, – как будто расплескивался этот блеск, и не было человеческих сил удержать его.

– Садись, товарищ.

Он сел на краешек стула, обдавая меня, заливая комнату все затопляющим блеском лихорадящих глаз... И протянул конфузливо:

– Вот, товарищ... тут про окопы... стало быть, как мы...

И мне вдруг показалось – чуть-чуть померкли глаза. Я с трудом разворачиваю вдоль и поперек свернутый серый оберточный клочок и с величайшим трудом не столько разбираю, сколько догадываюсь по этим во все стороны расползающимся кривулям. Ничего не разберешь. Чую только – окопы, ахвицеры, деревня, сынок Ванюша...

И мне стало жаль его. И я сказал:

– Товарищ, я напечатаю ваши стихи. Только... вам подождать нужно, а то материалу много... так по порядку...

И комната, и я, и он сам, мы захлебнулись горячечным блеском его глаз и неудержимой улыбкой морщинами. Он радостно поднялся:

– Ффу-у!.. Ды я хучь год!.. Сами понимаете – хлебнули всего... теперича в деревню...

А на завтра пришло двое. В таких же потрепанных шинелях, в рваных сапогах, заморенные.

– Во, товарищ... може, напечатаете?

И так же долго разворачивали много раз сложенную оберточную бумагу. Так же с величайшими усилиями едва можно было расшифровать чудовищные каракули.

А потом стали ходить рабочие, с ввалившимися голодными лицами, отрепанные и с блестящими глазами.

А потом меня пригласили в Московский Совет.

– Вот, товарищ Серафимович, вот нам присылают каждый день, – по двадцать, по тридцать стихотворений присылают. Есть и рассказы, но в подавляющем большинстве стихи. Вот мы их и собираем.

На полу лежали наваленные тюки, перехваченные шпагатом.

– Не используете ли хоть что-нибудь? Ведь это первые попытки освобожденного народа. А?

Я порылся. Из сотен, из тысяч можно было взять одно, два, да и то с переделкой. А стихи текли и текли неудержимым потоком, как будто прорвало плотину.

Я ахнул. Да ведь это же не стихи! Это –

неудержимый, неостанавливающийся вопль... Неугасимый голос слез, отчаяния, ужаса и вместе радости счастья, безмерности надвигающегося. Это – радостный крик людей, глянувших из сырой задыхающейся могилы, – и вдруг блеснул просвет чуть приоткрывшейся судьбы.

А теперь в поездках моих в каждом городе, в каждом городишке, в глухой станице я встречаю кружок пролетарских писателей. И в провинции, если только есть газета, так в ней непременно литературная страничка местных, своих писателей. И газете уже не нужно кланяться и выпрашивать у центра литературный материал. И посмотрите, какая у них идет работа! Как тянутся они к мастерству!

И разве пролетарский молодняк не начинает наполнять журналы в центрах? Разве читатели не повернули головы к «Разгрому» Фадеева? Разве широко размахнувшийся красочный и углубленный Шолохов не глянул из-за края, как молодой месяц из-за кургана, и засветилась степь? И разве за ними шеренгой не идут другие? И ведь это все комсомол

либо только что вышедшие из комсомола.

Да, когда-то дикий, нераспаханный чернозем, захлебнувшийся воплем – стихами. И из него за десять лет густо, как озимь, – молодая поросль творчества, пронизанная наливающимся мастерством. За десять лет!

Послушайте, – ведь этого же нет ни в одной стране!

## **Предисловие к «Донским рассказам» М. Шолохова\***

**К**ак степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие.

Все данные за то, что т. Шолохов разворачивается в ценного писателя, – только учиться, только работать над каждой вещью, не торо-

ПИТЬСЯ.

## Михаил Шолохов и его «Тихий Дон»\*

### Вместо предисловия к «Тихому Дону»

Ехал я по степи. Давно это было, давно, – уж засинело убегающим прошлым.

Неоглядно, знойно трепетала степь и безгранично тонула в сизом куреве.

На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв.

Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая.

Тогда вдруг расширились крылья, – ахнул я... расширились громадные крылья. Орелик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синеюще-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик желто-клювый, а крылья размахнул.

И всего-то ему без году неделя. Всего два-



три года чернел он чуть приметной точечкой на литературном просторе. Самый прозорливый не угадал бы, как уверенно вдруг развернется он.

Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные, – это не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого – свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех; каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий строй, – эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидали.

Точно так, как он умеет очень выпукло дать человека, он умеет сосредоточенно и скупно обрисовать и целую людскую группу, человеческий слой.

Легко, свободно, творчески-спокойно и уверенно, знающим, рачительным хозяином вводит он вас в свой дом, в громадину, возве-

денную им на протяжении сорока печатных листов. Без напряжения, без усилий, без длинного введения сразу вы попадаете к казакам, к этим мужикам-хлеборобам в мундире, с мужицким нутром, однобоко и уродливо искривленным царско-помещичьим строем.

Но весь быт, навыки, – все – от земли, от черно-дымящейся пашни, степной и бескрайней.

Прокофий привез из Туретчины турчанку. Затосковалась.

«Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник кургана. Сажал там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой...» («Октябрь», 1928, кн. 1-я).

Не думайте, здесь и не пахнет сентиментальностью: казаки грубы, насмешливы, темны, подчас дики, – и турчанку Прокофия затоптали коваными сапогами, как ведьму.

«Тонкий вскрик просверлил рев голосов.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Пластая над головой мерцающий визг шашки, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади с левого плеча наискось развалил его до пояса. Казаки, ломавшие колья с плетня, сыпанули через гумно в степь...».

Да, темны и дики, – и внезапно и неожиданно вдруг прощупываете вместе с Шолоховым чудесное сердце, чудесное сердце в загрубелой казачьей груди. Естественно, просто открывается чело­вечье сердце, как естественно растет трава в степи.

Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой, хитровой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь. Какими дохлыми кажутся наши комнатные скучные словотворцы, – будь

им легка земля...

Рискованные у других писателей, те же самые сцены у Шолохова правдивы и не вызывающи. Он называет вещи их именами, но рассказ сдержанно целомудрен. Здоровое и крепкое сидит в молодом писателе. На громадном протяжении сорока листов автор показывает быт казаков, службу, войну, революцию.

Нигде, ни в одном месте Шолохов не сказал: класс, классовая борьба. Но как у очень крупных писателей, незримо в самой ткани рассказа, в обрисовке людей, в сцеплении событий это классовое расслоение все больше вырастает, все больше ощущается, по мере того как разворачивается грандиозная эпоха.

Да, из яйца маленьких, недурных, «подававших надежды» рассказов вылупился и писатель особенный, ни на кого не похожий, – с своим собственным лицом, таящий огромные возможности.

И все-таки его жадно подкарауливает опасность: он может не развернуться во всю ширь своего таланта.

С молоком матери Шолохов всосал родную

синеющую степь, родной донской говор; навеки с детства запечатлел родные казачьи лица, тончайшие движения их ума и сердца, и чудесно все это зазвучало со страниц журнала.

Ну, а дальше? Дон будет исчерпан. Исчерпано будет крестьянство в своеобразной военной общине. И если молодой писатель не пойдет в самую толщу пролетариата, если он не сумеет так же удивительно впитать в себя лицо рабочего класса, его движения, его волю, его борьбу, – если не сумеет этого сделать, сам себя ограбит народившийся писатель. Если не сумеет всосать в себя великое учение коммунизма, проникнуться им, писатель не даст полотен, которые мог бы дать.

Но молод и крепок Шолохов, Здоровое нутро. Острый, все подмечающий глаз. У меня крепкое впечатление – оплодотворенно развернет молодой писатель все заложенные в нем силы.

Пролетарская литература приумножится.

## Из дневника писателя\*

Некоторые- хозяйственники на наших фабриках и заводах долго и упорно относились друг к другу по старинке, как относились друг к другу в буржуазное время: тогда каждая фабрика караулила другую, чтоб та не пролезла в ее производство, не подметила ее методов улучшения, ее производственных находок. Такое отношение в те времена было неизбежно, ибо для фабриканта было вопросом жизни и смерти сожрать своего конкурента, ибо каждый был за себя, а только лживый и кровавый бог – за всех.

И только теперь наши хозяйственники медленно освобождаются от таких волчьих отношений, часто под давлением рабочих масс, ибо спасение и жизнь ныне – только во взаимно согласованных усилиях, в коллективном строительстве.

Но отчего же у писателей по старинке? Отчего писатель забивается в нору, и там в полутемноте совершается творческий процесс его производства? Редакция «Октября» предлагает писателям: давайте время от времени

сходиться вместе в отделе «Записки писателя», сходиться так, как сходятся теперь красные директора, и делиться опытом, методами работы, производственными находками.

Какой смысл?

Огромный. Читатель растет не только на готово поданном ему произведении, но и наблюдая самый процесс художественной стройки. И молодой, начинающей писательской поросли это поможет.

Только – выходить не в плаще, ниспадающем небрежно с плеча, не в шляпе с великолепным пером вдохновения, а попросту, в рабочем костюме.

У меня покои веков плохая память и на события и на лица, – я близорук. Но я был горд и не вел никаких записей или очень редко записывал. «Кто записывает – это канцелярист, а не писатель, он раб своих записей, они его съедают, он теряет способность к синтезу, утопая в сыром материале». Нет, я не записывал, – я брал все типичное из головы и строил.

Давно это было, задолго до революции. Заходит ко мне знакомая курсистка и рассказы-

вает:

– Вчера я была у Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Студенчество делегацию к нему посылало. Наши курсы выбрали меня в эту делегацию депутаткой. Приходим. Подождали немножко. Выходит Лев Николаевич. Не пригласил сесть. Каждому подал руку. На каждом лице на долю секунды задержал острый, колющий взгляд из-под насунутых бровей. Нас было двенадцать человек. Студент сказал короткую приветственную речь. Лев Николаевич поблагодарил и, такой же нахмуренный, повернулся и ушел, – видно, от работы оторвали. Пробыли мы у него минуты четыре.

Ушла курсистка. Время побежало. Время от времени мы с ней встречались. Года через три она уже кончила.

Как-то зашла и среди разговора, перебив его, она, странно взбудораженная, стала рассказывать:

– Можете себе представить, ведь я опять попала в делегацию к Льву Николаевичу – студенческая. Делегация вся новая, за исключением меня. Повторилось то же самое, что



три года назад. Ему нездоровилось, а отказываться не хотелось. Вышел, насупленный, на минутку, сесть не пригласил, чтоб не задерживаться, каждому подал руку, на крохотную долю секунды каждого кольнул глазами и вдруг странно забеспокоился, больше насупился и еще раз остро пробежал глазами по лицам. И, перебивая скороговоркой говорившего приветствие студента, с тем же напряжением беспокойства и сердитостью в глазах, точно он торопливо что-то разыскивал в голове и никак не мог найти, сказал, обращаясь ко мне:

– Мы с вами будто встречались где-то?..

– Да, Лев Николаевич, я у вас была три го...

– А-а... да, да... помню... помню...

Попрощался и ушел. А у меня ноги задрожали от испуга. Понимаете, человек раз в жизни долю секунды скользнул по лицу другого человека, да еще в этой мимолетной обстановке встречи надоевших deputаций, – и это лицо отпечаталось в мозгу. Через три года! А за эти три года перед его глазами тысячи людей прошли. Через три года опять в мимолетной встрече, да еще среди девяти новых

человек – нас было всех десять – он полез в свою память и вытащил этот отпечаток... Ведь это же почти нечеловеческая, противоземная память.

– Ну, что же, стало быть, судьба расщедрилась: подарила гений и изумительную память.

Через несколько лет мне показали... записную книжку Льва Толстого. Оказывается, записывал.

Поразила запись: «Белый с черной оторочкой чибис пролетел и опустился». Да ведь он тысячу раз видел так характерных для степи птиц – чибисов.

Так зачем же он записал? Ясно, что тихосевший чибис с траурной оторочкой – это только крохотный кусочек, от которого разворачивалась в его воображении, быть может, огромная картина пережитого настроения, встречи с людьми, картина событий, воспоминаний. Записанный чибис – это тоненький конец, за который если потянешь – развернешь целую картину.

Я пошел, купил себе книжек и стал записывать. Уж если Толстой с его чудовищной

памятью записывал, так мне и подавно.

Но оказалось, – это не так легко. Конечно, просто наворотить в книжку все, что видишь, но ведь под этой грудой записей задохнешься. Очевидно, надо выбирать, очевидно, надо научиться записывать.

И я стал учиться. Я стал учиться записывать в книжку.

Надо выбирать для записи *самое главное, самое* типичное. А что самое главное? Я стал присматриваться: у Толстого записи – одни, у Чехова – другие, у крестьянского писателя – третьи, у пролетарского – четвертые (если он хотя бы в известной степени высвободился от давящего влияния великих писателей, откуда технически мы все тянемся).

У каждого *самое главное* – свое.

И чибис страшно характерен для Толстого. От чибиса, от светлой птицы, потянулись бескрайние картины толстовских полей, пашен, деревенского быта, помещиков и помещицкой жизни. В этом маленьком чибисе весь необъятный Толстой.

У него есть городская запись: «Женщин из публичных домов согнали выбирать траву,

которая с неудержимой весенней силой пробивается между камнями мостовой». «Воскресенье» и начинается с этой картины. И тут, в этой коротенькой записи – весь Толстой, все его отношение к городу, отношение вражды и ответственности.

У Чехова много записей смешных людей, смешных фамилий, смешных событий – все, что характеризует мещански-уродливое искривление жизни, интеллигентскую изломанность, бессилие.

У каждого писателя записи определяются всем его внутренним писательским строем.

Я оглянулся: у меня либо никаких записей, либо случайные и хаотические.

Я много писал о трудовой жизни, о тружениках. Но как мало у меня индивидуального разнообразия! Живо только конкретное, а конкретное берется только из жизни – это *единственный источник*.

И я стал учиться и до сих пор учусь. Учусь организовано схватывать наблюдения, схватывать то, что есть самое главное для моего писательского строя.

## Тисса горит\*

**Б**ыть может, мало произведений оказались столь нужными, пришлось так ко времени, заполнили столь огромную нужду знать, что происходит, как помещенное в «Роман-газете» произведение венгерского коммуниста Бела Иллеш «Тисса горит».

И это не столько потому, что мы о венгерской революции ничего не знаем (а знать мы обязаны), сколько потому, что в венгерской революции удивительно типично в чистом виде расположились классовые силы. А Бела Иллеш четко сумел отразить эту расстановку, точно перед вами расстилается историческая шахматная доска и вы своими глазами следите за всеми ходами классовых сил.

Экономно, сурово-сжато вводит читателя Бела Иллеш в самую гущу революционных событий.

Венгерским революционерам-большевикам некогда пить, некогда поест, некогда хоть на минуту завести воспаленные глаза, чтоб ухватить крохотный кусочек сна в сутки, ибо с безумной быстротой несутся истори-

ческие события.

Западная художественная литература не знает социально-революционного романа нынешней эпохи, не знает широкого полотна *реалистического* воспроизведения кипящей революционной борьбы.

Есть два произведения, которые подошли к этому типу романа: «Джимми Хиггинс» Синклера и «В огне» Барбюса. Но каждый из них изобразил по одной половинке революционного процесса: Синклер – широко общественные события, но, в сущности, не дал живых людей; Барбюс огненно зарисовал тончайшие человеческие переживания, из которых вырастает революционная борьба, но у него нет полотна революционно-исторических событий.

Бела Иллеш сумел объединить то и другое. У него живые люди, живые большевики раскрываются в самой ткани разворачивающихся исторических событий.

Венгерских большевиков видишь глазами, их чувствуешь. Как будто давно с ними сталкивался, давно их видел. Их корни тянутся из семьи, из окружающей обстановки, из друж-

бы, из классового происхождения. Их живыми видишь в разных изломах событий и борьбы, – это не трафаретные фигуры в кожаных куртках с стальными глазами.

И, дополняя картину расстановки сил, живым рисунком выделяет Бела Иллеш в ткани пронсящихся событий то, что всюду противостоит большевикам: гангрену рабочего класса – социал-демократию.

Неумолимо, шаг за шагом, раскрывается беспредельное меньшевистское предательство революции. И тут чувствуешь, это – не венгерские только меньшевики, это – меньшевики, это – социал-демократы как тип; это – мировые предатели, предатели по самой своей внутренней конструкции. Это – предатели за совесть. Если бы и хотели, они не могли бы быть (во всей своей массе как тип, а не отдельные исключения, которые только подтверждают правила) – они не могли бы быть иными. У них самая внутренность глаза устроена предательски, – революцию, рабочий класс, взаимоотношения пролетариата и буржуазии они видят наизуот: защищая пролетариат, они видят его с точки зрения

буржуазии. Оттого они так долго слепят рабочих; оттого они так долго его предательски предают.

И эта внутренняя конструкция, этот мировой тип защитника – предателя жизни, счастья, революционной борьбы пролетариата разворачивается в романе «Тисса горит» с неодолимой силой. Это оттого, что разворачивание происходит органически в самой ткани грандиозных революционных событий.

Разве мало было фактов и статей о бесконечном предательстве социал-демократов, то есть меньшевиков? Но эти статьи берешь умом. А в «Тисса горит» воспринимаешь социал-демократическую натуру нутром, чувством, сердцем, и оттого закипает безудержная ненависть, которая родит борьбу и беспощадность.

И в этом громадное значение вещи.

Написано сжато, убыстрение, – тут чувствуется городская интенсивная культура, та интенсивность культуры, к которой с такой быстротой идет тяжело перекованный революционной борьбой пролетариат Советского Союза.



Реалистов-писателей в Венгрии не было, были романтики. Бела Иллеш не у кого было учиться в родной литературе. И он воспитался на русских реалистах – дореволюционных и нынешних революционных – и на немецких. «Тисса горит» – первое художественное полотно западной литературы, в котором – живые большевики.

Роман написан на венгерском языке, потом переведен на немецкий, а с немецкого – на русский. Нет переводчиков, знающих одинаково хорошо и венгерский и русский. Этот трехэтажный перевод сказывается на вещи.

«Тисса горит» – только первая часть разворачивающихся революционных событий в Венгрии.

Автор романа «Тисса горит» – коммунист, венгерский эмигрант. На фронте империалистической войны из русских окопов в венгерские окопы, заражая, текли большевистские листовки, брошюры. Эти брошюры жадно подхватывались венгерскими солдатами. Солдат отдавали под суд, суд давил вплоть до расстрела, но рабочие и крестьяне в гимна-

стерках заражались большевизмом все больше и больше, и имя Ленина не сходило с уст.

Бела Иллеш, молодой солдат (родился в 1894 г.; кончил университет в Будапеште), был опален огнем большевистского учения, и с этих пор он – неутомимый революционер-большевик. Он дрался в рядах венгерской Красной армии с наступавшей со всех сторон буржуазией Чехословакии, Румынии, Югославии, Франции; дрался, защищая рабоче-крестьянскую власть Советов Венгрии. Он был непосредственным участником побед и поражений советской власти Венгрии, и выведенные в романе лица взяты из действительности. Оттого голос автора звучит так убедительно.

Теперь, в 1929 году, Бела Иллеш работает организатором пролетарских писателей в международном масштабе. И в Германии, и во Франции, и в других странах смыкаются в объединения революционные писатели.

До романа «Тисса горит» Бела Иллеш дал книгу «Николай Шугай», – это история революционной борьбы крестьянства в зарубежной Украине.

## Из истории «Железного потока»\*

Не странно ли: не с завязки, не с интриги, не с типичных лиц, не с событий, даже не с ясно сознанной первичной идеи зачинался «Железный поток».

Не было еще Октябрьской революция, не было еще гражданской войны, не могло, следовательно, быть и самой основы «Железного потока», – а весь его горный плацдарм, весь его фон, вся его природа уже давно ярко горели передо мной неотразимо влекущим видением. Могучий пейзаж водораздела Кавказского хребта огненно врезался в мой писательский мозг и велительно требовал воплощения.

Перед самой империалистической войной с сыном Анатолием шли мы по водоразделу Кавказского хребта. Громадой подымался он над морем, над степями, – здесь, у Новороссийска, было его начало.

Серые скалы, зубастые ущелья, а вдали под самым небом не то блестящие летние облака, не то ослепительные снеговые вершины.

Мы все подымались, и постепенно закры-

валось море возникавшими со всех сторон скалами. Воздух становился реже. Дышалось быстро. Над головами проносились ослепительно белые облачка. Зной лился так, как он льется только высоко в горах.

Вдруг скалы стали исчезать. Мы остановились, ахнули: Кавказский хребет, громадина водораздела, вдруг сузился, и открылось несказанное: справа и слева хребет оборвался в бездонную глубину. Справа необозримой стеной синело море, неподвижно синело – на этом расстоянии не было видно волн. Слева, в недостижимой глубине, толпились голубые стада лесистых предгорий, а за ними неохватимо уходили кубанские степи.

Мы стояли безмолвно на узком, метра в два, перешейке, и не могли оторваться, точно карта мира раскрылась перед нами.

Потом опять пошли. Узенький перешеек остался позади. Пропали синие предгорья, пропали далекие кубанские степи. Пропала безмерная недвижная синева моря. Кругом опять скалы, рододендроны, чинары; хребет снова могуче раздвинул исполинские плечи.

Победила Октябрьская революция.

Москва, уже своя, красная, родная. Она с выбитыми зубами, с выбитыми, чернеющими окнами, исковерканными улицами, облупленными, простреленными стенами. И все – оборванные, и все голодные. И у всех блестят ввалившиеся глаза.

Ну, что ж! Верно, от этого кругом бешено скребут, чистят, чинят, надстраивают, организуют, исследуют, создают, борются с ядовитыми врагами, – строят социализм.

«А я что? а мое какое место?»

Ну, я участвую по мере сил и разума в этой невиданной в мире борьбе-строительстве, – пишу воззвания, обращения, статьи, полемизирую, ругаюсь. В «Безбожнике» с тов. Моором обличаю антисоветских попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном, шлю корреспонденции с фронта, и... и все-таки странное постоянно живущее чувство: «нет, не то, не такое ты делаешь». Нужно сделать... какой-то нужен размах, размах хоть в каком-нибудь соответствии с тем, что гигантски творилось среди развалин, обломков старого,

которое выкорчевывалось... кругом, как муравьи, бегали. Но и в литературе нужно было как-то широко захватить.

«Как?»

Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами или в непроходимом махорочном дыму сижу на собрании, – то и дело мне слух и зрение застигает: синют горы, белеют снеговые маковки, и без конца и краю набегают зеленовато-сквозные валы, ослепительно заворачиваясь пеной.

Тряхнешь головой, и опять – непролазный дым, усталые, ввалившиеся от голода лица, серые шинели, даже на девушках, которые их кокетливо перешили. А там опять наплывает...

Я одно чувствую: эти серые скалы, нагнувшиеся над бездонными провалами, откуда мглисто всплывает вечный рокот невидимого потока, белеющие снеговые маковки, – и по ним синие тени; эти непроходимые леса, густые и синие, где жителями лишь зверь да птица: всё это, как чаша, требует наполнить себя.

«Чем? Какое содержание я волью?»

Синий едкий дым, проступающие и исчезающие голодные лица, голос оратора, всплывающий возле меня обрывками, и опять: синие, как трава, леса предгорий, далекие ослепительные маковки, бескрайные степи и необъятная громада морской синевы.

Мне вспомнилось: бежал мой мотоциклет, по кличке «Дьявол», по этому самому извилисто-серому шоссе, еще до империалистической войны, и также слева громоздились горы, справа синело море. В горах остановился. Поставил своего «Дьявола» на ноги, купил у крестьянина молока. Он – из Рязанской губернии. От нищеты пришел сюда, ребятишки мал-мала меньше, замученная жена, зажившиеся на свете старики, которых кормить надо.

В первую голову засеял пшеницу, – не чернослив, не виноград, которые тут великолепно растут, а пшеничку «расейскую». Великолепная пшеница поднялась, литой колос. Вся семья над ней затаила дыхание. Дня через два снимать.

Да зачернелась над горами тучка, хлынул

горный ливень, зашумели потоки, стали прыгать, снося деревья, валуны, – через четверть часа вместо пшеницы – исковерканное валунами черное поле. Никому в голову не придет, что тут густо золотилась пшеница, что тут вложен был бешеный труд. К самым коленам опустилась победная головушка. Кругом голодные детишки.

Разве написать, написать этого мужичка среди гор? Ему нет выхода – социального выхода; там, у себя, в Рязанской губернии, зубастыми губами сосет помещик, кулак, поп, становой; здесь, где он один на один с горами, с лесами, с скалами и ущельями, с морем, – здесь тоже его сосут, те же, – сосут тем, что отняли знание, науку, умение и навык бороться с незнакомой природой. Он социально прикован к своей сохе. Разве написать?

И бреду по сугробам снега, таскаю за спиной мешочек с мерзлой картошкой, везу на салазках дровишки.

Нет, нет... нет! Про «бедного мужичка» слишком много писали, – бедного, темного, забитого. И я слишком много писал его таким. Ведь – революция. Ведь он же бешено бо-



рется на десяти фронтах, голодный, холодный, вшивый, разутый, в лохмотьях, и страшный, – как медведь ломит. Разве это то же?

Нет, я напишу, как оно, крестьянство, идет гудящими толпами, как оно по-медвежьи подминает под себя интервентов, помещиков, белых генералов. И опять встают скалы, сверкающие маковки, синей стеной море, оскаленные ущелья...

«Хорошо, но содержание, содержание-то какое? Какие события, каких людей я вставлю в эту обстановку?»

И почему крестьянина, прежнего мужика, почему его, его борьбу, его страдания, его победы? Почему я непременно хочу вставить в экзотику – в эти горы, в скалы, ущелья, в эти сверкающие вечные <нега, среди пальм и кипарисов у синего моря? Разве в такой обстановке он жил, несчетно работал, мучился и умирал?

*...ель да осина,  
Не весела ты, родная картина...*

Вот его извечная рама.

Да, эта экзотика, эта солнечность, яркость,

эти живые слепящие краски – все это неестественно для русского «мужика».

Больше всего я боялся, это – впасть в *красивость*, а тут было похоже.

И я опять встряхиваю головой, отгоняя столпившиеся картины, и опять либо в ядовитом дыму собрания всплывают и пропадают голодные лица, либо коченею в маленькой комнатухе замороженного завода, – бежит, траурно колеблясь, хвост над керосиновой лампочкой, мертво белеют языки инея, пробившего стылые стены завода, и я, по поручению «Правды», агитирую рабочих организовать кружки рабкоров. И опять спотыкаюсь в сугробах, таскаю дровишки на салазках, и всегда в животе аппетит старого голодного волка.

Глядь, – скалы, море, зубастые ущелья... Измучился!..

Понемногу в этой изнурительной борьбе с самим собой у меня в голове стало что-то оформляться. Хорошо. Я пуцую по этим горам, ущельям, вдоль моря по шоссе крестьянские толпы, которые не то спасаются, не то гонят кого-то. Ну, а дальше? Не знаю.

У меня немало в прошлом рассказов, в которых события, люди, характеры, взаимоотношения навиваются вокруг движения. Едет ли герой на велосипеде, или на «Дьяволе», идут ли пешком, плывут ли на барже или на лодке, по мере движения разыгрываются события. («В пути», «Дьявол», «По родным степям» и др.). Для меня легче такое построение. Ладно. А тема? А содержание? А события?

Я стал жадно спрашивать товарищей, приехавших с фронтов гражданской войны, жадно записывал. Я услышал удивительные эпизоды. Передо мной развернулись удивительные картины потрясающего героизма, потрясающего напора, а я все ждал чего-то, чего-то другого и... дождался.

В Москве у меня был знакомый украинец, Сокирко, коммунист. Однажды, когда я у него сидел, к нему пришли трое. Один – веселый, белокурый и пел, должно быть, мягким голосом чудесные украинские песни. Другой – спокойный, все курил. Третий – как с отлитым из темной меди, замкнутым лицом.

– Ну, от вас таманьцы и расскажут про свой поход по Черноморью, тильки пишите, –

сказал Сокирко.

Сокирчиха заварила нам чаю, целую ночь просидели, и я слушал, слушал, пока под утро Сокирчиха нас не выгнала:

– Та спаты вже треба! Цилую ничь балакають, а у мени голова нэ держитесь на шее. Геть, хлопцы, до дому!

И я шел по сугробам, живот голодно подтянуло, а голова была радостно переполнена: мне рассказали о походе Таманской армии как раз по тем местам, по Черноморью.

Таким образом Октябрьская революция наполнила кипучим содержанием столько лет мучивший меня могучий горный пейзаж, для которого я так долго не находил достойного сюжетного наполнения.

Меня словно осенило: «Да тыпусти на эти горные кряжи поднявшееся революционное крестьянство. Они же, эти бедняки-крестьяне, действительно тут шли, тут клали головы...» Сама жизнь подсказала мне: «Лепи этот „Железный поток“ – не даром тебя там носило, по этим самым местам. И крестьян этих ты хорошо знаешь...»

Я вообще смутно носил в себе вырисовы-

вавшуюся для меня тему об участии крестьянства в революции.

Мы знаем из истории, что крестьянство многократно участвовало в революционных выступлениях, часто недостаточно организовано, анархической массой (разиновщина, пугачевщина, позднейшие бунты крестьян в разных губерниях). Но такие выступления не могли привести к утверждению революции. Социалистическая революция смогла окончательно победить, лишь когда во главе ее стал пролетариат. Бунт потрясал строй, но не сменил его другим. Революция же разрушила до основания старый строй и поставила на его место новый.

Но как же все-таки крестьянство пошло в нашу, Октябрьскую революцию? Одно дело представить это себе теоретически, другое – показать конкретные факты в художественных образах. Эта мысль страшно сверлила меня.

Я думал...

Крестьяне дрались с помещиками за землю. Дрались-то дрались, но что местами на первых порах получалось? Были случаи на

Украине: прогнали крестьяне помещиков, скот поразобрали, потом несколько волостей объединили и порешили: «Ну вот, это наше собственное государство, мы будем жить, никого касаться не будем, но и нас не касайтесь – ни большевики, ни меньшевики, ни красные, ни белые». Таких «самостоятельных государств» было несколько. Я и думаю: «Ну, хорошо, а как же все-таки революция создала изумительную армию из тех же крестьян, которые не хотели знать ни красных, ни белых, – армию, которой крепко руководил пролетариат?»

Конечно, главной движущей и организующей силой революции является пролетариат, однако Октябрьскую революцию он совершил не один – он сумел толкнуть на борьбу громаднейшую массу крестьянства.

Если бы рабочий класс в революционной борьбе оказался один, он был бы разбит, как это мы видели в предыдущих революциях. В Октябрьской революции крестьянство помогло пролетариату, и поэтому Октябрьская революция победила.

Дореволюционное крестьянство по самому

складу своему – класс совсем иной, чем рабочий класс. Рабочий выкован производством, он всей своей жизнью, так сказать, подготовлялся к революционной борьбе, у него нет никакой собственности.

Крестьянин же, которого я должен был показать в «Железном потоке», являлся собственником: у него и коровка, и лошадка, и земляца, и изба. Крестьянин этот являлся хозяйчиком, пусть маленьким и захудалым, но хозяйчиком, – и это коренным образом его отличало от рабочего и ставило его в совершенно иное положение по отношению к нашей революции. Ему, правда, тяжело жилось, но он думал примерно так: «Хорошо бы спихнуть помещика и взять себе его землю; хорошо бы у помещика забрать инвентарь, пару коров, пару лошадей да плуг, и больше ничего не нужно – буду жить, богатеть, приумножать». Вот какой был строй мысли у этого мелкого собственника. И когда грянула революция, часть крестьянства во многих местах поднялась во имя того, чтобы поскорее спихнуть помещика и загрести себе его добро, а о дальнейшем развитии революции оно в подавля-

ощем большинстве мало думало и не представляло себе, что и как придется идти дальше.

Как же все-таки крестьянство при таком складе мыслей двинулось в революционную борьбу, в конце концов организовалось в колоссальнейшую и удивительную Красную Армию, которая доставила победу пролетарской революции?

Объективный ход истории заставлял крестьян идти в революцию плечо в плечо с пролетариатом. И только при этом условии крестьянство смогло окончательно свалить помещиков. Я искал для «Железного потока» материал, который дал бы мне возможность показать крестьянство во всех его проявлениях. Меня занимало, как бы это все изобразить художественно, и я искал материал, который с наибольшей яркостью характеризовал бы революционную силу крестьянской массы и показал бы, как пролетариат направляет эту силу по своему пути.

Материала на тему о гражданской войне у меня накопилось много. Мне рассказывали товарищи, приезжавшие из Сибири, порази-



тельные картины, среди них более яркие и более трагические, чем те, которые описаны в «Железном потоке». Однако, продумав их, я все-таки не мог остановиться на этом материале и вот почему. Ведь требовалось нарисовать полотно, которое дает обобщение, в отдельных картинах выразить что-то общее, пронизывающее все одной идеей, которая осмысливает эти отдельные картины.

Когда трое таманцев рассказали мне о своем походе, я почувствовал, что это как раз и есть нужный мне материал. И я, не колеблясь и долго не раздумывая, остановился на отступлении громадных масс бедноты из Кубани, где поднялись против Октябрьской революции зажиточные кулацкие слои. Крестьянская и казачья беднота и разбитые части советской армии двинулись из Кубани на юг, на соединение с советскими войсками Северного Кавказа. Крестьянской массе пришлось поневоле отступать: зажиточные казаки стали резать бедноту, сочувствовавшую советам. Но уходила эта бедняцкая масса крайне беспорядочно. Она была путаной и неорганизован-

ной, не хотела подчиняться командирам, которых сама же выбрала.

В походе столько страданий и мучений перенесли отступающие, таким страшным для них университетом был поход, что к концу его они совершенно преобразились: голые, босые и измученные, голодные, они сорганизовались в страшную силу, которая смела все преграды на своем пути и дошла до конца. И когда она прошла через эти страдания, через эту кровь, отчаяние, слезы, у нее раскрылись глаза; тут она почувствовала: да, единственное спасение – советская власть. Это не было еще сознательное понимание, как у пролетариата, крестьянская масса действовала во многих случаях инстинктивно.

Я уцепился за рассказ таманцев о своем походе, так как, на мой взгляд, этот поход все-сторонне отображал именно такое преобразование крестьянства. По рассказу таманцев так и выходило: вначале это была анархическая масса, мелкобуржуазные хозяйчики, – потом ценой напряжения, страшной борьбы, слез, крови она перерабатывалась, революционно преображалась, и под конец похода это

была уже та революционная масса, то революционное крестьянство, которое помогло рабочему классу.

Как раз то, что мне нужно было для «Железного потока».

Передо мною все явственнее, все осязательнее разворачивалась тема. Однако рассказов таманцев мне было мало; хотелось узнать как можно больше подробностей; хотелось возможно более объективного изложения. Я стал искать встреч с другими участниками похода и вскоре отыскал еще одного из участников похода – рабочего, который шел рядовым бойцом. Он мне тоже много интересного рассказал.

Но когда слушаешь, всегда учиываешь, что рассказывающий о своей жизни неизбежно все освещает со своей особой точки зрения. Я разыскал поэтому еще других товарищей, которые участвовали в походе, и учинил им, так сказать, перекрестный допрос. Послушаю, что один расскажет, а потом переспрошу о том же другого, третьего, десятого. Затем мне удалось еще добыть дневник, – один рабочий вел записи во время этого похода, – и

вот таким образом, сличая показания разных участников похода, я создал в своем воображении картину этого движения.

Надо заметить, что таманская масса дошла не только до пункта, где я их оставил в «Железном потоке», они двинулись и дальше, до Астрахани, но я прекратил повествование раньше. Почему? Да потому, что задача моя была окончена. Я взял анархическую массу, не подчинявшуюся, каждую минуту готовую посадить на штыки своих вожаков. И через страдания, через муки провел их до конца, до тех пор, пока они не почувствовали себя организованной силой Октябрьской революции. Для меня этого было достаточно. Моя задача выполнена.

Почему материал именно этого похода мне так приглянулся? Я хорошо знаю Кубань: она граничит с Донской областью, моей родиной. У них очень много общего: и в населении, и в природе, и в социальном укладе. У нас, на Дону, половина населения – украинцы. Правда, говорят они не на чистом украинском языке, как в Полтаве, а на жаргоне. На том же жаргоне в значительной степени го-

ворит и Кубань. На Кубани я жилал. Черноморье еще до войны избородил на мотоцикле, хорошо знал и природу и людей. Поэтому, когда мне надо было дать характеристику, дать типичных представителей этого населения, вроде бабы Горпины и ее деда, мне это было не так трудно. Впрочем, я еще раз поехал к описываемым местам во время самой работы, чтобы восстановить в памяти обстановку края, пейзаж, людей.

Из каких же элементов сложился материал? Рассказы таманцев были положены мною в основу. Это был первый материал, – материал со слов. Затем я использовал еще материал записей, дневники и письма участников похода. Третий источник материала – печать, – правда, здесь я нашел немного.

Вот три источника получения материала.

Как же я работал над ним?

Начал я писать «Железный поток» в 1921 году, а в 1924 году он вышел из печати. Я, следовательно, писал его два с половиной года. Писал разбросанно, кусками. Не так, чтоб с начала, с первой главы начал – и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего написал

хвост, последнюю сцену митинга. Меня мучил этот конец – митинг. Стояла передо мной эта баба Горпина такой, какой она выросла. В заключительной сцене для меня сконцентрировался весь смысл вещи. Она, эта сцена, необыкновенно ярко горела у меня в мозгу.

Я ощущал конец, этот митинг в степи, когда таманская армия встретилась с Красной Армией, как заключительный аккорд, как разрешение всей темы. Я много раз его переделывал, так как здесь – я мыслил – сосредоточен главный психологический удар по читателю. Я считал, что если эта последняя часть произведет на читателя нужное мне впечатление, задача, поставленная при написании «Железного потока», с моей точки зрения, будет разрешена.

Сцену митинга я написал сразу, а потом почувствовал, что то тут, то там нет сосредоточенного удара, сжатости, ясного и сильного проявления отдельных героев, проявлений, которые характеризовали бы их внутренний строй, их внутреннюю переделку, как, например, у бабы Горпины. Мне пришлось очень много работать над каждым персонажем, на-

пример, над той же бабой Горпиной, стариком ее, а также и другими. Каждый отдельный момент заключительной картины я переворачивал так и сяк, подыскивал фразы и слова, при помощи которых получилась бы сжатая и в то же время сильная картина.

Нужно было как-то гармонично связать обстановку, пейзаж со сценой митинга. Над этим пришлось усиленно работать. Хотелось сделать так, чтобы пейзаж не стоял особняком от развертывающихся событий, а органически сливался с настроениями, с внутренним состоянием пришедшей армии, гармонировал бы с ними и помогал раскрывать замысел автора.

Вслед за концом я написал начало, которое также подверглось усиленной обработке. Начало и конец органически связаны. В первой главе начинается процесс, в последней этот процесс заканчивается психологическим напором на читателя. В конце и начале заключалась вся сущность вещи. И начало и конец, чтоб они получились согласованные, пришлось много раз переделывать, так как нужно было дать общую гармоничную картину

настроения масс и отдельных лиц, а также пейзаж, укладывающийся в рамки событий. Прежде чем я этого достиг, пришлось много и упорно поработать над каждым кусочком в отдельности.

Когда конец и начало были уже готовы, нужно было их соединить. Конец и начало ярко стояли в голове, и легче мне дались, а середина далась гораздо труднее. Пришлось все время обдумывать, как создать самую ткань повествования. Середину я писал кусками: то одну сцену напишу, то другую, по мере того как они складывались в сознании. Несмотря на то, что в голове вся тема держалась полностью, почему-то не все сцены вставляли с одинаковой яркостью, они не шли гуськом, вслед, в порядке друг за дружкой. Куски я потом постепенно склеивал и переклеивал, а когда склеил окончательно, то заново переписал весь роман сплошь. Переписал, потом по частям стал перерабатывать; возьмешь один кусок, переработаете и вставишь. Мне все казалось – недостаточно четко, недостаточно выпукло. В голове все вырисовывалось, как мне казалось, чрезвычайно ярко, отчет-



ливо: лица, движения, горы, море, а, глядишь, на бумаге выходит не то. Писал и перерабатывал произведение с напряженным трудом.

Мне хотелось дать повествование, возможно более близкое к живой действительности, поэтому я старался целиком брать материал из рассказов, из записей. Однако я предпочитал брать материал, дающий известное обобщение. В этих целях приходилось вносить элементы выдумки. Часто я принужден был жертвовать некоторыми рельефными чертами, характеризующими быт, отношения с близкими и т. д. Образ, благодаря этому, отходил от живой модели.

Это я делал умышленно, чтобы сосредоточить впечатление на определенной стороне характера героя. Я предпочитал отчетливо выявить одну наиболее важную сторону характера, а если бы я обрисовал героя со всех сторон, то эта наиболее характеризующая сторона его значительно ослабела бы. Например, баба Горпина: в ней я сосредоточил основную идею перерождения под влиянием революции крестьянской бедняцкой массы. Это – тип собирательный, сделанный на мате-

риале, который у меня был раньше. Для подлинного похода он выдуман и нарочито вплетен в ткань произведения; так как мне нужно было дать крестьянина и крестьянку, сначала индивидуалистов, собственников и потом показать их перерождение к концу похода. Именно эта черта Горпины была для меня самой важной. Ее я и выпятил.

Я ставил себе задачей – дать реальную правду; но правду, конечно, не фотографическую, а правду синтетическую, обобщенную. А раз так, то смазывать происходившее никак нельзя было, нельзя было разукрашивать людей: есть жестокость – жестокость, можно сказать, звериная, но эта жестокость – я старался это убедительно показать – оправдывается необходимостью, всей обстановкой, всем течением событий. Пусть звериное, но пусть таманцы будут такие, какие они были в жизни. Конечно, они вовсе не звери, но когда их поставили в положение, при котором они должны рвать клыками направо и налево-иначе им пропадать, – тогда и звериные инстинкты вырвутся.

Я, как художественный летописец, просто не считал себя вправе смягчать, вуалировать, прикрашивать.

Вывожу я, впрочем, за костром паренька мягонького, рыхлого. На него все и окрысились: идет смертельная классовая борьба, так третий не суй нос в дверь, а то оттяпаем. Эта сцена дает понять, что не потому таманцы жестоки, что они звери, а потому, что находятся в таком положении, а не в ином.

Надо учитывать, что я пытался в «Железном потоке» очертить синтез борьбы жесточайшей, борьбы небывалой, не на жизнь, а на смерть. Мать любит ребенка, а его шрапнель кладет на месте... Любовь тут глубоко схоронилась, но она неистребимо живет в человеке. Матери, например, бьют своих детей, чтоб они шли дальше, но ведь понятно – бьют из любви к детям. Потом, например, когда колонны проходят мимо пятерых повешенных, измученные люди сразу преображаются. В чем дело? Повешены их братья! Разве это не любовь? Любовь! Но я пуще всего боялся малейших оттенков сентиментальности. Эти пятеро повешенных так точно в действительности

сти висели. Мне рассказывали, что командование нарочно повело таманцев мимо виселиц, чтобы они видели, что белогвардейцы делают с их братьями. И они ломились потом на врага стеной. Это и есть любовь: не толстовская, конечно, беспомощная, непротивленческая, а такая, какую она только и могла быть в революцию: любовь – не, жаление, а любовь – подвиг, любовь – самоотверженность, любовь, зовущая. идти бить своих классовых врагов.

Вообще же в «Железном потоке» у меня выдумки мало. События в большинстве случаев представлены так, как были. Отдельные эпизоды нарисованы с очень незначительными изменениями. Например, история с граммофоном. Она придумана для того, чтобы усилить впечатление. Перед перевалом через горы, народ шел словно одержимый; страшно было смотреть. Я долго подыскивал такую художественную форму, которая бы наиболее полно выражала состояние умопомраченной массы. Написать просто: «Они были возбуждены, с блестящими глазами» и проч. мне не хотелось: уж очень это шаблонно и поэтому

мало действует на читателя. Тут-то я и придумал историю с граммофоном. В отряде действительно имелся граммофон, и он в течение всего времени действовал. Но не было того потрясающего момента смеха, о котором я написал. Я это выдумал для того, чтобы нарисовать наиболее ярко и напряженно состояние обезумевших людей.

Еще о подлинных фактах и о выдумке. Возьмем сцену митинга – концовку произведения. Конечно, никакая баба Горпина не говорила именно так. Здесь опять-таки понадобилось подыскать такую форму резкого, ударного, впечатляющего рисунка, которая сделала бы ясным резкий перелом в психологии собственника-индивидуалиста, ставшего к концу похода сознательным борцом за новую жизнь.

Я настолько близко держался подлинности событий, что есть в «Железном потоке» места, которым читатель не всегда верит. Например, мордобой между казаками и солдатами. У тех и других есть оружие, а они не пускают его в ход: кинулись в кулаки. Я считал нужным изобразить сцену именно так, пото-

му что между казаками и иногородними существовали очень сложные взаимоотношения. С одной стороны, это – враги. Вражда их выросла из того, что одни владели землей, другие же ее не имели. А с другой стороны, эти враги – соседи. Часто они – близкая родня, женятся друг на друге, учатся в одной школе, ребяташками играют вместе, – у них самая кровная связь. Поэтому не удивительно, что и методы борьбы у них колеблются: то они расстреливают друг друга, то бьют друг другу морду. Эта сложность их прежних отношений и отражена в книге.

Отбор фактического материала я подчинял основной идее, основной линии, основной мысли, вокруг которых навивался весь художественный материал, – это реорганизация сознания массы. Материал, даже хороший, даже яркий, но не продвигавший каждый раз основную линию, основную мысль вперед, я отбрасывал. Требовалось быть очень экономным. Если бы я брал материал, исходя лишь из оценки его яркости, то основная мысль, основная идея потускнели бы, заслонились бы обилием материала. Несмотря на строгий от-

бор его, у меня в середине произведения есть все-таки некоторые длинноты, я не сумел их избежать.

Как композиционно я строил «Железный поток»? Как приводил в столкновение героев? Я стремился органически связать начало и конец, дать ряд событий, ряд действий, которые нарастали бы в ходе повествования и которые должны были последовательно-фабульно вести от начала к концу. По этому принципу и построена вся вещь.

Героев я приводил в столкновение постольку, поскольку в их психологии, и в их настроениях, в их целях внутренне рождалась и зрела необходимость этих столкновений. Возьмем, например, Смолокурова. Этот герой «Железного потока» – славный парень, революционно настроенный, отличный митинговый оратор, но он расплывчатый человек, полная противоположность Кожуху. Смолокуров не всегда знает, чего хочет. Идет иногда на поводу у других. Его столкновение с Кожухом построено на его внутренней неорганизованности. Между этими совершенно раз-

ными героями не может не родиться конфликт, – и это должен ясно уразуметь читатель. Точно так же и с Кожухом. Например, его столкновение с матросами. Эти столкновения, с одной стороны, рисуют внутреннюю структуру, психологию матросов, а с другой стороны – психологию Кожуха. Крепкий, твердый, не останавливающийся перед препятствиями, он уверенно ведет свою линию и этим влияет и на матросов.

...Сознательно ли я избрал формой «Железного потока» эпопею? В основном я себе более или менее отчетливо представлял, как должно пойти развитие действия. По мере работы над произведением форма его, конструкция, делалась для меня все яснее и яснее. Костяк был планомерно детально разработан заранее. Но помимо основного материала, у каждого из нас, писателей, как на складе, где-то в подсознании хранятся накопленные опытом слова, фразы, которые в нужный момент вытаскиваешь и начинаешь разрабатывать. Я затрудняюсь сказать, с какого момента, как и почему «Железный поток» четко вырисовывался мне именно как эпопея.



Можно ли героические события нашей жизни укладывать в обычные формы повествования (роман, повесть, рассказ)? Я лично думаю, что не только, можно, но и нужно. Это зависит, впрочем, от индивидуальности писателя. Мое произведение, конечно, выиграло бы, если бы я дал более широкое полотно, обрисовав и бытовые черты героев. В сущности говоря, персонажи «Железного потока» мало разработаны. У них оттенены только ударные стороны. Если бы я дал большое полотно, разработал бы бытовые черты, показал человека со всех сторон, – вышло бы что-то вроде «Войны и мира» советского времени. Но мне, по-видимому, было не под силу справиться с такой широтой художественного охвата, и поэтому я отметал все, что в обстановке похода не служило основной цели яркого освещения коллективных стремлений и общих переживаний массы.

Всесторонне осветить тогдашнего борца за новый мир я не мог еще и потому, что писал по свежим следам событий на маленьком окраинном участке огромного фронта. Теперь, когда я оглядываюсь на гражданскую

войну и охватываю ее значение во всей ее необъятной шире, она мне представляется иной, чем тогда. Я описывал отдельный поток, смутно лишь представляя себе, в какой бушующий океан вскоре сольются эти октябрьские потоки.

Мне хотелось бы остановиться на значении художественных деталей и на вопросе о том, какую роль они сыграли в произведении. Например, партизаны были одеты в отрепья: я беру эту деталь, и не один раз, а несколько раз. Чтобы хорошенько довести ее до читателя путем противопоставления, делаю ярче основную деталь. Желая оттенить, в каком положении были грузинские солдаты, погибавшие от холода, я описываю параллельно одежду грузинских офицеров, которая была совсем иной. Я стремлюсь выпуклить эти детали, чтобы они не только изображали факты, но и помогали раскрывать внутренний строй человека, взаимные отношения людей. Взять хотя бы тот факт, что грузинские офицеры были накормлены, а солдаты голодны. Эти детали должны были характе-

ризовать в известной мере и классовые отношения в тогдашней Грузии.

В «Железном потоке» есть одна частность. После боя с грузинами некоторые командиры таманской колонны внешне преобразились. Они оделись, воспользовавшись военной добычей. Думаю, что это следовало изобразить. Люди были раздеты и разуты, и такие детали больше характеризуют положение, чем отдельных людей.

Таким образом я пытался подчинить детали общей идее произведения и сделать так, чтобы не просто, произвольно приклеивать детали, а в меру возможности связывать их с внутренним состоянием людей, делать их дополнительным штрихом в характеристике создавшегося положения и умонастроения.

Мне хотелось еще дать какой-то юмор, свойственный данной массе украинцев, которые в самых тяжелых условиях умеют находить в жизни юмористические моменты. Для этого я ввел эпизод с переодеванием в дамские панталоны. Это – тоже деталь, характеризующая массу. Тут не грабители, – ведь они сумели взять эти принадлежности туалета ве-

село, со смешком. Я считал нужным ввести этот эпизод, несмотря на то, что по конструкции романа достаточно освещены теневые стороны массы.

К концу 1923 года я закончил «Железный поток». Отнес в одно издательство, поглядели: «Да, знаете, большая вещь... да нет, не возьмем, еще провалишься с ней». Так и не взяли. Тогда я отнес рукопись в альманах «Недра». Там ухватились. С того времени «Железный поток» понемножечку и пошел...

После выхода «Железного потока» мне не раз приходилось встречаться с некоторыми участниками похода. Они рассказывали мне интересные вещи: большая часть партизан погибла в боях, а некоторые возвратились на Кубань и стали там хозяйствовать. Привезли туда несколько экземпляров «Железного потока». Участники похода прочитали и говорят: «А товарищ Серафимович в какой части у нас был?» Значит, правдиво написано...

Вскоре после появления его в печати покойный академик Лебедев-Полянский в «Красной нови» дал хороший, толковый отзыв. В общем, советская критика отнеслась к

роману весьма положительно. Не могу не отметить глубокий и умный анализ «Железного потока», данный покойным писателем Д. Фурмановым. Некоторые критики, однако, указывали, что недостаточно даны пейзаж, природа. Другие, наоборот, говорили, что природа занимает слишком много места. Я же думаю, что природа дана в меру. Больше не следовало давать, потому что иначе это разжижало бы события, и меньше тоже нет.

Как встретила рабочая масса «Железный поток»?

В подавляющем большинстве случаев это произведение принималось рабочими хорошо. Я на собраниях в этом убедился, получая многочисленные записки и письма. Записки я собирал (для характеристики аудитории) в Москве, Ленинграде, Горьком, Туле, Сталинграде, Ворошиловграде (Донбасс), Свердловске, в Архангельске, Вологде и во многих других городах. Большинству нравится, увлекаются даже. Один рабочий писал: «Прочитал – и знаете, так кулаки и сжались. Черт их дери, белую свору! Буду их бить направо и налево».

Те, кто пережил гражданскую войну, вы-

сказывались, что очень правдиво. Говорили: «Я был на гражданской войне, как раз оно – то самое».

Доступен «Железный поток» по форме, по рисунку, по языку.

Но были и другого характера отзывы, хотя в очень незначительном количестве. Так, например, в Ленинграде я выступал несколько раз на Кировском заводе. Там, кстати сказать, очень хорошо были организованы отзывы рабочих. Отзывы давались не экспромтом, не в момент чтения. Объявили культработники за месяц до моего приезда: «Вот-де, товарищи, берите книги Серафимовича, подготовьтесь хорошенько и, когда прочитаете, давайте отзывы». И вот писала работница двадцати пяти лет: «Скучная вещь, как-то мало понятно». Еще было в Ленинграде таких отзывов дватри. В Горьком тоже среди положительных отзывов мелькали и отрицательные. Выступает, например, рабочий, – длинный у него в руках манускрипт такой, – и говорит: такие вот и такие неправильности, несвязности. Заведующий библиотекой рабочего клуба тоже привел несколько отрицательных отзывов

рабочих. Некоторые писали мне: «Скучно», некоторые «Непонятно».

В целом, однако, «Железный поток», по-видимому, хорошо оценивается рабочим читателем. Один молодой рабочий в Ленинграде рассказывал так: «Знаете, мне все говорят: «Прочти да прочти „Железный поток“». Ну, лезли ко мне... Как-то товарищ принес однажды книжку. Я не хотел ее читать, но потом начал. Так знаете, всю ночь не мог оторваться. Надо утром на работу идти, пришлось прервать. Потом, как кончил работу, выскочил из завода, полетел, опять засел читать, пока не кончил». Это рассказывал молодой комсомолец. Старики тоже хорошо отзывались.

Приезжавшие из разных стран товарищи рассказывали мне, что зарубежные рабочие читают «Железный поток» с интересом и говорят, что написано хорошо и что они почувствовали, как шла Октябрьская революция в Союзе Советских Социалистических Республик; газетные статьи не давали им такой живой картины нашей борьбы. В «Железном потоке» они почувствовали колоссальнейшую стихийную силу крестьянства, которую орга-

низует и направляет по своему пути пролетариат.

Очень любопытны также отзывы буржуазных газет. Буржуазные читатели в первые годы появления «Железного потока» за рубежом страшно изумлялись: вот, мол, чудеса! Совершенно для них неожиданно оказывается – художники-коммунисты умеют художественно писать. Они, по-видимому, воображали, что мы ходим в лаптях, едим сальные свечи и т. д. – так в начале 20-х годов буржуазия писала о нашей культуре. В общем, книга имела явный успех и за границей.

Мне и в письмах и в записках во время моих выступлений на заводах, в воинских частях и пр. задавали много вопросов о «главном герое» моего произведения – Кожухе, Как я его лепил, что, он собой выражает, какие идеи я воплотил в его образе.

Один из товарищей спрашивал, является ли Кожух главным героем, или, может быть, «Железный поток» – роман безгеройный, может быть, в нем нет главного героя?

На это я отвечал. Кожух – герой и не герой.



Он не герой потому, что если бы его не сделала масса своим вожаком, если бы она не влила в него свое содержание, то Кожух был бы самым обыкновенным человеком. Но в то же время он и герой, герой потому, что масса не только влила в него свое содержание, но и шла за ним и подчинялась ему, как командующему. Вспомним, например, каким обтрепанным и рваным он всегда ходил, ничего не позволяя себе взять, в то время как его командиры прекрасно оделись. Он постоянно чувствовал на себе взоры массы. Отнимите от него массу, и пропадет весь его ореол.

В другой записке меня спрашивали:

– Почему мало выявлена личность Кожуха?

До известной степени я, может быть, это сделал инстинктивно, а в некоторой мере и с расчетом: я не хотел дать штампованного, избитого героя, на коне ведущего вперед эти самые массы, а я хотел его дать простым, но деловым, умным и строгим командиром, сросшимся с массой.

А вот еще записка:

– Почему Кожуху придается такое большое

значение?

Нет, где уж там... Если бы я придавал слишком большое значение Кожуху, так я бы сделал большую художественную ошибку. Это – неправда. По-моему, большого значения Кожуху в романе не придается, – наоборот, я именно и пытался показать, что в Кожуха вливает свое содержание масса, что без нее он самая заурядная фигура.

Один ленинградский товарищ спрашивал:  
– Почему вожаком взят офицер Кожух? Как будто нельзя было взять героем кого-нибудь из крестьян?

Конечно, можно было бы, и такие примеры в жизни бывали. Простые солдаты, крестьяне во время гражданской войны в Сибири и в других местах чудеса делали: Но я все-таки остановился именно на Кожухе, на офицере, потому, что мне показалась его роль очень характерной. Именно это самое офицерство, вернее, производство в офицеры, выковало из Кожуха жесточайшего врага помещиков и их представителей – офицеров. Это было настолько характерно, что я остановился именно на этой интересной фигуре офице-

ра из народной толщи.

Другой товарищ писал мне:

– А в «Железном потоке» вот какое противоречие: Кожух, мол, показан вами человеком, который не гоняется за славой; он дескать, и собой жертвует, и как будто интересуется он не тем, чтобы его похвалили и чтобы славу себе создать, а чтобы освободить массу, – он действительно борется за идею. А тут же в «Железном потоке» есть рядом страницы, в которых говорится, что Кожух боялся, что его слава может померкнуть.

Нет, по-моему, противоречия тут нет никакого, ибо ведь людей нельзя представлять себе, выкрашенными одной краской. Вы возьмите честнейшего, благороднейшего революционера, который отдает всю жизнь за революцию. Если вы мне скажете, что у него в душе нет ни зерна честолюбия и т. д., то я скажу вам, что это не верно. Есть это зерно, оно живет в каждом человеке! Весь вопрос только в размерах. У Кожуха на протяжении романа честолюбие постепенно сошло на нет, а готовность отдать себя революционной борьбе выросла в огромной степени. А бывает наоборот:

честолюбие разрастается, а желание отдать себя понемногу суживается. Людей надо брать такими, какие они есть, со всеми их внутренними противоречиями. Тогда это будет правда и правда поучительная, особенно в художественном произведении.

Указывали мне еще и на другое противоречие: Кожух, мол, хотел пороть солдат, а своих офицеров он не тронул... Опять-таки противоречия тут нет, и я повторяю еще раз: плох тот художник, который рисует людей, как на лубочных картинках дореволюционного времени: солдаты все одинаково ноги поднимают, по ногам мазнули синей краской, по груди – красной, по, лицу провели желтой краской – и все. Нельзя так – это не художественно.

Человек сложен и противоречив. Кожух хотел пороть солдат, а на своих помощников у него рука не поднималась: начни их драть, а они, может быть, и скovyрнут его. Здесь он боится не только за свою шкуру, но и за все дело. Я вовсе не хотел изобразить Кожуха идеальным человеком. Таких людей нет на свете.

Две записки относительно матросов, показанных в «Железном потоке»:

– Почему матросы выведены контрреволюционерами?

– Матросы выведены как бандиты, – это неправильно.

На это необходимо ответить.

Из песни слова не выкинешь, а я, работая над «Железным потоком», больше всего боялся неправды, лакировки. Все мы отлично знаем, что в царской армии и флоте матросы были революционным элементом. Во время Октября они бесстрашно шли в революционную борьбу и погибали массами, а тут вдруг, – пишут мне, – «такая музыка». Но, видно, революция не идет по ровной дорожке, в революции масса всяких отклонений, внутренних противоречий. Это сказалось, в частности, и на матросах. Они отдались революции и клали головы без колебаний. Но вот когда в Новороссийске матросы топили флот, который по Брестскому миру надо было передать немцам, они, по общему согласию, вынули из корабельных касс деньги, которых много было на каждом корабле, и поделили поровну между собою. Потом они закрутились, стали пить, гулять с девчатами; деньги у них сыпались, как из

мешка, они как будто старались от них скорее отделаться. Это даром не прошло: матросы стали разлагаться, и когда началось контрреволюционное восстание казаков и громадная масса беженцев стала уходить, матросы почували, что их всех до одного перережут кулаки. Часть матросов осталась в Новороссийске, и офицеры их живыми закапывали в землю; другая часть матросов влилась в таманскую колонну и стала разлагать ее, и это разложение, как смерть, все время ослабляло таманцев.

Эти матросы не были злонамеренными контрреволюционерами, но не было у них достаточного сознания, что Кожух поступает правильно, устанавливая железную дисциплину. Матросы стали бузить, разводить демагогию: Кожух, дескать, был офицером и пр. И матросы даже хотели убить Кожуха. И только под конец, когда они увидели, что были неправы, они всенародно покаялись.

Всегда надо иметь в виду, так сказать, «издержки революции». Ведь, бывало, и старые партийцы разлагались. И тут тоже целая прослойка действительно революционных мат-

росов разложилась. У меня ведь дается обоснование: у них была масса денег, а главное, их портила бездеятельность. Не было у них приложения сил, по крайней мере в таком деле, в котором они оказались бы на месте. Вот когда раньше раздавался клич: «Дави, руби!», «На митинг!» – это их заполняло. Потом все схлынуло. Некуда было энергию девать.

Конечно, этого никак не скажешь про матросов Кронштадта: среди них выступали настоящие старые большевики. Мне, впрочем, рассказывали, что часть матросов стала потом в таманской колонне в строй. Вот эту здоровую часть действительно надо было отметить, выделить. Я этого в «Железном потоке» не сделал, и в этом моя ошибка...

Главным образом от представителей малых народностей Кавказа, а также из других мест Советского Союза я получил умного писем, в которых читатели высказывают резкое недовольство моей обрисовкой роли грузин: я будто бы нарисовал их «трусами», «плохими вояками». Это, конечно, в корне неверно. Какие бы то ни были оттенки «шовинизма» и «великорусского зазнайства» мне всегда были

чужды. Я в данном случае отобразил то, что происходило в действительности, без злого умысла.

Участники похода единодушно свидетельствуют, что казаки дрались упорнее, чем грузины. Грузины, действительно, сравнительно слабо сопротивлялись, но, конечно, не потому, что они «плохие вояки», а главным образом потному, что не знали, за что, собственно, дерутся. Кроме того, они, хоть и глухо, все же слышали, что в Советской стране крестьяне получили землю. Это до Грузии смутно доходило, и поэтому у грузинских солдат в глубине сознания копошились сомнения: нужно ли воевать, против Советов. Они еще были к тому же страшно голодны, подвоза не было. Черноморское побережье всегда питалось подвозом, а море было отрезано. И в то время как грузинские солдаты страшно голодали, хотя и были великолепно экипированы союзниками, офицеры грузинские хорошо ели. Конечно, на боеспособность грузинской армии это оказывало влияние. Вот в чем кроется главная причина того, что они слабо дрались.

А что грузинский офицер улепетывал, то



в его положении всякий бы улепетывал. Ведь и генерал Покровский в одной рубашке выскочил, высадив раму. У них положение такое создалось: или беги, или ложись сейчас под штыки.

Я не в том смысле хотел дать эту сцену, как она была истолкована некоторыми критиками и читателями. Я стремился показать, что грузины были ошеломлены неожиданностью нападения. Их загипнотизировало зрелище свалившихся на голову таманцев. Они считали свою позицию неприступной. В сущности говоря, шаг Кожуха был в известной мере авантюристичен. На него можно было решиться только с отчаяния. Не полезь таманцы, их бы всех перебили. Им некуда было деваться. А был ничтожный шанс ночью одним ударом сшибить врага, – и таманцы этого достигли.

Но я, видимо, недостаточно развил темпы движения и недостаточно нарисовал обстановку. Так ясно представлялось в голове, а до некоторых читателей не доходит или доходит не в том разрезе и не в том строе. У меня ведь указано, что, когда грузины стали отступать,

около собора осталась их рота, которая героически умирала. Но тут получилась какая-то несоразмеренность, и потому некоторым читателям кажется, что грузины плохо сражались.

Мне еще много говорили насчет «крепких слов». Каюсь, я грешен. Помню, как в дореволюционное время в журнале «Русское богатство» один талантливый писатель дал рассказ из казачьей жизни на Дону: казак ушел на службу, казачка, его жена, молодая, красивая, полюбила другого. Известно, чем это кончается? Она забеременела и сделала аборт самыми ужасными средствами. Для того времени это было очень характерно. Однако «благородные» читатели и особенно читательницы «Русского богатства» возмутились. В редакцию посыпалась масса протестующих писем и даже отказов от подписки. Письма были примерно в таком роде: «У меня дочь восемнадцати лет, из журнала она может узнать, что на свете существует аборт и т. п.».

Ну, как вы думаете, эти читатели были правы? По-моему, они были не правы. Конечно, только восемнадцатилетние институтки

не знали ничего об аборте, казачки же росли в других условиях. Что же, прикажете «по-благородному» жизнь давать, или так, как она есть?

Нет! Жизни бояться нечего, и нечего бояться самых мерзких ее сторон. Надо поставить только одно условие: если писатель пускает «крепкое слово» или описывает какую-нибудь фривольную сцену только для того, чтобы нервы читательские пощекотать, то на это он не имеет никакого права. В этом случае читатель вправе бросить писателю самый горький упрек... Но если то или иное крепкое слово неразрывно связано со всей тканью художественного произведения, если оно подчеркивает ту или иную черту в изображаемых людях, тогда прав писатель.

От писателя надо требовать, чтобы он прежде всего был правдив, чтобы он не боялся жизни, а брал все, что в ней есть, но брал это не для того, чтобы пощекотать нервы или доставить нам минутное удовольствие, а для того, чтобы читатель самую жизнь прощупал, все ее язвы и гнойники.

Спрашивали меня во многих письмах и во

время моих выступлений в разных городах, почему я ввел украинский язык? Некоторые говорят, что это делает «Железный поток» непонятным, неудобочитаемым.

Не так уж, по-моему, это непонятно. Я не ввожу чистого украинского языка, я даю тот говор, который держится в Донской области и на Кубани. Это очень своеобразный украинский язык, и я думаю, что он передает характер местности и, в общем, усиливает правдивость изображенной картины.

Скажешь по-украински, и как-то сразу чувствуется образ, который хотел показать. Однако, мне кажется, что, несмотря на это, картина, показанная в «Железном потоке», является типичной для всего нашего крестьянства в начале Октября. Конечно, Союз наш так велик, что крестьянин Северного Кавказа, Кубани отличается, разумеется, от сибиряка или от крестьянина северо-двинского или центральных губерний по говору, по обычаям и т. д., но внутренне – это один и тот же социальный тип.

Невзирая на то, что в «Железном потоке» диалог дается большей частью на украин-

ском жаргоне, очень мало рабочих жаловались, что им непонятно. «Чего и не знаешь, – говорили они, – так догадаешься». Зато квалифицированные читатели из кругов советской интеллигенции говорили, что украинская речь придает роману большую колоритность. Из этих соображений я ее и оставил.

Самым трудным местом в построении «Железного потока» и вообще в моей литературной работе была недостаточная теоретическая подготовка. Я, пожалуй, больше других писателей, вышедших из рабочей и крестьянской среды, был подготовлен к литературной работе: и школа меня больше подготовила, и в окружении я был более культурным. Но организованно учиться, как строить литературное произведение, я научился очень поздно. Я ощущу к этому подходил. Я читал, скажем, классиков, как большинство читает. Читаешь и думаешь: «Как хорошо». С захватывающим интересом следишь, как развивается повествование, а как построено произведение, как подобраны, как обрисованы типы, как даются события, это все упускаешь.

Не было у меня систематической литературной учебы. А если и была, то случайная, неорганизованная, стихийная – это мало приносит пользы. Надо учиться, так сказать, «технологии» литературного процесса, надо подходить к произведению, на котором хочешь учиться, так, чтобы видеть, как оно построено, чтобы его блеск не затемнял процесс построения.

Бывает, подходишь к великолепному художественно оформленному зданию, и из-за лепки, из-за скульптуры, из-за внешнего оформления не видишь, как оно построено, как расположены части, как они связаны, какой взят материал. Вот такая точно история вышла у меня с классиками. Я не умел рассматривать и распознавать их построения. Читал, например, Толстого, и у меня ускользала из внимания книга как творческий процесс: я воспринимал у него только события. Скажем, в «Войне и мире» я слышу, как ходит Наташа, как вошла в комнату, как села за инструмент играть. Толстой с такой изумительной яркостью воспроизводит события, что творческий процесс создания его произведе-

дений пропадает. Наташа – живая, но как ее вылепил Толстой, этого не умеешь, это трудно открыть.

От такого восприятия литературных произведений надо отделаться, если хочешь учиться построению образа. Надо уметь, особенно писателям, за жизнью произведения видеть его структуру. Я постепенно этого, наконец, отчасти добился, но добился очень поздно. Я учился этой технологии всю жизнь, и, надо сказать, беспорядочно, потому что некому было мне рассказать, растолковать неясное.

Во время работы над «Железным потоком» я теоретически был все-таки уж лучше подготовлен, однако недостаточность литературной учебы я ощущал весьма осязательно и в этот период (и ощущаю и теперь). У меня всегда была груда материала, который я тщательно собирал. Но я не умел использовать весь этот материал, тонул в нем. Произведение получалось не плохое, но лепилось оно очень хаотическими приемами, материал использовался непропорционально. В данном случае в «Железном потоке» мне было страш-

но трудно совладать с пейзажем, чтобы выходило в меру, чтоб не переступить за грань строгой необходимости. Я боялся завалить пейзажем все повествование. Плацдарм «Железного потока» я изучил превосходно, – и я мог бы написать много страниц с описанием природы в горах. Я и написал немало, но потом безжалостно вычеркивал, чтобы ради «красивости» красок не загромождать. Брал из пейзажа только безусловно необходимое для хода событий, для пояснения и оправдания поведения людей.

Я строго выбирал материал соответственно задуманной вещи. И могу сказать – в «Железном потоке» соблюдены надлежащие пропорции. Пейзаж взят лишь постольку, поскольку он органически входит в ткань произведения. В рассказах же, например, «На льдине» и в «Снежной пустыне» этого нет. Там навален пейзаж, и он самодовлеет, существует для какой-то собственной цели. Это свидетельствует о неумении использовать нужное, а остальное отставить.

Я, строго говоря, писатель-бытовик. Всегда во главу ставил быт. Проблемы мои возника-



ют и разрешаются через быт. Но в «Железном потоке» я – впервые, может быть, за свою долголетнюю литературную деятельность – сознательно, намеренно игнорировал быт. Здесь я не считал обязательным для себя выявлять бытовые черты героев. Жизнь коллектива требовала других методов обрисовки, не укладывающихся в бытовые рамки.

В «Железном потоке» я рисую коллективный процесс борьбы, который стремился выявить возможно более сильно и экономно. Это – не эпизод из жизни отдельного героя или маленькой группы людей, где требуется показать как можно ярче человека, его положение, его жизненную обстановку, его специфическую работу, показать его и на людях и у него дома, его личные отношения.

Жизнь огромного коллектива в «Железном потоке» я считал необходимым рисовать в «крупном плане» и в убыстренном темпе: ведь в революцию месяц – за год. Мелочи быта затормозили бы и обеднили бы героическое движение и героические цели массы, главное, не дали бы убедительных черт ее облика. Ибо масса, хотя и однородна, но разно-

лика. Бытовые черты одного человека не могут совпадать с чертами многих других. Тут нужны другие мерилы, другие критерии – чисто психологического, можно сказать, идеологического порядка.

Я старался поэтому с наибольшей силой выявить в «Железном потоке» основные мысли, основные идеи, основные задачи массы. И соблюдать огромную экономию – ничего лишнего: не только лишнего человека, но даже лишнего куска пейзажа, лишней фразы, даже лишнего слова, запятой, если они непосредственно не служат для продвижения всего повествования вперед. Это очень сложная работа, которая дается не сразу.

До «Железного потока» я писал в значительной степени стихийно. Меня тянул за собой материал, а не я располагал его. Да это было не только со мной. Леонид Андреев мне как-то рассказывал, что иногда он пишет – получается великолепный кусок. Чувствует писатель, что очень хорошо обрисовано, а потом оказывается, надо выбросить, потому что лишнее. Как это постигается? Это дается только опытом и выучкой, что мы называем писа-

тельским «чутьём».

В построении «Железного потока» я действовал не «интуитивно», а более или менее осмысленно анализируя свою работу. Два с лишним года я корпел над произведением в восемь печатных листов, и, сравнивая свои вещи, написанные раньше, и «Железный поток», я много раз убеждался, что в последнем достиг экономии в пользовании материалом и научился строить части целого целесообразно и стройно. Дом как можно построить? По-разному. Можно построить его кособоко или крышу набоку. Так и в художественном произведении: сделаешь здоровую шапку, а остальное скомкаешь, или часть какую выпятишь, удлинишь или сузишь, и в результате части повести и станут несоразмеримы одна с другой. Часто читатель чувствует, что в повести что-то неладно, в чем дело, разобраться не умеет, потому что не умеет анализировать литературный процесс. Говорит: «Да, что-то не то». Непосредственное впечатление – какое-то разбитое, ощущается неудовлетворенность, потому что повесть построена неправильно. В «Жележном потоке» я твердо знал,

чего домогаюсь, что и как строю и что должно получиться. Выношен он был хорошо, зрело: обдуман, взвешен и полновесно отработан, местами, можно сказать, вычеканен.

Тех немногих героев «Железного потока», которых мне пришлось выделить из массы и выдвинуть на авансцену, я старался осветить с разных сторон; я их ставил в разные положения, в разные отношения с другими людьми, показал их в разных событиях, в разной обстановке, в столкновениях с разными людьми. И каждую «перемену декорации» делал необходимой произведению для движения его вперед. При этом я учитывал, что надо располагать весь материал по степени важности, чтобы важнейшей части больше места уделить, менее важной – меньше.

У меня при писании «Железного потока» был обдуманный и разработанный «рабочий план». Конечно, в точности по плану у меня все-таки не вышло. План в процессе работы мне пришлось в деталях несколько изменить, однако общие черты, основы плана остались те же. Некоторые, по-моему, хорошо написанные сцены, которые выпирали, я без колеба-

ний выбрасывал, много переделывал. Я шел в данном случае за Толстым: Толстой всегда так делал. Андреев тоже мне рассказывал. «Иногда жалко выбрасывать, до такой степени сцена хорошо вытанцевалась, и люди яркие, – а в целом она не годится, в архитектонике, в плане построения не годится, и надо выбрасывать».

Этому умению я учился и у Чехова. Мне один из товарищей как-то указал: «Посмотри, как пишет Чехов». Ему нужно было дать жизнь в уездном городе. Мы бы с вами написали, что вот-де уездный город, немощеные, пыльные улицы, свиньи разгуливают и проч. Длинная история... А как Чехов пишет? «Из-за острога всходила луна...» А потом начинается рассказ. И перед вами – уездный город. Острог ведь бывает только в уездном городе. В деревне острога не бывает. В Москве, в этой громаде, его не увидишь, – в уездном же городе он выпирает. Или так: есть у Чехова одно место, где ему надо было дать лунную ночь. Так он написал: «От мельницы тянулась уродливая тень, а в венце плотины блестел осколок бутылки...» А мы бы написали: «...Взошла луна,

она лила голубоватый свет...» и т. д.

Чехов владел изумительной способностью в двух-трех словах дать целую картину. В «Железном потоке» я старался идти по его стопам и быть, как он, возможно более сжатым и точным.

Я, однако, внимательно следил, чтобы в погоне за сжатостью не выкинуть существенное. Тут уж подскажет художественное чутье, которое надо в себе выработать. Я выбирал такие черты, которые дают читателю живое представление, не расплывчаты и в то же время страшно экономны. Описывая, например, в «Железном потоке» море, я давал две-три черточки, но наиболее, на мой взгляд; характерные, чтобы читателю сразу запомнились.

И во все время писания «Железного потока» я непрестанно спрашивал себя, достаточно ли сжато я изобразил. Нет, еще недостаточно, казалось мне, – и я вычеркивал и вычеркивал; жалко было выкидывать то, над чем сидел, думал, что родил в муках. Но ничего не поделаешь. Я был к себе беспощаден.

Я раньше, бывало, частенько заглядывал в

хранилища толстовских рукописей, стараясь у старика учиться. Толстой – гениальный из гениальных. А как он работал? Я брал его корректуры и убеждался, что сколько раз ему ни давай корректуру, он все будет править. Жена его, Софья Андреевна, видя, что от бесчисленных корректур у него глаза лезут на лоб, бывало, возьмет да и отошлет корректурные листы в типографию, так как видела, что если ему двадцать раз принести их, он все будет править.

Так ведь Толстой писал легко, у него мысли и слова лились. Он иногда говорил: «Я сегодня за день написал лист». Но нужно сказать, что этому предшествовала громадная внутренне-невидимая работа. Вот Толстой ходит, разговаривает, прислушивается, а сам думает: «Ах, а вот Наташа, когда встретила с Пьером неудачно, так она закрыла лицо руками». Толстой проснулся ночью, и вдруг ему вспомнилась Наташа, и он опять на разные лады стал перестраивать и ее и окружающих ее людей.

Я лично в корректурах сравнительно мало ломал, уж лишь в случае крайней необходи-

мости – совесть не позволяла бесплодно расточать труд наборщика. Но в своей «лаборатории» я бороздил рукопись неисчислимыми вставками, вписками, вычеркиваниями, заменами, перестановками. Разукрашу так густо, что потом сам не разберу, и переписываю заново, и опять разукрашиваю до отказа.

Л. Андреев, – я видел у него на даче в Финляндии, – ходил по громадной комнате и диктовал машинистке так, что она не успевала за ним писать. Со стороны могло показаться, что легко пишет человек (я, например, сижу с пером и медленно вывожу букву за буквой). Оказывается, Андреев предварительно проделывал громадную работу. Когда? Пойдет, бывало, гулять – думает. Поедет на велосипеде – думает. У разных авторов разные манеры обдумывать. Одни сидят над бумагой, другие думают во время прогулок. Я обдумывал «Железный поток», сидя с пером в руках часами, ночью и днем, над бумагой. Работа над «Железным потоком» протекала трудно. Порой работал до полного изнеможения, падал на диван от усталости и засыпал. Просыпался – и опять начинал грызть ручку, опять встав-



лять, переставлять, вычеркивать. Потому что, даже когда мне казалось, что произведение совсем готово, я вдруг наталкивался на какое-нибудь хорошее емкое словечко, или я решал что-нибудь добавить или выкинуть. Таким образом до появления «Железного потока» в печати текст его сильно видоизменялся, однако не сплошь, а лишь отдельными кусками, которые я переписывал иногда по три, четыре, пять, семь раз.

С течением времени пришлось внести кое-какие поправки в первоначальную редакцию. У меня, например, вначале так и было, как мне рассказали таманцы, что Кожух выдрал партизан, но потом я эту сцену переделал. Дело было так. Пошел я прочитать свою вещь в кружок «Рабочая весна», собрались там рабочие и красноармейцы. Прочитал я им эту главу, вижу – кучка красноармейцев поднимается и уходит. Возмущены: «Как так – драли? Это оскорбительно». Я говорю им: «Милые товарищи, не забывают, что это были партизаны в начале революции; дисциплина тогда только внедрялась, и установить ее было нелегко. Случалось, что прибежали к

строжайшим мерам, но все-таки боролись с грабежами и насилиями...» Однако же в конце концов я согласился с ними. Они были правы: художественно правдивее, вернее, если сцены порки не будет. Ведь что нужно было показать и в чем убедить? Что масса безропотно подчинялась дисциплине. Это – достигнуто. Я был очень благодарен красноармейцам. «Правильно, – говорю, – ребята. Изменить надо».

Чем же разнится последний текст «Железного потока» от первоначального? С тех пор как книга появилась впервые в печати, я ее в общем мало перерабатывал. Переработаны только отдельные места.

Почти четверть века, год за годом, издается и переиздается «Железный поток» в столичных и областных издательствах. За это время я мало работал над текстом этого произведения. Однако каждый раз, при каждом переиздании, не удержусь: кое-что да изменю, внесу поправку. За долгие годы этих поправок накопилось изрядно, и они несколько изменили первоначальный текст альманаха «Недра». Все же и в настоящее издание я, сов-

местно с редактором этого собрания сочинений Г. Нерадовым, внес кой-какие поправки, которые показались нам необходимыми.

И еще – в заключение...

Меня спрашивали много раз, не нахожу ли я сам недостатков в «Железном потоке»? Да, нахожу. Я думаю, что людей, всю массу я изобразил, – поскольку мне судьбой отпущено, – сравнительно неплохо, местами довольно выпукло. Но все же в повести есть крупный недостаток, которого я бы не сделал, если бы мне пришлось писать «Железный поток» теперь. Дело в том, что я в этой вещи не показал прямо, как пролетариат руководит крестьянством. У меня там это руководство, так сказать, молчаливо подразумевается, – ведь Кожух не из пальца же высосал то, что он говорил своим войскам о Советской власти, о революции. Он откуда-то это взял. Откуда же он мог взять? Не от крестьян же, среди которых он находился. Взял он это от революционного пролетариата. В общем, руководство пролетариата чувствуется, но это нужно было бы гораздо ярче подчеркнуть живыми образами партийцев. Нужно было показать рабо-

чих. Я допустил эту ошибку потому, что работки следовал за конкретными событиями, а в них рабочие играли небольшую роль. Мне следовало показать рабочих в руководящей роли. Эта ошибка – крупная.

«Железный поток», по-моему, вообще нуждается в доработке, его бы расширить надо, углубить. Но дело в том, что я от него уже отошел, как-то потускнела для меня тема гражданской войны. Сейчас уж смотришь на другое, занимает другой материал – материал социалистического строительства...

## **[Предисловие к книге В. Шмерлинга «Югосевер»]\***

**Б**ыть может, ни в чем так ярко не сказалась прогнившая бездарность буржуазно-царского строя, как в судьбе Ивана Владимировича Мичурина: за его гениальные работы царское правительство ему назначило орден и пригласило служить в... канцелярии.

Только советская власть предоставила Мичурину все возможности для его изумительных работ.

Еще от старого режима, как отвратитель-

ное наследие, осталось то, что Мичурина не знают, не знают колоссального значения его работ. Только в последние годы сведения о его работах, их значении, о его биографии широко стали разливаться по Союзу. В Козлов потекли потоком экскурсии, посетители. Книга Владимира Шмерлинга сыграет прекрасную роль: Ивана Владимировича Мичурина и его работы должен знать и уметь ценить каждый гражданин великого Союза.

Чем дорог, чем близок Мичурин нашему социалистическому строительству? Тем, что, как правильно указывает Владимир Шмерлинг, он не похож на Бербанка: тот из тысяч, десятков тысяч особей вылавливал нужные ему сорта и виды, не меняя обстановки, среды, климата, в которых они создались, И. В. Мичурин же с изумительным искусством создает новые сорта, новые виды с таким расчетом, чтобы они могли произрастать в суровых условиях нашей страны. Эти новые сорта и виды он несет в самую гущу населения, эти великолепные мичуринские плоды будет выращивать и потреблять крестьянин и пролетарии социалистического Союза, а не достав-

лять за тридевять земель, как это было до сих пор.

Вокруг И. В. Мичурина зреют и наливаются молодые силы. Как это прекрасно: удивительный старик бросает семена не только в почву, но и в умы!

«Югосеверу» Владимира Шмерлинга – самое широкое распространение!

## **Живой завод\***

### **(Впечатления)**

**Н**ет, этого мало – дать, что он дымит, завод-то.

Что стоит грохот, и содрогается земля, и ухаает паровой молот. Это – завод – декорация, который стоит в стороне и на фоне которого обычно разыгрывается повествование.

Именно такой завод чаще всего встречается в нашей пролетарской литературе до сих пор.

Не странно ли? Нет. Это – одна из форм отставания художественной литературы.

Оглядываешься – одни пролетарские писатели совсем не касаются завода. У других он только упоминается, где-то стоит за кулиса-

ми. У третьих он – только фон.

Исключение – лишь немногие.

Среди пролетарских писателей вырос один. Он дал живой, настоящий дымно-дышащий завод.

Живая ткань производства пронизывает ткань повествования. Рабочие дышат трудом, как дышат воздухом. Производство проникает быт, мысли, чувства.

Автор и техническую сторону изучил вдумчиво, подробно, и это необходимо.

Производство – это несказанного роста, неохватимой силы действующее лицо романа. Оно сурово и повелительно живет тяжелой громадой своей собственной жизни, в тончайших извивах свиваясь со всеми сторонами жизни людей, органически, неотделимо.

Любят, целуются, пьют, вредят, приходят смена на смену, работают, изобретают, отдыхают, борются, внутренне растут, невиданно расширяют свои знания о мире, – словом, жизнь. И все это громадно отформовывается производством, тем особенным, что дает заводской труд.

Но это отформовывание чувств, мыслей,

познания, быта, тысячи мельчайших извивов жизни вырвано из слепого потока стихийности. Партия организованно и планомерно перевоспитывает, переделывает людей. И эта партийная работа правдиво, органически вплетена в ткань романа.

Два враждебных класса смертельно схватились в заводской производственной работе. Погибнут ли сыны мировой буржуазии, кроваво отстаивающие свою плотоядную жизнь (у них – могучее оружие производственного знания и опыта, без которых завод мертв), или армия рабочих, с напряжением строящая социализм, надломится, – вот вопрос. Этот вопрос в романе решается так, как он решен в жизни: сыны буржуазии гибнут, пролетариат победоносно строит социализм.

Все это пролетарский писатель, товарищ Ильенков рисует, пишет красками в своем романе «Ведущая ось» (журнал «Октябрь» – октябрь, ноябрь, декабрь 1931 г.).

Ведущая ось – это основная, ответственная ось в паровозе, на которую насажены работающие колеса. Паровозостроительный завод, – по-видимому, брянский, но местное, индиви-



дуальное пронизано широким художественным обобщением. Масса лиц, и почти у каждого – свои черты, свое нутро, свои оттенки.

Ходит по заводу, ходит по цехам «хозяин». В грохоте, в отсветах кроваво-просвечивающего металла черные задымленные фигуры рабочих режут, вздымают молоты, потрясающе ахают, скрежещуще прокатывают. И ходит, ходит, постукивает палочкой «хозяин». Потускнел глаз, но пытливы, видит, все видит. «А как же это, ребятки?» Видит все неполадки, видит, постукивает палочкой.

Рабочий, трудовой заводской «отец». Рабочие его так и зовут. Скидают ему шапки, смотрят, ласково посмеиваясь, – любят его. Нет, никакой официальной должности он не снимает, никакой работы на нем не лежит, он только ходит, постукивает палочкой и замечает, все замечает, что незаметно проскочит для другого глаза.

Чудесно задумана фигура.

Нет, не задуман. Это – живой. Вырван из жизни, из заводской жизни, из заводского быта и чудесно озарен отсветом творчества.

Рабочий десятки лет дышал копотью и га-

рью завода – до революции. Потом после революции. Тут его дом, семья, любовь, заботы и труд, труд, труд. Труд раба до революции, труд хозяина после революции. Тут был молодым, тут состарился, тут и умереть. Опустелись слабеющие руки, потускнел глаз.

Он – уже советский пенсионер. Но не только молодость, силу, труд, но и старость – заводу, но и накопленный долгий опыт – заводу. Ходит по цехам, когда они и молчаливые, постукивает палочкой, подслеповато всматривается. «Ага-га. вот оно...» – постучит палочкой.

Пронюхал, выследил старый вредителя. Вредители его убивают: тут родился, тут и умер.

Красный директор фабрики. Честный старый партиец, бывший прежде каторжанин, преданный пролетариату, сам пролетарий, преданный делу социалистической стройки.

И как трудно, как трудно руководить этой громадиной, направлять эту заводскую машину. Чуть свернул с настоящей тропки, – глядь, а ты головотяп: разогнал всех спецов, и честных и нечестных; производство, искри-

вившись, рушится, как гнилой дом

Чуть неверно подался в другую сторону, и уже в лапах вредителей, и производство рушится. Вот это последнее и случилось с красным директором товарищем Корченко.

И какая тут страшная логика: оторвался от рабочей массы, попал в лапы спецов. А попал в лапы спецов, все больше стал отрываться от рабочих. И уже стал подтасовывать цифры, стал врать в лицо товарищам партийцам, конференции, – нет, не из шкурных побуждений, а для «пользы» завода, для пользы рабочих. И это уже торная дорожка к краху. Классовая борьба имеет свою железную логику: кончик пальца закусил, всего втянут.

Но какая же неодолимая сила в рабочем классе, в пролетариате, в рабочем коллективе! Тонущему протягивается заскорузлая с почернелыми от металла мозолями рука, он хватается, признает ошибки и опять дышит жизнью, интересами, великими задачами великого творящего на земле новую жизнь класса.

Так и с Корченко. Когда оглянулся: кругом дымятся развалины его руководства да ис-

ступленно оскаленные морды вредителей, схваченных непрощающей рукой, – когда оглянулся, честно пошел в цех и стал опять частицей своего великого класса, частицей, выправляемой его великой силой, его великой работой, его неохватимым творчеством.

Эта замкнутая кривая развития характерна для многих действующих лиц романа. Роман пронизан диалектикой развертывающихся событий, развертывающихся, характеров.

Рабочие в начале и рабочие в конце романа – это одни и те же, даже персонально одни и те же люди завода.

Рабочие в начале, рабочие в конце романа – это же совершенно разные, непохожие люди.

Вот рабочий Мохов. Он крепко прирос к старым формам семьи, быта. Он отодрал сына. А сын-то пионер. А пионеры постановили привлечь отца за битье сына к суду. И привлекли.

Мохов возмущен, взорван, а в глубине души горд и ухмыляется на сына: «А? видал времена!..»

Прошло время. Да разве это тот Мохов?! Мохов же, да не тот.

И рассказано это ласково и тепло.

Тем хорош роман: в нем не выдуманно. В нем взяты Люди живые, настоящие и обобщены в своих сплетениях, в своих сложных, часто противоречивых, отношениях, и большинству этих людей он сумел приобщить индивидуальные, им только присущие внутренние черты.

И еще чем силен тов. Ильенков, автор романа «Ведущая ось»: у него партийная организация живет не своей особой отдельной самодовлеющей жизнью, как в большинстве произведений до сих пор, а живет, дышит, работает вместе с жизнью, дыханием, работой завода, всей массы рабочих.

Только недостаточно полно развернута партийная работа. Ведь работают цехячейки, проводят кампании. И не два же человека в ячейке действенны. Надо было дать ячейку, бюро полностью.

Оговариваюсь: это ведь только первая книга. Быть может, автор широко развернет партийную работу. Все равно вначале надо было

наметить.

Есть в романе и другие большие или меньшие недостатки; на них укажет критика, которая развернется вокруг этого романа. Одно несомненно: из небольших рассказов автор вырос и построил широкое полотно. И молодые пролетарские писатели будут учиться по нем, как строить большие полотна.

## **Записки писателя\***

### **О партии и литературе**

**Т**оварищи, прежде всего я должен принести глубочайшую, искреннейшую благодарность нашей партии и советскому правительству.

С двадцать четвертого года я ничего не дал, не дал более или менее широкого полотна. Не то что не хотел или не было материала, — как раз колоссальное обилие материала меня подавляло. Но он до того сложен, до того текуч и часто внутренне противоречив, что в нем тонешь. Ведь мало дать картину, — на этом я уже руку-то набил, — но из всей этой живой, волнующейся груды надо дать линию, в которой стираются, взаимно друг друга уни-

чтожая, все противоречия. И вот протягивается главная линия, та линия, которая принадлежит нашей партии. Вот это в широком полотно было страшно трудно дать, и вот отчего прошло так много времени, и я внешне как будто бы ничего не делал. Последовала оценка моей работы партией и правительством. Это прозвучало как призыв: «Нельзя упускать времени, надо отдать все силы, какие есть, нужно их бросить в борьбу...» Это для меня прозвучало могучим призывом. Буду работать, как смогу.

Позвольте поблагодарить все организации, которые так или иначе откликнулись на сегодняшний день, а затем еще: ведь вы понимаете, что это очень редко бывает, чтобы из книги, из страницы вылез живой человек, вылез, пришел сюда и разговаривал, как это сделал сейчас товарищ Ковтюх, герой «Железного потока». Это меня порадовало, это кусочек живой, настоящей жизни.

Ну, так... Социализм – это план. Только вы напрасно думаете, что этот план касается только государственного бюджета или перестройки фабрик, заводов, зданий, – нет, он

пронизывает, должен по крайней мере пронизать, всю нашу жизнь, быт и, между прочим, и сегодняшний вечер.

Давайте поговорим о юбилее. Давайте поговорим о советской литературе и о том месте, которое я в ней занимаю. Но, товарищи, ведь мы же живем не только настоящим и прошлым, давайте поговорим о будущем советской литературы.

Ну вот насчет юбилея. Этот институт, как, в сущности, всю культуру, мы взяли из прошлого. Явления прошлого имеют разную судьбу. Пролетариат или разбивает их и выбрасывает за ненадобностью, или ломает и сразу же строит новое, или медленно и эволюционно переводит в новое. Юбилей как раз к последнему относится. Юбилей медленно, под давлением нашей теперешней жизни, под давлением интересов пролетариата, постепенно приобретает новую форму. Но что такое юбилей? Это, стало быть, человек выходит, и его спрашивают: «Ну, что и как ты сделал?» В прошлом – один человек выходил и говорил о себе. А ведь теперь у нас иное. Теперь у нас работа строится коллективно, это



чрезвычайно отличает от прежнего. Сейчас у нас юбилей приобретает коллективный характер. Посмотрите, печатается портрет рабочего, дается маленькая биография. Что это такое? Это – юбилей. Но дальше эволюция идет. Печатаются портреты не отдельных рабочих, а бригады, рассказывается, как она производство подымала. Что это такое? Это – юбилей. Отчетность перед классом: как работники ведут производство. И в будущем, несомненно, момент коллективности и момент производственный пронижут юбилеи.

То, что у нас сейчас есть, часто в зародыше было и в буржуазное время. Разве тогдашние писатели не сходились? Например, литературный кружок «Среда» был. На «Среде» обсуждались произведения товарищей, – это уж кусочек коллективной работы. Лучшие писатели сходились. Но тогдашний строй, разумеется, накладывал свою тяжелую руку на все, и на это стремление взаимно работать, взаимно друг друга поддерживать, – все-таки каждый тянулся к себе. Приходили читать друг другу – это коллективная работа, а потом уходил каждый в себя. А потом – грызня. Ну, на-

счет грызни, – она и у нас есть. Но, товарищи, нас ведь не аист из-под куста принес, а мы родились и взяли наследство из прошлого общества и тяжело волочим его за собой. От него нужно отделяться.

Какое я место в литературе занимаю? Советская литература – это ж теперь самая колоссальная литература во всем мире. По сравнению с буржуазной литературой она стоит на недостижимой высоте по своей жизненности, по своему соответствию интересам борющегося класса. Признание этого есть и на Западе, за границей. У них – разложение, и они с завистью смотрят, как встает эта громадина советской литературы.

Мы идем ровными рядами, мы – красноармейцы. Но, товарищи, да разве это плохо, если эти красноармейцы берут громадные препятствия, если они ломают перед собой все впереди, если они создают литературу, единственную в мире? Вовсе не плохо. Так вот я – красноармеец, и я горжусь этим. Я не хочу лицемерить, – я иду в шеренге передних, но все-таки я – красноармеец, и мне доставляет большое удовлетворение, что я всегда чув-

ствую справа, слева таких же товарищей, как я. Разумеется, у нас один сильнее, другой слабее, но в общем мы – огромная сила, огромная колонна красноармейцев.

Ну, хорошо, а куда все-таки идет советская литература? Каково ее будущее? Так как она кусок наполненного могучей жизнью класса, который будет расти и колоссально разворачиваться, то и литературные судьбы будущего – такие же, как у этого класса: по мере того как будет идти время, пролетарская литература будет все более крепнуть. Это будет литература, невиданная по своей силе и ярости.

Товарищи, ведь вот же судьба! Я помню, как в первые очень трудные и мучительные годы революции несколько лет подряд были урожаи, без которых революции чрезвычайно тяжело было бы. Так враги говорили: «Посмотрите на большевиков, бог им не может помогать, черт, что ли, – в самый трудный момент у них урожай!..»

И вот, действительно, урожай не только хлеба, но и замечательных технических изобретений, которые идут на службу революции, удесятерая, в сто раз увеличивая ее силу: ра-

дио, звучащее кино. Эти средства воспроизведения, схватывания, запечатления мыслей, идей, красок окажут могучее влияние на развертывание творчества.

Нужно всегда смотреть вперед, чтобы нас не застигла врасплох непрерывно меняющаяся жизнь. Не умеющие пойти в ногу с новыми формами творчества и его восприятия будут выброшены в историческую корзину. Это – закон жизни.

Еще в начале революции Анатолий Васильевич Луначарский указал, что литература чрезвычайно много занималась выявлением остатков буржуазного разложения. Это нужно, конечно, но ведь, кроме разложения, есть жизнь, строительство.

Раньше о заводах почти совсем не писали. Не писали и о том, как перестраивается деревня. Наконец этот период отошел. Теперь у нас есть полотно жизни и работы завода, жизни и строительства деревни. Эти темы все более и более углубляются и усложняются. Но вот чего у нас нет или почти нет. Пролетариат ведет грандиозное строительство, но ведь под чьим-то руководством, кто-то его органи-

зует. Кто? *Партия*. А вот о партии у нас не пишут, а если пишут – так мимоходом, урывками, разрозненно. Есть партийцы в литературе, но они берутся как-то вскользь, часто оторванно от всей громадины строительства. Теперь начинается поворот к теме партийного руководства, – и я уверен, что это дело разовьется в очень могучий поток. Я хочу участвовать в этом потоке. Пытаюсь дать партийную работу в деревне. Пишу «Колхозные поля».

Надо сказать, товарищи, что это очень тяжелая работа, чрезвычайно напряженная, выматывающая человека. И там, конечно, есть падения, есть разложение, и там есть ошибки – не злостные, но порой очень глубокие, мешающие делу. И среди партийцев есть такие, которые должны быть отмечены. А в целом вся масса партийцев – это *вдохновенная, самоотверженная красноармейская колонна*, это – авангард, *который берет изумительные препятствия*. О них, о партийцах – об их работе, об их жизни – надо рассказывать. Жизнь уходит. Когда деревня совершенно реорганизуется – момент будет упущен. Так вот я и пробую лепить партийцев...

– Здесь было требование от войсковых частей, чтоб я еще семьдесят лет прожил. Ну, товарищи, уступите: ну, лет тридцать пять!..

## **Радиоперекличка писателей\***

### **Единственная в мире социалистическая литература**

**К**огда загремел мировой взрыв Октябрьской революции, не только социально-экономические твердыни закачались и рухнули, но и в области искусства глубочайшая трещина отделила старое от нового. Старая классическая литература, созданная лучшими представителями дворянства и разночинцами, с момента взрыва вдруг оказалась в прошлом. У совершившего единственную в истории мира революцию пролетариата и трудового крестьянства не было своей массовой литературы. Конечно, мы знаем двух крупнейших пролетарских писателей – М. Горького и Демьяна Бедного, которые принесли свое революционное творчество пролетариату и трудовому крестьянству задолго до Октября. Но массовой пролетарской литерату-

ры не было. Встала во весь рост громадная задача: помочь проявить и вызвать к жизни художественное творчество, таившееся в победившем классе. Началась борьба за пролетарскую литературу. Началась упорнейшая борьба за новое художественное освещение жизни людей, событий, за новые темы, за новое построение художественных произведений, за новую конструкцию их.

Прекрасна классическая художественная литература; она сыграла огромную роль в общем культурном подъеме масс и в общественном движении интеллигенции. Этим классическая литература, несомненно, помогала грядущей революции. Но как она ни прекрасна, она почти вся в прошлом.

Разгромленное буржуазное общество оставило революции наследство – материальное и культурное. Пролетариат стал разбираться в этом наследстве – нужное оставлял для своей стройки, ненужное выбрасывал в хлам.

Нигде эта разборка не была так сложна, нигде она не встречала столько противоречивых трудностей, как в художественной литературе. Сумейте-ка подойти к гениальной про-

маде художественного творчества Льва Толстого. «Какая глыба, а?» – говорил товарищ Ленин про Толстого.

Вокруг разборки классического литературного наследства завязалась борьба. Одни хотели целиком перетащить в художественную литературу пролетариата не только приемы художественного творчества классиков, их язык, образы, конструкцию, но и темы, но и освещение новых событий. Другие ставили под одну мерку всех писателей минувшей эпохи и выбрасывали даже гениев, полагая, что при всей силе художественного творчества они вредны для пролетариата своей чуждой идеологией.

Это была жестокая борьба двух течений.

Как же разрешилась эта борьба? Разрешила эту борьбу партия. Партия осторожно, не ломая, а направляя, вела к формированию и проявлению пролетарских писателей. Партия учила умело брать у классиков все, что повышает творческие силы, и отбрасывать все, что искривляет идеологически пролетарское творчество.

Партия учила пролетарских писателей



спокойно, терпеливо, настойчиво втягивать в совместную работу беспартийных писателей, учась у них мастерству, уча их верному восприятию революционных событий, революционной борьбы, революционного строительства.

Каковы же результаты этого руководства? Колоссальные! В неуловимо короткое историческое время гигантски поднялась, по признанию даже врагов, единственная по своему значению в мире литература. Гигантски поднялась единая внутренне советская литература, ибо уже нет деления на партийных писателей и на «попутчиков», – все писатели громадным фронтом несут свое творчество на великое социалистическое строительство. Задача создания писательских кадров решена.

Но как она решалась? Какую еще основную задачу надо было решить, чтобы решить первую задачу? Надо было создать питательную среду для писателей, ибо писатели не растут в безвоздушном пространстве. Они питаются мыслями, чувствами, критикой, идеями своего класса, его волей к социалистическому строительству, его революционной

борьбой, его бытом, его жизнью.

Но чтобы писатели впитывали в себя все, что создает *классовое* творчество, чтобы несли на себе влияние своего класса, его контроль, его социальные требования к литературе, нужна известная высота культуры класса; нужно, чтобы пролетариат освоил литературу, умел в ней разбираться, испытывал бы эстетическое наслаждение при чтении художественных произведений; нужно, чтобы художественная литература сделалась неотъемлемой частью его жизни, его умственной деятельности, неотъемлемой частью его чувств, его мысли. А ведь из проклятого прошлого пролетариат вынес низкую культуру, часто безграмотность, очень часто слабую потребность в чтении художественной литературы, отсутствие навыка в ней разбираться, неумение формулировать свои требования.

И вот встала вторая гигантская задача: создать высокую социалистическую культуру. И партия эту задачу вырешила в изумительно короткий срок. Она вырешила ее, решая общие задачи социалистического строительства – индустриализируя страну, меняя эконо-

мику, быт, коллективизируя деревню, уничтожая безграмотность, создавая и удовлетворяя новые потребности в пролетариате, в колхозном и трудовом крестьянстве. С другой стороны, партия совершила огромную работу, непосредственно внедряя художественную литературу в массы.

Результаты колоссальные: громадное влияние пролетариата, колхозной массы на художественную литературу неоспоримо. Появилась массовая потребность в художественной литературе.

В результате советская литература стала мировой литературой, особенной, со своим резко очерченным лицом. Какие же особые черты носит советская литература? Она резко отличается своим социалистическим содержанием. Она действенная. Партия учила писателей идти на фабрики, на заводы, на стройку, в коллективизированную деревню; идти не в качестве гастролеров, а в качестве работников в той или иной форме. Писатели работают в стенных газетах, писатели участвуют в производстве, выправляя в печати производственные ошибки, неполадки. Писа-

тели делают на заводах доклады и чисто литературные и политические. Писатели живут единой жизнью пролетарской и колхозной массы.

Конечно, не все писатели одинаково выполняют этот наказ, но это общая линия, к которой в разной мере приближаются все писатели.

Ни одна страна не отдает столько внимания, ласковости, любви своей литературе, как Страна Советов. Это потому, что в условиях пролетарской диктатуры советская литература – органическая часть общепролетарского дела, строительства, борьбы. Советская литература для пролетариата, для колхозной массы – свое, родное, кровное.

С необыкновенной яркостью эта любовь, эта неразрывность сказалась на Всесоюзном съезде писателей. Съезд шли приветствовать и несли наказы Красная Армия, красные моряки, рабочие, ученые, пионеры, колхозники, женщины, старики, читатели всех профессий. А кто не мог прийти на съезд, жадно следили за его работой в печати.

Этот съезд отразил в себе результаты гени-

альной политики партии: пятьдесят два братских народа – бывшие рабы царско-буржуазного строя, замученные, темные, беспощадно задавленные эксплуататорами, теперь свободные, развернувшие свою творческую силу, прислали на съезд своих писателей. Они создали и создают свою национальную по форме, социалистическую по содержанию литературу. Они пришли на съезд обменяться творческим опытом. Они пришли еще раз подтвердить единый громадный фронт всех национальностей Союза в борьбе за социалистическое строительство.

Но съезд был интернационален и вовне: представители революционной литературы Германии, Франции, Англии, Италии, Америки, Китая, Японии и многих других стран выступали на съезде плечо в плечо с советскими писателями. Благодаря такому единству советских писателей внутри своей страны и вовне съезд имел огромное революционно-организующее в мировом масштабе значение.

Но как и отчего так выросла советская литература? Как и отчего съезд советских писа-

телей приобрел такое значение? Единственно оттого, что партия отдавала громадное внимание вопросам художественной литературы, вопросам организации писателей. В рабочей массе, в трудовом крестьянстве неисчерпаемо дремали литературно-художественные дарования. Партия призвала их к грандиозной работе, и создавалась единственная в мире социалистическая литература.

## **Написано так, что запоминается\***

**Я** начал читать «Рожденные бурей» Н. Островского с холодком и сначала не отдавал себе отчета почему. Потому ли, что плохо написано, или почему-то другому. Но когда стал читать дальше и дальше, я понял, почему был такой холодок. Я сразу попал в чуждую, враждебную, подлую среду. И это отразилось на восприятии этой среды. Когда я попал к рабочим, в их жестокую борьбу, я увидел, что сопоставление рабочей среды и аристократии – не механическое, что это сопоставление органически связано, и холодок у меня растаял.

Написано так, что запоминается. Я запоми-

наю обстановку, запоминаю то, что стоит за словами, за действиями у этих людей. Стало быть, дано умело.

Мне хочется в порядке тех вопросов, которые у меня возникали при чтении, поговорить с вами.

*Эдди* – он дан полностью; больше ничего не нужно. Пожалуй, надо бы еще как-то больше углубить, но если спросите как – я не знаю. Может быть, если бы я сел и работал, продумал бы, возможно, что и нашел бы методы, как его можно углубить.

*Людвига* – сначала она мне показалась милой барынькой, которая любит свою красотой, когда ею кругом восхищаются, но оказывается – нет. Слова: «Вы – негодяй», которые она бросает Зарембе, сразу отделяют ее от своих резкой чертой. Но Людвигу тоже нужно углубить и обосновать психологически.

Как? Мы знаем, что из аристократической среды выходили даже революционеры. Возьмите Перовскую – дочку губернатора. Но ведь какие-то предпосылки должны же быть. Вот их нужно дать. Это очень трудно и очень скользко, но сделать это нужно. Тогда это бу-

дет действительно живой человек. Я не знаю, как она дальше развернется...

*Островский.* – Она в революцию не войдет.

– Это ничего не значит. Пусть не будет революционеркой, но это – человек, отклонившийся в известной линии от своего класса, от тех вещей, среди которых она живет, чем дышит, и с этой точки зрения это интересная фигура, если ее доработать.

*Владислав* – он, конечно, только намечен, но не разработан. Его нужно непременно внутренне расширить. Но, может быть, это только эпизодическое лицо, которое помогает общему разворачиванию движения? Это нужно продумать, но он дан поверхностно, неглубоко.

*Архиепископ* отлично дан. Чувствуешь за этим попом всех попов, которые вас давят.

Хорош слуга *Адам*. Это – раб до мозга костей, который даже не чувствует тяжести своего рабства. Такие есть, и их много.

Около них *Францеска*. – Не знаю, как она дальше развернется, но она производит впечатление эпизодическое.

*Заремба* – молодец, правилен внутренне



во всех смыслах. И когда он говорит Людвиге нагло, что есть только победители и побежденные, – это очень хорошо его характеризует. Но я бы сделал не так. Эти слова «победители и побежденные» даны несколько отвлеченно, философски. Это мне показалось немножко искусственным и наклепленным, как ярлык. А он – великолепная фигура.

*Стефания* – просто индюшка, хорошо откормленная, она здесь на месте.

Когда я дошел до рабочих, я сразу себя почувствовал как дома. Андрий великолепен, Васька великолепен, Олеся – милая девушка. Вероятно, она вырастет дальше. Перед ней – будущность человека, полезного революций. Вот с Раймондом дело труднее, а между прочим – фигура прекрасная. Как-то его надо дать на событиях, на столкновениях с людьми, с врагами, с друзьями, чтобы повернуть его несколько раз, чтобы он осветился со всех сторон.

Знаю, Николай Алексеевич, очень легко сказать: «Поверни несколько раз, освети со всех сторон», но трудно сделать. Если бы меня заставили поворачиваться несколько раз, я

бы или долго поворачивался, или совсем бы не повернулся. Но это фигура, над которой стоит поработать.

Взрослый революционер – отец Раймонда – очень хорошо чувствуетея. Я даже не знаю, почему это так, почему ребята так ярко вылезают из полотна. Их принимаешь, понимаешь.

Во всей прекрасной ткани произведения есть особенно хорошие места. Вот в сторожке, когда собрались мужички после похищения аристократок, – это же для них изумительно характерно: в опаснейший момент зарылись в сено и храпят там, а другие в дом попали, в тепло, и тоже захрапели. Это захватывает, волнует, и я сам, не замечая того, при чтении бормотал, не справляясь с волнением: «Вот дубье, ведь влезли же, идола!»

Хорошо показаны взаимоотношения павшихся. Плясали потому, что тут Андрий: не будь Андрия, не плясали бы. И то, что баре не ели, это тоже хорошо, это единственное у них оружие. А потом накушались – тоже великолепно. Сцена эта дана прекрасно.

Но вот одного героя в романе почти нет, ге-

роя, который обязательно должен бы там быть. Николай Алексеевич, по-видимому, идет к этому. Я имею в виду массы. Ведь Андрий и другие – не висят же они в воздухе? Если «благородный народ» сидит в замке, это понятно: за ним в замкнутом окружении почти никого нет. А ведь рабочие, они же растут органически, растут своими корнями в массы, – и вот это почти не дано. Или если дано, то слабо. Сам приходишь до этого. А, между прочим, есть великолепные сцены, когда, например, Андрий залез в кочегарку и гудит, а громадный двор наполнен народом, только народ-то, к сожалению, никак не реагирует. Его будут пороть, рубить, но он еще не настолько революционен, чтобы броситься вперед. Эти колебания говорят о том, что вот-вот наступит катастрофа – всех их изрубят, расстреляют. Но эти колебания, это напряженное ожидание, что вот лопнет терпение, нужно усилить.

Я бы добавил вот что. Гудит гудок, по улицам бегут – бежит народ, бегут рабочие. Одни спрашивают – что такое, а другие просто бегут. Какой-то внутренний голос подсказыва-

ет, что что-то случилось. Может быть, в какой-нибудь хате один тянет старое охотничье ружье, другой топор, и какая-нибудь бабка кричит: «Куда ты?» – а он бежит.

Надо показать эту просыпающуюся толпу, которую знакомый рев гудка в необычное время привел в возбуждение. Тут нужно развернуть картину. Пусть в конце концов всех разогнали, но это даром в сознании масс не прошло.

Немцы хотя и даны эпизодически, но даны хорошо. Показана выправка, непреклонность, надменность. Это есть. Но опять-таки масса показана очень мало, очень скупо. Я запомнил только одно место: когда немцы шли поперек улицы и, все сметая, очищали ее. Сцена – великолепная, но этого мало.

Очень хорошо изображен бухгалтер, которого избили ни за что, и потом обманутые немцы пошли с неумемной ненавистью. И все-таки чего-то им не хватает. Ведь у них в известной мере открылись глаза, и они, наверное, вспомнили, как шли поперек улицы и все на пути сметали. Тут надо дать ниточку, которая протянулась бы к тем, которых они

сметали.

*Островский.* – Спасибо, Александр Серафимович. Хорошо, старик, поправил, что лишнее.

– Еще, – я уж забыл действующих лиц, – когда приходит хозяин выгонять семью сапожника Михельсона. Я бы их, как на фильме, подробно не показывал. Надо показать, как они, согнувшись, несут свои тощие сундучишки. А Абрам Маркович и Шпильман – это очень хорошо, когда они говорят: «Корабль тонет, крысы бегут».

Ну, Николай Алексеевич, чем богаты, тем и рады. Высказал, что думал о вашей хорошей вещи. Вы мне комплимент сделали, и я вам сделаю. Ваша «Как закалялась сталь» показала мне сначала теплее и ближе, чем «Рожденные бурей», но я должен сказать, что мастерство у вас выросло. Ведь громадный, сложный материал, а вы его здорово разложили, сорганизовали, связали в одно прекрасное органическое целое.

## Писатель-патриот\*

Для Алексея Толстого самым священным, самым глубоким чувством была любовь к родной земле. Это чувство определяло все содержание, характер и образы его творчества.

Русский народ, Россия – такова основная тема Толстого. Разгадка русского характера во всем его многообразии, богатстве оттенков, широта жизнеощущения – вот что особенно занимало пытливую мысль писателя-патриота. Но «чтобы понять тайну русского народа, его величие, – говорил Толстой, – нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер». К этим эпохам и обращался писатель в своих монументальных произведениях: «Петр I», «Иван Грозный», «Хождение по мукам».

«Петр I» – это огромное историческое полотно, это широчайшая картина нравов, быта, исторических событий. Но прежде всего это – книга о русском характере. С изумительным мастерством нарисован писателем образ

Петра – человека и государственного деятеля; показаны его любовь к России, его демократизм, раскрыта сложность его богатой пылкой натуры. Бесконечно больно, что неоконченным осталось это произведение, украшающее нашу отечественную литературу.

«В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого» – это народное изречение Толстой поставил эпиграфом к одной из частей своей трилогии «Хождение по мукам». И эта мысль о великой очистительной силе борьбы и страданий, выпавших на долю русского народа, красной нитью проходит через все три книги романа. Но не скорбь и не уныние рождает рассказ об этих муках, по которым вместе с героями своего романа, вместе с бесконечно дорогим ему народом проходит писатель, показывая, какой дорогой ценой покупалась новая, свободная, светлая жизнь на нашей земле. Горячей верой в мощь России, в неисчерпаемые силы народного духа проникнута каждая страница романа.

Той же уверенностью и твердостью дышат горячие строки Толстого-публициста, с пер-

вых же дней Великой Отечественной войны выступившего с пламенными призывами к русским людям, к родному народу. Верный сын России, пламенный патриот, Алексей Толстой великим оружием слова помогал своему народу в его борьбе с врагом, – и в светлый день победы, который уже близок, его образ будет с нами.

## О Златовратском\*

Писатель Н. Н. Златовратский, который родился сто лет тому назад, не призывал крестьян к восстанию, к свержению царизма, не говорил, что царь, помещики, буржуазия сосут все соки из трудового народа. Он просто рассказывал, как живут крестьяне, какой у них уклад жизни, какие нравы, обычаи, как они работают. И все это спокойным, эпическим тоном, не давая возможности цензуре, жандармам, охранке придраться и обвинить его в подрыве установленного порядка и строя. Это была медленная, спокойная, но могуче воздействующая на сознание масс работа.

Конечно, только грозные выступления



пролетариата могли опрокинуть подлый строй эксплуататоров, но писатели-народники, реалисты, к которым принадлежал Н. Н. Златовратский, медленно, почти неуловимо подготавливали почву для колоссального взрыва революционных рабочих масс. Этот колоссальный взрыв мог осуществиться только при поддержке необъятных крестьянских масс.

Я учился в самое глухое, реакционное время в захолустной гимназии на Дону. Мы, гимназисты, очень бедно и скудно познакомились с русской литературой, с русскими писателями. Кое-как познакомились по гимназическим учебникам с классиками – Гоголем, Тургеневым, Пушкиным, Лермонтовым и др. Нищенское знакомство с русской литературой... А тогдашних современных писателей мы почти вовсе не знали. И вот попал я в Петербургский университет. Точно из удушливого подполья выбрался на широкий простор. Передо мной блеснула ярким светом наша прекрасная литература: Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Григорович, Чернышевский, Белинский, – вот они, краса и гордость нашей стра-

ны. Я захлебнулся. И только постепенно стал приходить в себя. Передо мной проступали во всей глубине писатели разных политических уклонов, различных оттенков. Перечитал и народников – Глеба Успенского, Николая Успенского... Прочитал и Н. Н. Златовратского.

Широкие картины крестьянской жизни Златовратского произвели большое впечатление. Я ходил и все думал: «Несчастный народ!» Но чем дальше, тем больше упрямо выросло чувство протеста. «Но ведь так дальше жить нельзя! Я пользуюсь всеми благами культурной жизни, а они валяются в грязи, затоптанные сапогами. Я учусь, а там – и малые и старые всю жизнь живут слепыми. Для меня – театры, музеи, выставки, библиотеки, а там – водка!»

Это был, собственно, не протест, а почва для протеста. Я познакомился затем с писателем «из народа», как они тогда назывались, с бывшим портным Иваном Алексеевичем Белоусовым. Он писал стихи. У него иногда собирались товарищи – тоже писатели из народа, а также известные в те времена более или

менее крупные писатели (1903–1904). Однажды я встретил на вечере у Белоусова и Златовратского. Он среди нас – молодежи – выглядел патриархом, с большой деревенской бородой. Товарищи читали свои произведения; Златовратский очень внимательно слушал робевшую молодежь и делал свои замечания мягко и ласково, чтобы не обидеть, не подавить автора своей известностью.

Его очень любили начинающие писатели. К нему шли за помощью и советом, как устроить написанное в печать. Николай Николаевич, стремясь помочь молодым писателям «из народа», как тогда говорили, устраивал у себя литературные вечера, на которые приглашал и писателей «с именем», чтобы молодежь могла поучиться у них.

Жил он очень скромно, почти бедно, а эти вечера, хоть и очень скромные – пара пива, чаек, кусочек сыра – все же требовали небольших, но сверхбюджетных расходов. Он на все шел, чтобы поддержать начинающую молодежь. Его отеческая ласковость, мягкость, умение безобидно указать молодежи на ошибки в работе производили громадное впечатление.

чатление.

Стали крепнуть некоторые литературные ученики Златовратского. Начали пробиваться и печататься в газетах и журналах. Их произведения выходили потом отдельными небольшими книжками. О них критики стали давать отзывы. Словом, выводок писателей из народа, выпестованный Златовратским в борьбе, занял свое место в тогдашней русской литературе. Они стали организовывать кружки. Хотелось жить своей молодой самостоятельной жизнью. Но с Николаем Николаевичем никогда связи не порывали.

Капитал ломал старые, устоявшиеся формы жизни, и эта ломка проникала в толщу населения. Как и все народники, Николай Николаевич не понимал этого процесса.

Однажды мы, молодежь, шли с ним от писателя Белоусова, – и Николай Николаевич, глубоко задумавшись, долго молчал.

– Да, – сказал он, прервав молчание, ни к кому не обращаясь, словно отвечая своим мыслям, – мужик не тот стал... Недавно я был в деревнях под Воронежем. Присматривался – не тот мужик... Изменился... Что-то в него но-

вое вошло...

К концу своей жизни он почувал грядущие великие перемены.

# Письма

[Текст отсутствует]

# Лекции

## Литература и литераторы

[Текст отсутствует]

**Чехов перед публикой и сам**

[Текст отсутствует]

# Комментарии

## Глаза блестят\*

Впервые напечатано в газете «Правда», 1925, 11 марта, № 58. Материалом для очерка послужила поездка А. С. Серафимовича вместе с писателем И. А. Козловым, тогда председателем шефского общества при Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова, в подмосковную деревню. «В этой деревне, – вспоминает Серафимович, – впервые устраивалась свадьба без попа. И надо было эффектнее ее провести, чтобы я другим в охотку, и поддержать молодых. На „советскую свадьбу“ явилась вся деревня – и стар и млад. Смотрели разинув рты: „Как же так – без попа?“ В диковину. Козлов постарался обставить свадьбу торжественнее. Сказал речь, а затем стал выкладывать подарки молодым: плуг, на кофточку, мыло и всякую хозяйственность. Все это произвело огромное впечатление» (А. С. Серафимович, Собр. соч., М. 1948, т. X, стр. 446)[1].

## В горах и лесах\*



Впервые напечатано в «Красной газете», Л. 1926, 21 марта, № 65.

В очерке использованы впечатления от путешествия писателя по Крыму летом 1925 года (в позднейших авторских высказываниях Серафимович ошибочно относил эту поездку к 1926 году). «Стремясь соединить приятное с полезным, – вспоминает писатель, – я попутно внимательно наблюдал окружающую природу и жизнь. Посмотрел зубров в заповеднике в Космодемьяновском монастыре и понаблюдал нравы табачных плантаторов, которые в те годы упорно сопротивлялись новым революционным законам и бесчеловечно эксплуатировали темных женщин» (т. X, стр. 448).

### **Адимей\***

Впервые напечатано в журнале «Экран», 1926, № 43 (ноябрь), под заглавием «Когда пришел Октябрь». Под названием «Батрак Адимей» рассказ напечатан в книге: «А. С. Серафимович. Рассказы». Приложение к газете «Батрак», 1929; название «Адимей» рассказ получил в Полном собр. соч., изд. «Федера-

ция», 1932, т. 6.

«История Адимея была подробно мне рассказана в Теберде. Там ее знает любой местный житель. Адимей был одним из обманутых, отсталых бедняков, сражавшихся в начале революции против советской власти. Потом Адимей стал председателем Совета, активным советским работником. В ту пору советская власть многих подобных Адимею вернула к мирному труду» (т. X, стр. 448).

### **Год\***

Впервые напечатано в журнале «Красная нива», 1926, № 48 (ноябрь).

Как вспоминает автор, в основе рассказа лежит подлинная история из жизни комсомольцев первых лет революции.

### **Корреспондент «Правды»\***

Впервые напечатано в газете «Правда», 1927, 6 мая, № 100, с подзаголовком: «Из воспоминаний».

Серафимович писал позднее:

«Красная Армия тогда только строилась, строилась на ходу, героически отбиваясь в

жестоких боях с численно превосходящим врагом, снабжаемым и руководимым зарубежными империалистами. В этих условиях очень трудно было быть военным корреспондентом. Тем более возраст у меня был уже тогда солидный.

Предо мной стояла задача вводить новые методы корреспондентской работы, ибо я сразу убедился, что старые методы в условиях гражданской войны совершенно негодны. Старый, дореволюционный корреспондент выуживал материал на верхах, в штабах, в канцеляриях. А я понял, что мне необходимо прежде всего стать как можно ближе к красноармейской массе – и именно здесь, в ее гуще, черпать свой материал. Ведь воевал народ за народные цели, и я писал теперь для народных масс. Пришлось, конечно, беллетристику на время отставить. Сама жизнь выдвинула на первый план очерк» (т. X, стр. 448–449).

### **Товарищка Дора\***

Полностью впервые напечатано в Собр. соч., М. 1948, т. X.

До этого рассказ печатался по частям: отрывок; ставший впоследствии второй частью рассказа, опубликован в журнале «Делегатка», 1926, № 3 (февраль) под заглавием «Товарищка Дора»; первая часть будущего рассказа – в журнале «Новый мир», 1927, № 12, под названием «Дора», с подзаголовком «Отрывок из романа „Борьба“». В авторских высказываниях, помещенных в X томе Собр. соч., М. 1948, стр. 447, Серафимович сообщает некоторые биографические подробности о прототипе Доры.

### **Будущее – наше\***

Впервые напечатано в изданном писателями Российской Федерации 20 июня 1927 года специальном выпуске «Против угрозы войны».

«Трудности в стране были тогда необычайны... – вспоминает Серафимович. – Писатели решили выпустить специальную однодневную газету „Против угрозы войны“ с отповедью поджигателям войны и всем, пророчествовавшим нам скорую гибель.

Я с сердцем написал тогда, что думал, во

что непоколебимо верил и во что сталь же непоколебимо верю и в наши дни, когда новое поколение империалистов начало тот же старый шантаж на новый лад, упуская из виду могучий рост наших сил. Угрозы их нам теперь тем более не страшны... Будущее – наше» (т. X, стр. 449).

### **Девушка гор\***

Впервые напечатано в журнале «Экран», 1927, № 28 (июль).

По поводу этого рассказа Серафимович писал: «Национальная советская литература тогда еще безмолвствовала. Литературные кадры ее только организовывались. Пришлось мне выступить с коротким очерком. А эти первые ростки советской сознательности в (национальных республиках заслуживали отображения на более широких полотнах» (т. X, стр. 449).

### **Маевка\***

Впервые напечатано в Собр. соч., М. 1948, т. X; передавалось по радио 1 мая 1930 года. На тексте выступления, сохранившегося в архи-

ве писателя, – пометка: «16/1V-1930 г.».

### **По донским степям\***

Впервые напечатано в газете «Правда», 1931, 23 и 24 октября, No№ 293 и 294.

Вместе с сыном И. А. Поповым и его женой А. В. Монюшко Серафимович летом 1931 года объездил множество донских колхозов. Непосредственные впечатления писателя и его спутников послужили материалом для небольших новелл-зарисовок, объединенных темой нового, социалистического труда.

### **Преображение\***

Впервые напечатано в журнале «Знамя», 1933, кн. 2, под заглавием «Кусочек воспоминаний». Передано журналу в ответ на обращение редакции к писателям с просьбой «осветить – в эпизодах, фрагментах, отрывках из дневников – свои воспоминания о гражданской войне, свои впечатления о Красной Армии». Книга журнала, посвященная пятнадцатилетию РККА, открылась очерком Серафимовича.

Заглавие «Преображение» рассказ получил

в Собр. соч., М. 1948, т. X.

### **Рассказ о первом рассказе\***

Впервые – газ. «Коммуна» (Воронеж), 1933, 1 ноября, в статье «Слить свою работу с работой масс», с подзаголовком «Рассказ о первом рассказе». Является частью выступления на литературном вечере в Доме Красной Армии Воронежа 21 октября 1933 года.

### **Колхозные поля\***

Главы из незаконченного романа; впервые напечатаны в газете «Известия», 1933, 27 марта, № 82, под заглавием «Отрывок из романа», с примечанием, в котором сообщалось, что Серафимович пишет этот роман вместе со студентом экономического института Комкакадемии В. И. Петровым; в журнале «Старый большевик», 1933, кн. 2(5), март – апрель, под заглавием «Отрывки из незаконченной повести»; в журнале «На подъеме», Ростов-на-Дону, 1933, кн. 10 (октябрь); в журнале «Октябрь», 1934, кн. 1, под заглавием «Лавина творчества». Собраны вместе и напечатаны в Сочинениях А. С. Серафимовича, М. 1939. «За-

думана была большая повесть, вернее – роман о первых этапах коллективизации сельского хозяйства на Дону, – сообщает автор. – По плану имелось в виду показать, как новая, коллективная обстановка переделывает казака в сознательного колхозника. А главное, хотелось изобразить во всей их реальности районных партийцев, подлинных творцов этой новой, колхозной жизни.

Живя подолгу в донских колхозах и внимательно присматриваясь к районным партийцам, я убеждался воочию, что работа поглощала их целиком. Собственный быт, интересы семьи отступали на задний план. Пример партийцев решающе влиял на коренную перестройку уклада всей крестьянской жизни.

Я задумал дать широкое полотно, в котором были бы запечатлены героизм и самоотверженность партийцев, умная гибкость и дальновидная прозорливость партийного руководства. Главное – я хотел убедительно нарисовать, каким заслуженным авторитетом пользуется партия на местах. Война помешала мне закончить работу» (т. X, стр. 450–451).



## **Черкес\***

Впервые напечатано в газете «Ленинградская правда», 1935, 7 ноября, № 258.

## **Две встречи\***

Впервые – журн. «Октябрь», 1936, № 12.

## **Тракторист поневоле\***

Впервые напечатано в журнале «Дружные ребята», 1938, № 1. До этого рассказ передавался по радио для школьников.

Перед текстом рассказа в журнале помещена краткая, биография Серафимовича и приветствие редакции в связи с семидесятипятилетием писателя:

«Редакция журнала „Дружные ребята“ и все его читатели шлют Александру Серафимовичу свой привет и желают многих, счастливых лет, здоровья и радостной работы.

Мы печатаем в нашем журнале маленький рассказ, написанный Александром Серафимовичем специально для колхозных ребят. Рассказ относится к 1929 г...»

## **Бригадир\***

Напечатано в Сочинениях А. С. Серафимовича, М. 1939, под заглавием «Зубами от смерти». Название «Бригадир» рассказ получил в Собр. соч., М. 1948, т. X.

«Я встретил его, – вспоминает автор, – в одном из донских колхозов под городом Серафимовичем. И встреча эта доставила мне большую радость, ибо если и таких, как этот бригадир, могла обработать советская власть и смогла превратить его в убежденного коллективиста и колхозного вожака, то, значит, дело колхозное прочно и нерушимо...» (т. X, стр. 451.)

### **По родимой стране\***

Впервые напечатано в газете «Правда», 1941, 30 апреля, № 119, под заглавием «Радость народа» Название «По родимой стране» появилось в Собр. соч., М. 1948, т. X.

### **Клятва\***

Впервые – «Литературная газета», 1941, 13 июля.

### **Ребенок\***

Впервые – газ. «Правда», 1942, 17 сентября.  
Очерк точно воспроизводит подлинный эпизод из жизни писателя.

### **Веселый день\***

Впервые – газ. «Красная звезда», 1943, 14 января.

### **Творчество\***

Впервые – газ. «Известия», 1943, 3 марта

### **Юная армия\***

Впервые, под заглавием «Ребята», – журн. «Красноармеец», 1943, № 11.

### **На хуторе\***

Впервые – газ. «Красная звезда», 1943, 14 августа.

### **Это – не чудо\***

Очерк сборный. Глава «Боевая зрелость» впервые напечатана в «Литературной газете», 1936, 26 сентября, № 54; глава «На освобожденной земле» – в журнале «Красноармеец», 1943, № 21–22; главы «Среди командиров»,

«Советский командарм», «Это – не чудо» под общим названием «Это – не чудо» – в сборнике «В боях за Орел», 1944; глава «Им нашу нежность» – в газете «Комсомольская правда», 1944, 1 марта, № 51; главы «В семнадцатом году» и «Бойцы» – в журнале «Красноармеец», 1946, № 3–4 (февраль), под заглавием: «Будь достоин!»; глава «Твое счастье» – в журнале «Красноармеец», 1947, № 1.

### **В гостях у Ленина\***

Впервые – журн. «Красноармеец», 1946, № 2.

«Робость, что ли, природная или застенчивость всю жизнь не позволяла мне добиваться встреч с великими моими современниками... Так бы, верно, я и у Ленина не побывал. Но большевики трогательно внимательны к людям – и Ленин позвал меня к себе, прислав за мной машину. Свидание с Лениным оставило во мне неизгладимый след на всю жизнь. Внимание и поощрение великого вождя оказало влияние на всю мою дальнейшую писательскую судьбу», – вспоминал Серафимович (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X,

М., ГИХЛ, 1948, стр. 455).

### **С высоты восьмидесяти пяти лет\***

Речь писателя, произнесенная 14 января 1948 года на собрании московских писателей, посвященном чествованию А. С. Серафимовича по случаю его 85-летия. Впервые напечатано в Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948.

### **Кружковое занятие рабкоров\***

Первая публикация не установлена. Впервые сб. «Прожитое», М., 1938. В основу статьи легла беседа А. С. Серафимовича с рабкорами, которая состоялась 16 декабря 1924 года.

### **Предисловие к «Мятежу» Дм. Фурманова\***

Впервые – в книге «Мятеж» Д. Фурманова. М., ГИЗ, 1925.

### **Умер художник революции\***

Впервые – газ. «Правда», 1926, 17 марта.

### **Федор Gladков и его «Цемент»\***

Впервые, под заглавием «„Цемент“ (роман Ф. Gladкова)», – газ. «Правда», 1926, 16 февраля.

ля.

«С Гладковым мы встречались в 19-20-х годах в „Кузнице“, – вспоминает Серафимович. – Мы с ним близко сошлись. Он рассказывал мне, что начинает работать над „Цементом“. Побывав в „лаборатории“ писателя, я получил возможность поближе его узнать. Он поразил меня необыкновенным упорством и своим нервным „подъемом“ в работе...

Мне он читал „Цемент“ кусками, по мере того как писал. Делился со мною своими творческими радостями и огорчениями. Я старался рассеять его страхи и сомнения и поддержать в нем бодрость. Наконец он кончил. „Цемент“ был напечатан, и я дал отзыв. Характеристику, данную тогда, я и теперь считаю совершенно правильной. Удельный вес Гладкова – большой. Яркий художник, своеобразный художник. И огромная в нем сила обобщения» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 457).

### **Вечера рабочей критики\***

Впервые – газ. «Правда», 1927, 25 февраля, с

подзаголовком «Ленинградский союз металлистов». «Я всю жизнь учился и теперь учусь у рабочих и простому выразительному языку и их трезвой, основанной на большом опыте, оценке явлений социального порядка, – подчеркивал Серафимович. – По их выступлениям я чувствовал, что в восприятии и понимании некоторых явлений у них своеобразная точка зрения – и более правильная, чем у меня» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 457–458).

### **Читатель и писатель\***

Впервые – журн. «На литературном посту», 1927, № 22–23 (ноябрь–декабрь), с подзаголовком «Из выступлений и ответов на вопросы на вечерах рабочей критики в Ленинграде 11, 12 и 13 февраля 1927 года».

### **Откуда повелись советские писатели\***

Впервые – газ. «Правда», 1927, 7 ноября, под заглавием «Откуда повелась пролетарская литература».

### **Предисловие к «Донским рассказам» М.**

## Шолохова\*

Впервые – в книге «Донские рассказы» М. Шолохова, изд. «Новая Москва», 1926.

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» всегда с теплотой отзывался о Серафимовиче, который первым из писателей поддержал его в начале литературной деятельности и сказал ему «слово одобрения». Встречи с Серафимовичем оставляли в сердце Шолохова теплоту и радость.

«Это настоящий художник, большой человек, произведения которого нам так близки и знакомы. Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодежь, учились, – вспоминал Шолохов. – Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово признания... Мы знаем и ценим Серафимовича как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры, оставаясь преданными революции и рабочему классу в самые тяжелые



годы, когда немало людей изменило пролетариату» (Михаил Шолохов. Собр. соч. в восьми томах, т. 8, М., изд. «Правда» (Библиотека «Огонек»), 1975, стр. 68–69).

### **Михаил Шолохов и его «Тихий Дон»\***

Под этим заглавием в Собр. соч. 1948 года писатель объединил статью «Тихий Дон» (впервые была напечатана в газ. «Правда», 1928, 19 апреля, а затем, под названием «Вместо предисловия», была помещена в издании «Тихого Дона» 1928 года – «Роман-газета», № 12(24) и биографический очерк «Михаил Шолохов» («Литературная газета», 1937, 26 ноября).

«С Шолоховым нас связывает более чем двадцатилетнее знакомство и дружба. Я обратил внимание на его орлиный талант, когда еще был редактором журнала „Октябрь“ и стал впервые печатать в этом журнале его „Тихий Дон“... Позднее мы много встречались, и каждая встреча оставляла в сердце моем теплоту и радость» – так комментирует сам писатель свой очерк (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, стр. 458).

### **Из дневника писателя\***

Впервые – журн. «Октябрь», 1929, кн. I.

### **Тисса горит\***

Впервые – газ. «Правда», 1929, 21 марта.

Статья посвящена роману Белы Иллеша «Тисса горит».

### **Из истории «Железного потока»\***

Впервые напечатано в издании «Железного потока», 1930, под заглавием «Как я писал „Железный поток“».

### **[Предисловие к книге В. Шмерлинга «Югосевер»]\***

Впервые напечатано в книге писателя В. Шмерлинга (род. 1909) «Югосевер. Очерки», М.-Л. 1931, популярно рассказывающей о деятельности И. В. Мичурина. Серафимович высоко ценил работы Мичурина. За два года до выхода «Югосевера» Серафимович специально ездил к нему в г. Козлов. «Удивительный старик» произвел на Серафимовича сильнейшее впечатление (см. очерк «У Мичурина», га-

зета «Наша Правда», г. Козлов, 1929, 11 июля).

*Бёрбанк*, Лютер (1849–1926) – известный американский селекционер-дарвинист.

### **Живой завод\***

Впервые – газ. «Правда», 1932, 21 февраля.

Статья посвящена роману В. П. Ильенкова «Ведущая ось» («Октябрь», 1931, No№ 10–12).

### **Записки писателя\***

Впервые напечатано в журнале «Октябрь», 1933, № 4, с подзаголовком «О партии и литературе».

### **Радиоперекличка писателей\***

Текст выступления А. С. Серафимовича по радио 6 ноября 1934 года, в канун годовщины Октября, которое называлось «Единственная в мире социалистическая литература». Впервые напечатано в Собр. соч., М., ГИХЛ, 1948, т. X.

### **Написано так, что запоминается\***

Выступление Серафимовича на заседании

Президиума Союза советских писателей в квартире Н. А. Островского 15 ноября 1936 года, посвященном обсуждению первой книги романа «Рожденные бурей». Впервые напечатано в журн. «Молодая гвардия», 1937, кн. 2.

### **Писатель-патриот\***

Впервые, под заглавием «Народный писатель», – газ. «Комсомольская правда», 1945, 27 февраля.

### **О Златовратском\***

Впервые напечатано в Собр. соч., М. 1948, т. X по тексту речи Серафимовича в Союзе писателей на вечере, посвященном столетию со дня рождения Н. Н. Златовратского (1845–1945).

# Примечания

В дальнейшем при ссылках на «Высказывания автора» будет указываться только том и страница Собрания сочинений 1940–1948 гг.

[^^^]

## 2

Барак – на Дону – луг. (*Прим. автора.*)

[^^^]